КУПРИН

Олег Михайлов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга известного писателя Олега Михайлова посвящена жизни и творчеству одного из самых выдающихся писателей-реалистов начала нашего века, А. И. Куприна.

- О.М. Михайлов
  -
  - Глава первая У ЧЕХОВА
  - Отступление первое ХУДОЖНИК
  - Глава вторая В ПЕТЕРБУРГ, В ПЕТЕРБУРГ!
  - Отступление второе ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ XX ВЕКА
  - Глава третья «ПОЕДИНОК»
  - Отступление третье «ПОЕДИНОК» И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
  - Глава четвертая ПЛЕННИК СЛАВЫ
  - Отступление четвертое ЗАГАДКА ХУДОЖНИКА
  - Глава пятая ЗЕЛЕНЫЙ ДОМИК
  - Отступление пятое НА ИЗЛЕТЕ
  - Глава шестая РОССТАНИ
  - Отступление шестое КУПРИН И ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
  - Глава седьмая «МНЕ НУЖНО ВСЕ РОДНОЕ…»
  - ЭПИЛОГ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. И. КУПРИНА
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

О.М. Михайлов

Куприн

«Возвращение Куприна в Советский Союз.

29 мая выехал из Парижа в Москву возвращающийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель — автор повестей «Молох», «Поединок», «Яма» и др. — Александр Иванович Куприн»

(ТАСС).

«Правда», 1937, 30 мая, № 148

Удивительная и трагическая судьба.

Раннее сиротство (отец, мелкий чиновник, умер, когда мальчику был год); непрерывное семнадцатилетнее затворничество во всякого рода казенных заведениях (московский сиротский дом, военная гимназия, кадетский корпус, юнкерское училище); затем, после нескольких лет унылой военной службы в провинции, выход в отставку, полуголодное существование человека без профессии; первые литературные удачи, стремительный взлет: слава, деньги, кутежи, безудержная трата сил и — в эмиграции, в далеком Париже — быстрое физическое угасание, нужда, жестокая и непрестанная тоска по России; наконец осуществившаяся мечта вернуться на Родину…

Глава первая У ЧЕХОВА

1

Белый каменный домик в Аутке осаждали посетители.

Ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры — бог знает кто еще не приезжал сюда. На железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, целыми днями висли, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах.

— Антон Павлович занят и никого не принимает, — заметно заикаясь, объяснял полной даме Сергей Яковлевич Елпатьевский, беллетрист, гордившийся тем, что образование врача позволяло ему в Ялте следить за здоровьем Чехова. — Кроме того, он чувствует себя неважно…

Сухое покашливание прервало его тираду. Чехов, высокий, стройный, с усталым и добрым лицом, щурясь через пенсне, стоял у входа:

— Вы забыли, господа, что я тоже лекарь.

— Антон Павлович! — закричала дама неожиданным дискантом и легко отодвинула Елпатьевского с дороги. — Перед вами вдова акцизного чиновника, страстная почитательница вашего хмурого таланта! О, только поглядеть на вас, побеседовать с вами — какое это счастье! Я так люблю ваши сочинения…

— Какие же именно, смею спросить? — низковатым голосом проговорил он.

— «Каштанка»… — пролепетала она, порывисто дыша. — И еще… «Гуттаперчевый мальчик»… Как это? Да помогите же, господа!

Чехов снял пенсне и твердо сказал:

— Доктор Куприн прав. Вам надо немедля ехать лечиться. На кумыс! В Башкирию! Сергей Яковлевич, проводите больную…

Чехов надел пенсне и захохотал — беззаботно, мальчишески:

— Нет, вы видели? И сколько таких поклонниц! Вы обратили внимание? У этой дамы такой вид, словно под корсажем у нее жабры!

Куприн усмехнулся, но тут же возразил армейской скороговоркой:

— По мне бы, Антон Павлович, нечего с ней рассусоливать. От ворот поворот. Без экзаменовки… А то все вокруг только тем и заняты, что мешают вам работать. Право, заговор какой-то! Да

еще я навязался на вашу голову…

— Ай-яй-яй! — Чехов улыбался добро и грозил пальцем. — Вы позабыли, что мы сегодня трудимся вместе.

Он пропустил Куприна и пошел с ним к дому маленьким садом, где только зацветали абрикосы и миндаль, — высокий, в мягкой черной шляпе и пальто, постукивая тросточкой.

— У меня вчера была чудесная встреча… На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, поручик. «Вы Антон Павлович Чехов?» — «Да, это я. Что вам угодно?» — «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» — и покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись…

Куприн слушал его и, морщась, ругал себя за то, что отнимает время у этого деликатнейшего из когда-либо встречавшихся ему людей. Посетители и гости донимали Чехова, даже раздражали его, но он со всеми оставался ровен, терпеливо внимателен. Безотказная доброта Чехова доходила до той трогательной черты, которая уже граничила с безволием.

Он готов был повернуться и убежать. Как неудобно все выходит! Приехал с Буниным из Одессы в Ялту, остановился за Ауткой, нанял комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье. И черт дернул пожаловаться Чехову, что в такой обстановке работать невозможно. И вот Чехов настоял, чтобы Куприн непременно приходил к нему с утра и занимался внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я наверху, — говорил Чехов со своей обезоруживающей, доброй улыбкой. — А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре…»

Куприн привык писать где-нибудь «на тычке», на кончике стола, среди шума и редакционной толкотни, а тут отдельная комната и полная тишина! Он приходил утром работать, а Чехов озабоченно спрашивал, сдвигая брови: «Может быть, перо не годится? Вы не стесняйтесь! Я по себе знаю — иногда из-за плохого, скрипучего пера вся работа идет черт знает как».

Здесь, в чеховском домике, Куприн писал рассказ «В цирке» — о могучем и добродушном борце Арбузове.

Работалось ему весело, но все же ухо было повернуто назад, к двери. И иногда он отчетливо слышал, как Чехов, проходя по коридору, вдруг начинал ступать как-то по-другому, осторожно, всей пяткой, чтобы не производить лишнего шума, или шикал на горничную Марфушу, когда она гремела посудой. Все это трогало Куприна…

— Пишете вы с завидной увлеченностью, — проговорил Чехов, входя с Куприным в большую прохладную столовую.

— Еще бы! — ответил Куприн. — Тема сама по себе не больно сложная — смерть борца после состязания, которое нельзя отменить. Профессиональный атлет, даже полуинтеллигент, должен состязаться с американцем Джоном Ребером. Он уже внес сто рублей на пари и афиши выпущены. Но с утра он чувствует озноб и лень во всем теле.

Видит на репетиции утром своего противника — тот тренируется — и ощущает страх. Вечером борется, побежден и умирает…

— Тут много психологии, — заметил Чехов.

— И какие подробности! Цирк днем во время репетиции и вечером во время представления, жаргон, обычаи, костюмы, описание борьбы, напряженных мускулов и цирковых поз, волнения толпы…

— Цирк вы знаете лучше, чем я, — сказал Чехов. — А вот по лекарскому делу я обязан преподать вам лекцию. — И прибавил требовательным баском: — В этих делах, сударь мой, надо, чтобы комар не мог носу подточить! Да и вообще примите во внимание, что читатель — человек строгий, его даже на крупицу опасно обмануть…

Отчего гибнет ваш герой, вы знаете? Ведь рассказ попадет и к медикам…

— Гипертрофия сердца… — смущенно сказал Куприн. — Болезнь грузчиков, кузнецов, матросов.

— Извольте снять пальто и подняться за мной в кабинет! — с шутливой строгостью приказал Чехов. — Мы решим сообща, на какие именно симптомы болезни вам надлежит обратить особое внимание… Выделить их так, чтобы ее характер не оставлял сомнений.

Кабинет у Чехова был небольшой, скромный. Прямо против входной двери большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем. В нише турецкий диван. С правой стороны коричневый кафельный камин с вечерним пейзажем Левитана. В самом углу дверь, сквозь которую видна спальня Чехова, веселая, светлая комната, сияющая девичьей чистотой. На стенах кабинета портреты Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей.

— Итак, садитесь на диван и внимайте. — Чехов снял пенсне и, как заправский лектор, принял важную позу: — Гипертрофия сердца… У людей, занимающихся усиленной мускульной работой, стенки сердца от постоянного и чрезмерного

напряжения необыкновенно расширяются, и получается то, что мы в медицине называем «cor bovinum», то есть бычачье сердце…

Незаметно Чехов сам увлекся. От описания паралича сердца и предшествующих ему явлений он перешел к другим сердечным болезням: приводил грустные и смешные примеры из собственной практики, говорил о трудностях диагноза при сердечной недостаточности, о тонкостях лекарского искусства, которое достигается единственно опытом, наблюдениями… Куприн позабыл о том, что собирался записывать подробности. «Да, если бы Чехов не был таким замечательным писателем, — думал он, — он был бы прекрасным врачом…»

— Ваш атлет умирает после схватки с противником? — внезапно спросил Чехов.

— Возможно… Или скончается прямо на арене… После того как американский атлет припечатал его к тырсе…

— Тырса? Что это?

Куприн улыбнулся смущенно, стесняясь, что знает что-то, что неизвестно Чехову.

— Это смесь песка и деревянных опилок, которой посыпается арена… Впрочем, во время борьбы арену обычно застилают брезентом.

— Так вот! — Чехов, играя пенсне, расхаживал по кабинету. — Представим все в последовательности.

— По замыслу, — сказал Куприн, — накануне состязания атлет переживает сердечный приступ. Врач осматривает его и настоятельно рекомендует отложить состязание…

Чехов откликнулся, подчеркивая каждое слово взмахом пенсне:

— Бешеный пульс, холодные руки, расширенные зрачки. Однако отложить борьбу невозможно…

Он закашлялся и кашлял долго, сухо, прикрыв глаза рукой. Подошел к столу, отвернулся, сплюнул мокроту в баночку и вытер рот платком. Постоял немного. Лишь на мгновение по его лицу прошло облачко, и вновь оно сделалось добрым и приветливым.

— А сама смерть, — глуше, чем обычно, сказал он, — наступает после поражения, в цирковой уборной. Вместе с чувством тоски, потерей дыхания, тошнотой, слабостью… Куприн, соглашаясь, кивнул головой. Очень самолюбивый, он в разговорах с Чеховым не испытывал никакой ущемленности, спокойно сознавая его правоту и превосходство.

В кабинет неслышно вошла скромная, гладко причесанная женщина в простом холстиновом платье.

— Что, Ма-Па? — ласково сказал Чехов.

— Обедать, Антоша… — отвечала сестра, с нежностью глядя на него лучистыми — чеховскими — глазами.

Куприну еще никогда не доводилось видеть такой дружбы между братом и сестрой. Антон Павлович и Мария Павловна понимали друг друга с одного взгляда, легко читая все, что происходило в душе каждого. «У меня с сестрами, — подумал он невольно, — ни с Софьей, ни даже с любимой — Зиной — такой близости не было. Я их люблю обычной любовью. Но она не переходит в родство душ…»

Куприн знал, что Мария Павловна, не желая нарушать течение жизни Чехова, не вышла замуж, вообще отказавшись от личного счастья. Чехов был также убежден, что никогда не женится, до встречи с Ольгой Леонардовной Книппер, прекрасной артисткой Художественного театра. Но именно Мария Павловна, чутко ощутив зарождение увлеченности, полушутя рекомендовала брату, побывав в третий раз на представлении «Чайки» и расхвалив игру актеров МХТ: «…советую поухаживать за Книппер. По-моему, она очень интересна…»

С появлением в его жизни Ольги Леонардовны Чехов все время ощущал вину перед сестрой и был по отношению к ней особенно внимателен и нежен.

— Обедать, обедать! — хлопнул он в ладоши. — И вы, господин убийца, только что отправивший на тот свет атлета! Немедля к столу!

Куприн покачал головой:

— Благодарю, Антон Павлович. С обедом меня ждет хозяйка…

Чехов, слегка откинув голову, внимательно посмотрел на помрачневшего гостя. Куприн сидел без гроша. Перед отъездом в Ялту он сдал несколько мелких рассказов в «Одесские новости». Гонорар запаздывал, и, конечно, обед у хозяйки был чистым вымыслом. Но, живя впроголодь, Куприн тем более стеснялся оставаться на гостеприимной даче в роли нахлебника.

— Ничего, — непреклонно сказал Чехов, — ваша хозяйка подождет. А пока за стол и без разговоров! Когда я был молодой и здоровый, то легко съедал два обеда. А вы, уверен, отлично справитесь и с тремя!

Поборов неловкость, Куприн спустился в столовую. Там царствовала мать Чехова — старенькая и мудрая Евгения Яковлевна, великая мастерица на всякие соленья и варенья. Угощать и кормить было ее любимым занятием. Гостей она принимала как настоящая старосветская помещица, с той только разницей, что делала все сама, своими искусными руками: ложилась позже всех и вставала всех раньше…

— А вот еще курничка, голубчик, положи себе… — говорила она Куприну с характерным южным придыханием на букву «г». — И ставридки горячей не забудь, не то остынет — свежая черноморская…

Чехов по обыкновению ел чрезвычайно мало. Вяло поковыряв в тарелке, он встал из-за стола и прохаживался от окна к двери и обратно. Заметив, что Куприн робко поглядывает на пузатый, потный от холодной влаги графинчик, Чехов остановился за его стулом:

— Послушайте, выпейте еще водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а за столом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

Куприн благодарно поглядел на него. Чудный дом, чудная семья! Он почувствовал себя легко, непринужденно, расправил плечи, так что мышцы буграми заходили под скромным пиджаком.

— А вы, господин писатель, наверняка сами занимались французской борьбой, — сказал Чехов. — А может быть, еще и боксом?

— Угадали, Антон Павлович, — блеснув узкими глазами в улыбке, отозвался Куприн. — И борьбой и боксом. Но попробуй об этом признаться в цивилизованном обществе! Борьбу как занимательное зрелище еще снисходительно допускают. Но на бокс смотрят как на зверское, недостойное цивилизованного человека явление, которое следует искоренять. — Он тронул свой мягкий, сломанный в боксе нос. — Не понимают, что бывают случаи, когда знание простейших приемов может оказать неоценимую услугу…

— Вот как? — удивилась Мария Павловна. — Например?

Воодушевленный общим вниманием, Куприн продолжал:

— После выхода в отставку я довольно долго жил в Киеве. Чем только не занимался, чего не перепробовал! Раз поздно вечером возвращаюсь домой. На улицах темно и морозно. И вот на одном из перекрестков из-за угла выскакивает рослый дядя и требует деньги, часы и пальто…

— Ах, боже ж ты мой! Деточка бедная! — не удержалась Евгения Яковлевна.

Чехов присел к столу, чтобы было удобнее слушать.

— Признаюсь, — рассказывал Куприн, — что в моем кошельке бренчало всего-навсего несколько серебряных монет и расстаться с ними не было жалко. Часы находились в закладе. Но своим единственным, хотя и сильно поношенным пальто с собачьим воротником я дорожил и, разумеется, расставаться с

ним не собирался. Вы можете подумать, что я начал кричать и звать городового. Ну нет!! Через две секунды предприимчивый дядя лежал на земле и вопил благим матом. И только когда я убедился, что как следует «обработал противника», как говорят боксеры, и он уже более не боеспособен, я оставил его, сказав на прощание: «Теперь ты будешь знать, мерзавец, как отнимать у человека последнее пальто…»

Чехов, зорко, весело глядя на Куприна, сказал:

— Сейчас я хорошо понимаю, отчего вас так тянет к циркачам, акробатам, борцам.

— Человек должен развивать все свои физические способности! — нагнув голову, упрямо проговорил Куприн. — Нельзя относиться беззаботно к своему телу. А наши литераторы — на кого они похожи! Редко встретишь среди них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство сутулы или кривобоки, при ходьбе вихляются всем туловищем, загребают ногами или волочат их — смотреть противно…

— Это уже в вас говорит строевик, офицер, — откровенно любуясь Куприным, добавил Чехов. — Военная косточка — чудесное начало…

— А мне так часто колют глаза, как чем-то постыдным, моим офицерским прошлым, — возбужденно откликнулся Куприн. — И кто? Эти слабые духом и немощные телом монстры! Вы заметили, Антон Павлович, что почти все они носят пенсне, которое часто сваливается с их носа? Я уверен, что в интимные минуты они роняют пенсне на грудь любимой женщины…

Он осекся, внезапно вспотев. Чехов хохотал беззвучно, падая головой на колени. Мария Павловна деликатно вышла из комнаты.

Не сразу успокоившись, Чехов наконец ответил, сдерживая рыдания смеха:

— Вы совершенно правы, Александр Иванович. Пенсне — штука безобразная… Но те, кого угораздило носить пенсне, уверяю вас, в интимные минуты им не пользуются.

Евгения Яковлевна, мало улавливая суть происходящего и думая о своем, с тоской в голосе произнесла:

— Антоша! Ты опять ничего не ел!

Чехов поднялся, с немой улыбкой подошел к матери и, взяв ее вилку и ножик, начал мелко-мелко резать ей мясо.

— Ты нас угостишь с Александром Ивановичем чаем… На террасе, — с ласковой серьезностью сказал он.

Куприн все еще не мог прийти в себя от глупой оплошности. «Офицер! Деревяшка! — повторял он. — И надо же было такое

ляпнуть!»

— А вы не знаете, куда запропастился Бунин? — отвлекая его от самоистязания, спросил Чехов. — Второй день не кажет глаз…

Бунин все еще жестоко страдал и от недавнего разрыва с женой, красавицей гречанкой Анной Николаевной Цакни, и от невозможности видеть маленького сына. Он таил боль глубоко в себе, шутил, балагурил, до слез смешил Евгению Яковлевну, Марию Павловну, самого Чехова…

Сбивая затянувшуюся паузу, Куприн сказал:

— Сидит по утрам в кофейне Берне.

— Удобное место для молодого человека! — нарочито ворчливо ответил Чехов, пряча грусть за стеклами пенсне. — Устроился за столиком на набережной возле купальни. Смотрит на купальщиц — как вздуваются в воде их рубашки.

«Никогда от шуток Чехова, — подумалось Куприну, — не остается заноз в сердце… Так же, как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек сознательно не причинил ни малейшего страдания ничему живущему!..»

После чая они сидели с Чеховым в саду на лавочке, следя, как клонится солнце к вершине Яйлы.

Перед хозяином преданно вертелись две собаки — Тузик и Каштан, названный так в честь исторической Каштанки. Каштан был толст, гладок, неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он сперва залаял на Куприна, но стоило тому поманить его и почмокать, как Каштан доверчиво перевернулся на спину, извиваясь по земле. Чехов легонько отстранил его палкой и с притворной суровостью проговорил:

— Уйди же, уйди, дурак… Не приставай…

И прибавил, обращаясь к Куприну, с досадой, но со смеющимися глазами:

— Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

И здесь Чехов был сдержан, скрывая нежность к собаке. Но Куприн слышал, что, когда Каштан по свойственной ему неповоротливости попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу, Чехов нежно, ловко и осторожно промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал йодоформом и перевязал марлевым бинтом. «Ах ты, глупый, глупый… — ласково приговаривал он. — Ну как тебя угораздило?.. Да тише ты… легче будет… дурачок…»

— Удивительно трогательна эта робкая доверчивость животных, — сказал Куприн.

— Как и детей, — тихо добавил Чехов.

Животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову, искали его дружбы.

— И страшно, когда беззащитные существа страдают от грубости, жестокости, бездуховности… — Куприн поглядел сбоку на Чехова; у того стекла пенсне от заходящего солнца казались розовыми. — Как ужасен был для меня в раннем детстве переход от семьи к казарме сиротского училища, а потом кадетского корпуса! Бывало, вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день, еще крепишься кое-как, хотя сердце нет-нет и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение… Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, о какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами… И знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя…

Чехов молчал, водя тростью по песку. Затем просто сказал:

— Знаете, у меня в детстве не было детства.

И сразу собственные слова показались Куприну выспренними, излишне чувствительными. Но как еще передать тоску детской души по матери, по ее теплу? Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку!..

— Сейчас мы должны вернуть детям то, чего недополучили сами, — проговорил Куприн и снова почувствовал, что не в силах выразить свою мысль так просто и глубоко, как Чехов.

— Должны, должны… — рассеянно отвечал тот, поднимаясь со скамейки, так как Мария Павловна знаками подзывала его. — Верно, должны каждой мелочью украшать и отношения между людьми, и саму землю… Послушайте, — остановился он перед Куприным, — при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? — прибавил он вдруг с серьезным лицом. — Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна…

«Нет, это не заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это и не жадное любопытство к тому, что будет после меня, не завистливая ревность к далеким поколениям, — размышлял Куприн, оставшись один на скамейке. — Это тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, страдающей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости — от всего ужаса и темноты современных будней…»

Голос Чехова, чуть насмешливый, словно таящий легкую иронию к собственным недавним словам, вывел Куприна из задумчивости:

— Ну, отважный боксер! Теперь ваша очередь повторить подвиг Елпатьевского. В мою калитку снова рвется вдова акцизного чиновника из Чебоксар!

2

— Его сиятельство маркиз Букишон! — торжественно провозгласил Чехов, входя в соседнюю со столовой комнатку, в которой работал Куприн.

Он стал называть Бунина так потому, что в какой-то газете увидал портрет какого-то маркиза, который был на него похож.

— Знакомьтесь: французский депутат и маркиз…

— Здравствуй, Иван, — поднялся навстречу Бунину Куприн.

И в тридцать лет Бунин был юношески красив, свеж лицом, правильные черты которого, синие глаза, остроугольная русо-каштановая голова и такая же эспаньолка выделяли его, обращали на себя внимание.

— Христос воскрес, Саша! — Бунин поцеловал Куприна.

Бог ты мой! Да сегодня же святое воскресенье! Пасха! За работой Куприн совершенно позабыл об этом… И сразу вспомнился Второй Московский кадетский корпус, маленький седенький священник отец Михаил, трогательно похожий на Николая Угодника, и то, что сам Куприн пять лет пел в корпусном церковном хоре вторым тенором…

— Воистину воскрес! — взволнованно ответил он.

— Господин маркиз напрасно притворяется православным и даже христосуется, — сказал ворчливо Чехов. — На самом деле он рьяный католик. И знаете, кто разоблачил его? Наша просвещенная Варвара Константиновна.

Начальница Ялтинской женской гимназии Варвара Константиновна Харкевич была обожательницей писателей, собирала о них все, что только было можно — рецензии в периодике, открытки, пародии, шаржи, — и восторженно читала наизусть их произведения целыми страницами.

— Антон Павлович! Говоря так, вы не совсем ошиблись, — отозвался Бунин характерным южнорусским говором с мягким «г» (совсем таким же, как у Евгении Яковлевны, подумал Куприн). — По преданию, наш род основал муж знатный Симеон Бунковский,

который выехал из Польши на служение к великому князю Василию Васильевичу… Он-то, верно, был католиком…

— Вы же дворянин, последний из книги «Сто русских литераторов»… — не без легкого лукавства сказал Чехов и добавил тверже, серьезнее: — А я мещанин и горжусь этим!..

Он обратился к Куприну:

— Как ваш рассказ?

— Перечитал дважды и ставлю точку.

«…В его мозгу резким, высоким звуком — точно лопнула тонкая струна — кто-то явственно и раздельно крикнул: бу-меранг! Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее…» — пробежал глазами Куприн последние строки.

— Тогда оставим мрачные материи и направимся немедля на набережную… — Чехов положил на плечо Куприна сухую сильную руку.

Вся ялтинская набережная была заполнена празднично одетым народом. Раскланиваясь со знакомыми, Чехов ни разу не последовал массовому примеру ялтинских обывателей, приветствовавших друг друга шумными пасхальными возгласами и поцелуями. Куприн слышал, что еще истово богомольный отец Чехова, бессменный церковный староста одной из таганрогских церквей, своим аскетизмом и суровой фанатичностью подавил в мальчике религиозные чувства.

В сквере Чехов указал на уединенную скамейку, глядящую на море.

— Ну что, молодые люди, — шутливо сказал он, присаживаясь. — Может быть, подбросите старику какой-нибудь сюжетец или хотя бы красочную деталь? А то я пишу все меньше и меньше…

— Все-таки я вам уже пригодился, — в тон ему отозвался Бунин. — Вспомните, Антон Павлович, начало вашей повести «В овраге».

— Да, господин маркиз! Это вы рассказали мне, как сельский дьячок до крупинки съел два фунта зернистой икры. Где это было?

— На именинах моего отца, — улыбнулся Бунин. — Ел, коченея от наслаждения, как его ни пытались от икры оторвать!

Чехов принялся хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

— Вы замечательно подмечаете художественные подробности, — чуть шепелявя, сказал он и вдруг прибавил: —

Только вот вам мой совет — перестаньте быть дилетантом, сделайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно — писать так, как должен был я из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновения…

Куприн слушал их, втайне завидуя тому, как легко, непринужденно держится с Чеховым Бунин, почти как с равным. «Как они близки, — подумал он. — У меня так никогда не получится!»

После недолгого молчания Бунин спросил у Чехова:

— Любите вы море?

Море, серо-лиловое, зеркальное, поднималось перед ними очень высоко.

— Да, — ответил тот. — Только уж очень пустынно.

— Это и хорошо, — сказал Бунин.

— Не знаю. — Чехов глядел куда-то сквозь стекла пенсне и, очевидно, думал о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом… Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку…

И, по своей манере помолчав, без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря я читал недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое».

«Да, Бунин, конечно, близок Чехову, — сказал себе Куприн. — И очень ему далек. Как он любуется одиночеством, надменной отчужденностью! Эх, Иван, Иван! Больно уж ценишь ты красивые переживания. Эстет… А по мне, так нет ничего дороже, чем густой мед обыденной жизни, чем эта толпа на набережной и разношерстный народ на пристани — русские, украинцы, молдаване, греки, евреи, татары…»

Он уже не раз ощущал, что Бунин, близкий товарищ, талантливый художник, прекрасный поэт, порою раздражает и даже злит его.

— А не отправиться ли нам в греческий ресторанчик? — нарочито бодро предложил Куприн. — К доброму пьянице Кастаки… У него божественная кефаль и прекрасное белое вино…

«Одесские новости» наконец откликнулись, одарив Куприна небольшой суммой, и он самолюбиво желал угостить Чехова и Бунина «на свои».

— Нет, молодые люди. — Чехов поднялся. — Вы обязательно отправляйтесь в ресторан. А мне пора домой. Стетоскоп строгого Елпатьевского уже ждет меня…

Его высокая фигура еще долго виднелась в толпе на набережной.

— Знаешь, Саша, — сказал Бунин. — К черту ресторан! Давай лучше возьмем у проводника лошадей и закатимся в горы. На Уч-Кош, выше водопада.

— А ты справишься с лошадью? — насмешливо проговорил Куприн. — Я в Проскурове в ресторан въехал верхом на второй этаж. Не оставляя седла, выпил рюмку коньяку и спустился вниз по лестнице. Заметь: все это на старой одноглазой бракованной кобыле. Цирковой трюк высшего класса!

Бунин холодно ответил:

— Лошадей я знаю не хуже тебя.

— Ты? — Куприн захохотал. — Ведь ты шпак! Штатская штафирка!

У Бунина лицо пошло пятнами:

— Мой отец был лучшим лошадником в округе и посадил меня в седло, когда мне было пять лет!

— Ну прости, прости… — Куприн понял, что не шутя задел приятеля. — Извини меня! Вася! Ричард! Это же не я, это моя злая кровь князей Кулунчаковых бродит во мне!

— Изволь! — Бунин резко встал. — Тогда пошли искать проводника.

…С ялтинского шоссе они свернули на тропинку, узкую и крутую. Маленькие шерстистые лошадки бежали споро, привычно. Куприн с небрежной офицерской ловкостью ехал за проводником. Внезапно Бунин, слегка задев его крупом лошади, обогнал и помчался с гиканьем по тропе. Мелкие камешки с шорохом сыпались вниз, туда, где в бездне расстилалось солнечное поле воды. Куприн, отчаянно понукая свою лошаденку, поспешил за ним.

— Урус! Шайтан урус! — обалдело кричал оставшийся где-то внизу проводник.

Тропинка пропала в облаке, мгновенно стало очень сыро. Куприн, доверясь чутью татарской лошадки, гнал и гнал ее вверх.

Он настиг Бунина на узенькой площадке среди скал, когда туман остался под ногами.

— Ты что? — крикнул он, перехватывая повод. — Совсем спятил?

— Посмотри, Саша, — как ни в чем не бывало мечтательно сказал Бунин. — Вот сюда, на провалы в облаках, там какая-то дивная неземная страна… А скалы? Они известково-серые… Как птичий помет…

— Издеваешься надо мной? — зарычал Куприн, совсем по-звериному щуря маленькие глаза. — Ты чудовищно честолюбив! Согласен, убедил — ты отлично ездишь верхом. Доволен?

— Я не честолюбив, я самолюбив, — ответил Бунин.

— А я? — быстро остывая, спросил Куприн. И на минуту задумался, сощурив по своему обыкновению глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил: — Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие даже не имею права. Я и писателем стал случайно. Долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказишками, ты же лучше других знаешь! Вот и вся моя история…

Появился проводник, бормоча ругательства. Бунин ласково сказал ему:

— Как тут красиво! Море! Верст на пятьдесят, на сто вперед!

Тот от негодования только почмокал, а затем все-таки отозвался:

— Эх, барина, как мине все это надоел! Каждый день видим…

Спускались молча, медленно, не обращая внимания на причитания проводника. Куприн жадно вдыхал горячий южный воздух, остро чувствуя все оттенки запахов и ароматов: нагретого камня, молодого зверобоя, расцветающего миндаля.

— А ведь аппетит разыгрался, и страшенный, — примиренно сказал он Бунину.

— Навестим дражайшую Варвару Константиновну? — ответил тот. — Она-то ублажит нас по первому классу!

— Еще бы! — Куприн по-мальчишески присвистнул и с лихостью кадета выполнил «ножницы» — гимнастическим движением ног перекинул тело, сев лицом к хвосту, а затем бросил себя назад. — У Харкевич сегодня открытый пасхальный стол!..

Хозяйки дома не оказалось, но ее муж, маленький веселый толстяк, взмолился:

— Варвара Константиновна делает пасхальные визиты и никогда не простит мне, если вы не отведаете всего, что приготовлено…

Он провел гостей, которые отказывались только для вида, в большую столовую, а затем лишь наблюдал с возрастающим изумлением, как стремительно исчезали с тарелок закуски, горячие блюда, как пустели бутылки. На прощание Куприн предложил:

— Надо написать и оставить Варваре Константиновне стихи.

И они с Буниным, хохоча, перебивая друг друга, стали сочинять строчка за строчкой шутливое послание, записывая прямо на скатерти:

В столовой у Варвары Константиновны

Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки —
И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил…

Когда они вышли из дома Харкевич, было уже совсем темно — по-южному, тепло, тихо, с ясным месяцем и редкими лучистыми звездами в глубоком небе. Крымский вечер навеял Куприну настроение умиротворенности и покоя. Море ласково, с влажным шелестом лизало берег.

— Как мучительно больно, как непонятно — до дрожи, до сумасшествия, — вдруг сказал, останавливаясь, Бунин, — знать, что тот человек, о котором ты каждый день, каждый час думаешь, мучаешься, страдаешь, даже не вспомнит тебя. Отрезала, разлюбила и позабыла! Как это может только женщина…

И почти без паузы тихо начал читать:

За все тебя, господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.

Я одинок и ныне — как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нем Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.

И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю — с тобой…

«Вот ты где настоящий… — подумал Куприн, проникаясь состраданием и нежностью к Бунину. — Не тогда, когда ты балаганил за столом у Харкевич, а тут, сейчас…»

— Милый, — сказал он в темноте. — Милый ты мой! Вася! Альберт! Я бывший офицер, грубиян. Но как я чувствую тебя, твою душу!..

Они расцеловались и разошлись: Куприн пошел в бедный дом рыбака-грека, Бунин — в дешевую ялтинскую гостиницу. Но оба не могли уснуть.

Куприн уже разделся и лег под влажную простыню. За тонкой

стенкой шумели, возились полдюжины чумазых и курчавых детишек хозяина. Куприн думал о Бунине, о его судьбе, о Чехове, которого уже не просто любил, а боготворил. Беспокойное волнение разгоралось в нем. Он накинул простыню и вышел на скрипучую терраску.

Была уже полная крымская ночь — черная, по-весеннему прохладная. Куприн искал во мраке, в нагромождении смутно белеющих аутских домиков чеховский своими рысьи-зоркими глазами, и ему показалось, что он видит его, видит в оконце кабинета свет.

Мозг пытался найти точное выражение тому, что Куприн пережил за эти две недели в Ялте, в каждодневных встречах с Чеховым. Получалось очень громоздко и опять высокопарно. Но если бы он мог сжать все эти мысли до одной фразы, то скорее всего появились бы те самые слова, которые много позднее записал Бунин:

«У Чехова все время росла душа…»

3

Чехов — Куприну.

22 января 1902 года, Ялта.

«Дорогой Александр Иванович, сим извещаю Вас, что Вашу повесть «В цирке» читал Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ. и в заглавии подчеркните рассказы, которые Вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а уж я передам ему.

Рассказ для «Журнала д(ля) в(сех)» пришлют, дайте только «очухаться» от болезни.

Ну-с, будьте здоровы, желаю Вам всего хорошего…

Ваш А. Чехов».

Отступление первое ХУДОЖНИК

1

Натура, одаренная от природы по-русски щедро, широко, с размахом, писатель милостью божьей, Куприн поражал современников возможностями своего таланта. «Я сказал: „по своей талантливости“. Нужно сказать — „большой талантливости“», — поправлял себя пристрастный к собственному поколению Бунин, вспоминая о Куприне, о трудности его жизненного пути, о неравноценности написанного им, о многом разном, великом и малом, что соединилось в личности писателя.

Куприн родился 26 августа (7 сентября) 1870 года в захолустном городке Наровчате Пензенской губернии. Отца своего, мелкого чиновника, умершего от холеры, когда мальчику шел второй год, он совсем не помнил. В 1874 году Куприн переезжает с матерью в Москву и поселяется в общей палате вдовьего дома на Кудринской площади. Так начинается для будущего писателя долгая полоса беспрерывного заточения во всякого рода казенных заведениях.

Во вдовьем доме (описанном впоследствии в рассказе «Святая ложь») он по крайней мере не был оторван от матери. Вообще для детства Куприна и формирования его личности немалое значение имело то обстоятельство, что в глазах ребенка место «верховного существа» безраздельно заняла мать.

Судя по свидетельствам современников, Любовь Алексеевна Куприна, урожденная княжна Кулунчакова, «обладала сильным, непреклонным характером и высоким благородством» (Кончина матери А. И. Куприна.— «Русское слово», 1910, № 135, 15 (28) июня). Это была женщина энергичная, волевая (чего только ей стоило после смерти мужа воспитать почти без средств к существованию троих детей) и даже с оттенком деспотизма в характере. Авторитет Любови Алексеевны оставался непоколебимым в течение всей ее долгой жизни. Она была натурой незаурядной, обладавшей, по словам Куприна, редким «инстинктивным вкусом» и тонкой наблюдательностью. «Расскажешь ли, или прочтешь ей что-нибудь, — вспоминал Куприн, — она непременно выскажет свое мнение в метком, сильном, характерном слове. Откуда только брала она такие слова? Сколько раз я обкрадывал ее, вставляя в свои рассказы ее

слова и выражения…» И у шестидесятилетнего Куприна образ матери вызывает совершенно детски-восторженные признания. В своем автобиографическом романе «Юнкера» он не называет мать Александрова иначе, как «обожаемая». Мечтательный и одновременно вспыльчивый, нежный и упорный до упрямства мальчик оказался обязанным матери многими чертами своего характера.

В 1876 году из-за тяжелого материального положения Любовь Алексеевна была вынуждена отдать сына в Александровское малолетнее сиротское училище. Саша надел первую в своей жизни форму — «парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой». Казенная обстановка, злобные старые девы-воспитательницы, наконец, сверстники, которые «были с самого первоначала исковерканы», — все это причиняло мальчику страдания и вызывало в нем протест.

Однако жизнь в сиротском пансионе могла показаться еще терпимой в сравнении с гнетущим бытом кадетского корпуса, куда поступил Куприн. В 1880 году он сдал вступительные экзамены во Вторую Московскую военную гимназию, которая два года спустя была преобразована в кадетский корпус. И снова форма: «черная суконная курточка, без пояса, с синими погонами, восемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротнике». Поистине детство Куприна было насильственно затянуто в казенную форму. В повести «На переломе» («Кадеты») Куприн подробно запечатлел калечащие детскую душу нравы «бесшабашной республики», тупость начальства, «всеобщий культ кулака», отдававший более слабого на растерзание более сильному, наконец, отчаянную тоску по семье и дому.

Десятилетний мальчик столкнулся в эту пору с несправедливостью, возведенной в закон. В его сознании нормы честности и благородства, поддерживаемые в семье материнским авторитетом, приходят в резкое несоответствие с царившим в гимназии правом сильного, с нелепой казарменной воспитательной системой. Болезненную травму оставила в душе мальчика публичная порка (описанная в «Кадетах»), которой подвергло его гимназическое начальство, имея в виду цели «педагогические». Уже на закате своих дней Куприн прокомментировал этот эпизод: «Булавин — это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь…» («Москва родная»).

Третье Александровское юнкерское училище в Москве, куда Куприн поступил в сентябре 1888 года, приняло в свои стены уже не «невзрачного, маленького, неуклюжего кадетика»

(Воспоминания однокашника, Л. А. Лимонтова), а крепкого юношу, ловкого гимнаста, юнкера, без меры дорожащего честью своего мундира, неутомимого танцора, пылко влюбляющегося в каждую хорошенькую партнершу по вальсу. Разве что «бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны» («Юнкера»), толкавшая на резкие и необдуманные поступки, выделяла его среди дюжинных юнкеров. Но впечатление это лишь внешнее. Молодой Куприн, бессознательно приспосабливаясь к окружению, вобрал в себя «типические» черты военной среды во имя спасения и сохранения своей индивидуальности, того «купринского», что проявилось в его первых художественных опытах — стихах и прозе.

Иными словами, детские и юные годы Куприна в известной мере дают материал для отыскания истоков его характерных особенностей как художника. Воспевание героического, мужественного начала, естественной и грубовато-здоровой жизни сочетается в купринском творчестве, как мы увидим, с обостренной чуткостью к чужому страданию, с пристальным вниманием к слабому, «маленькому человеку», задыхающемуся в оскорбительно-чужой и враждебной ему среде. Вот эта вторая плодотворнейшая стихия Куприна-художника восходит к впечатлениям маленького Саши, полученным в кадетском корпусе. Речь идет не только о произведениях с явным автобиографическим уклоном. Нужно было ребенком пройти через ужасы военной бурсы, пережить унизительную экзекуцию, чтобы так болезненно остро ощутить, скажем, безысходную драму жалкого, забитого солдатика Хлебникова («Поединок») или мучения татарина Байгузина («Дознание»), истязуемого на батальонном плацу.

Несмотря на мрачность быта кадетского корпуса, именно там зародилась настоящая, глубокая любовь Куприна к литературе. Среди бездарных или опустившихся казенных педагогов счастливым исключением оказался литератор Цуханов и даже сам Александр III («Недоразумение»). Откликом на готовившуюся расправу над А. И. Ульяновым и четырьмя его товарищами-народовольцами, обвиненными в подготовке покушения на царя, явилось стихотворение «Сны» (14 апреля 1887 года), в котором семнадцатилетний Куприн заклеймил «гнусное», страшное дело» царского суда:

Вдруг смолкла вся площадь, и жутко молчанье…
Послышался детский отрывистый плач,
И снова все стихло. Один в ожиданье
По доскам помоста шагает палач…

Уже будучи в юнкерском училище, Куприн впервые выступил в печати. Познакомившись с бывшим «искровцем» поэтом Л. Пальминым, он опубликовал в журнале «Русский сатирический листок» рассказ «Последний дебют». Сладкий яд авторства, особенный запах типографской краски новенького номера журнала, наконец, дисциплинарное взыскание за выступление в печати — все это запомнилось навсегда, воплотилось позднее в отдельный рассказ. Сам же рассказ не обличал сколько-нибудь таланта в его авторе, таким дешевым мелодраматизмом был он перенасыщен, так трафаретны были его персонажи. Первый выход в литературу оказался неудачным, не имел серьезного значения в творческой биографии Куприна. И когда, окончив 10 августа 1890 года «по первому разряду» Александровское училище, свежеиспеченный подпоручик отправился в 46-й пехотный Днепровский полк, квартировавший в городишке Проскурове Подольской губернии, он и сам не относился сколько-нибудь серьезно к своему «писательству».

Четырехлетняя служба едва ли не впервые столкнула Куприна с тяготами обыденной жизни, от которой он был все это время отгорожен стенами военных учебных заведений. Куприн оказался «в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза…» («К славе»). Показная нарядная сторона военной жизни обернулась своим исподом: утомительно однообразными занятиями ружейными приемами и «словесностью» с ошалевшими от муштры солдатами; попойками в офицерском клубе да пошлыми интрижками с полковыми «мессалинами».

Однако именно эти годы дали возможность Куприну досконально изучить провинциальный военный быт, а также познакомиться и с нищей жизнью еврейского местечка, и с бытом полесского села, и с нравами провинциальной интеллигенции. «Дознание», «Ночлег», «Ночная смена», «Поединок», «Свадьба», «Славянская душа», «Ужас», «К славе», «Миллионер», «Жидовка», «Трус», «Телеграфист», «Неизъяснимое» и т. д. — материал для этих произведений он почерпнул именно в годы своей офицерской службы. В 1893 году подпоручик Куприн заканчивает повесть «Впотьмах» и рассказ «Лунной ночью». Все чаще и чаще задумывается он над тем, как ему следует жить дальше. Вот так же «взрослеет» в «Поединке» подпоручик Ромашов, еще недавно мечтавший о военной славе, но после напряженных раздумий о бессмысленной армейской муштре, дикости провинциального

офицерского существования решающий выйти в отставку.

Прошение об отставке Куприн подает в конце 1893 года и в августе следующего оказывается в Киеве. К этому времени популярный народнический журнал Михайловского и Короленко «Русское богатство» напечатал его повесть «Впотьмах» и рассказ «Лунной ночью». В Киеве Куприн много печатается, пишет рассказы, очерки, заметки в местных и провинциальных газетах и рассказов — «Миниатюры».

2

Первое, что бросается в глаза, когда знакомишься с куприновскими произведениями 90-х годов, это их неравноценность. Рядом с неприхотливыми и как раз поражающими неприхотливостью своей правды даже не рассказами в собственном смысле слова, а эскизами, очерками, набросками, в которых ощущаются подлинные, еще не остывшие жизненные впечатления («Дознание», 1894; «Ночлег», 1895; очерки из сборника «Киевские типы», 1895-1896 и т. д.), мы находим многочисленные вещи, где резко заметно тяготение к штампам, традиционной мелодраме.

Пестрота и неравноценность ранней прозы Куприна объяснимы его слабой общей культурой и недостаточным знанием жизни. В Киеве Куприн оказывается, по собственным словам, «в положении институтки-смолянки, которую ни с того ни с сего завели бы ночью в дебри Олонецких лесов и оставили бы без одежды, пищи и компаса. Вдобавок, — замечает он, — самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских». (Автобиография А. И. Куприна. — «Огонек», 1913, № 20). Попав в большой незнакомый город, он был вынужден перепробовать все роли на нижних этажах социального здания. О тех опасностях, какие подстерегали талант молодого Куприна, проницательно отозвался много позже Бунин: «...выйдя из полка и кормясь потом действительно самыми разнообразными трудами, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и «рассказишками». Он мне говорил, что эти «рассказишки» он сбывал «за сущие гроши, разумеется, но очень легко», а писал и того легче, «на бегу, на лету, посвистывая» — и ловко попадая по своей талантливости во вкус редактору и читателям».

Примеров «потрафления» вкусам публики у молодого

Куприна, к сожалению, немало. Это прежде всего рассказы, где изображаются «р-р-оковые» страсти, где мелодрама принудительно делит героев на воплощение благородства и злодейства. Таково уже упоминавшееся первое печатное произведение Куприна «Последний дебют». Ту же «душещипательную» традицию продолжают некоторые рассказы 90-х годов («Впотьмах», 1893, «Лунной ночью», 1893, «Странный случай», 1896 и т. д.). Пройдет немного времени, и в очерке «По заказу» (1901) Куприн резко высмеет собственные литературные штампы.

О своих ранних произведениях Куприн отозвался сурово. «Да поймите же, — объяснял он корреспонденту газеты «Крымский курьер», — что это первые ребяческие шаги на литературной дороге». Преодолению литературщины, заемных мелодраматических трафаретов и расхожих описаний способствовало подлинное познание жизни. Молодому писателю приходилось вовсю наверстывать упущенное за годы скудной юности. В его автобиографии приведен пестрый список тех профессий, какие он перепробовал, расставшись с военным мундиром: был репортером, управляющим при постройке дома, разводил табак «махорку-серебрянку» в Волынской губернии, служил в технической конторе, был псаломщиком, выступал на сцене, изучал зубоврачебное дело, пробовал постричься в монахи, работал в кузнице и в столярной мастерской при сталелитейном заводе в Волынцеве, служил в артели по переноске мебели фирмы некоего Лоскутова, работал по разгрузке арбузов и т. д.

В этом списке первым стоит: репортер. И это не случайно. Репортерская работа в киевских газетах — судебная и полицейская хроника, писание фельетонов, передовиц и даже «корреспонденции из Парижа» — была главной литературной школой Куприна. К амплуа репортера он сохранил навсегда теплое отношение. В 1918 году в петроградской газете «Вечерние огни» Куприн так охарактеризовал репортерскую работу: «Публика еще продолжает думать, что репортер — пожарный строчила либо происшественник… Между тем репортер, как и беллетрист, должен „видеть все, знать все, уметь все и писать обо всем“. Границы между репортажем и художественным творчеством условны. Художник часто становится репортером, а репортер поднимается до уровня художника». В этой пусть завышенной оценке чернорабочего от журналистики, в этом сведении качественного различия между художником и газетным ремесленником к различию количественному ощущается отголосок собственного, «купринского» пути в «большую» литературу.

От природы у Куприна было умение видеть, поразительная наблюдательность и память.

Сохранился рассказ некой дамы-писательницы, которая в ранней молодости встретилась на каком-то общественном балу с безвестным пехотным офицером Куприным. Прошло лет двадцать, и вот уже в Петербурге писатель, увидев ее, подошел, назвал по имени-отчеству и напомнил об их знакомстве. Она удивилась: «Неужели вы меня узнали?» Куприн засмеялся и подробно описал, какое платье было на ней в тот вечер, двадцать лет тому назад. «Цвет, фасон, все решительно, совершенно точно, уж ведь мы-то, женщины, наши платья помним!», изумленно рассказывала она.

Стоит ли поэтому удивляться, с какими поразительными подробностями запечатлены в маленьких рассказах Куприна пехотные офицеры, «ундеры», рядовые, артисты цирка, босяки, квартирные хозяйки, студенты-белоподкладочники, певчие, лжесвидетели, воры. Какое обилие типажей, очерченных резко и характерно, предстает в военных рассказах, какая пестрая людская ярмарка развертывается в «Киевских типах»! Военные типажи обрисованы писателем так, что подчеркнута их распространенность; в забитом, «бледном, грязном» татарине Камафутдинове, «посмешище всей роты, ужасе и позоре инспекторских смотров» («Ночная смена»), мы без труда узнаем черты жалкого Мухамеда Байгузина, подвергнутого «экзекуции» за кражу голенищ и тридцати семи копеек («Дознание»); любимец роты, запевала, лентяй Замошников («Прапорщик армейский») повторится в старом солдате дядьке Веденяпине, «запевале и общем увеселителе» («Поход»).

В великолепно изученной Куприным среде киевского «дна» писатель так же знает «все обо всем», как и в среде армейской. Он знает и то, какие типы лжесвидетелей существуют в Киеве и почему их нельзя путать с продажными «благородными» свидетелями. Как называют босяков в Петербурге, как их зовут в Москве, а как в Одессе и Харькове. Знает, что «марвихер» — это вор, занимающийся исключительно карманными кражами, и — даже! — что «за последнее время между «марвихерами» вошли в моду короткие мохнатые бушлаты из светло-желтого драпа».

От природы имел Куприн необыкновенное зрение, тонкий слух и редкостную чуткость к запахам и ароматам.

Современники шутили, что в Куприне было что-то «от большого зверя». Мамин-Сибиряк говорил: «А вот Куприн. Почему он большой писатель? Да потому что он — живой. Живой он, в каждой мелочи живой. У него один маленький штришок — и готово: вот он весь тут, Иван Иванович… Кстати, он, знаете,

имеет привычку настоящим образом, по-собачьи, обнюхивать людей. Многие, в особенности дамы, обижаются. Господь с ними, если Куприну это нужно». Ему вторила писательница Н. А. Тэффи: «Вы обратите внимание, как он всегда принюхивается к людям! Потянет носом, и конец — знает, что это за человек».

Читая Куприна, и впрямь ощущаешь его необычное, прямо-таки «звериное» обоняние. Так, в автобиографическом романе «Юнкера» юный выпускник кадетского корпуса Александров слышит, как по-разному пахнут «сильные, полумужские тела» кадетов на физическом осмотре: «Они пахнули по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то увядающим нарциссом». В рассказе «В цирке» борец Арбузов чувствует, как в цирковых коридорах пахнет «конюшней, газом, тырсой, которой посыпают арену, и обыкновенный запах зрительных зал — смешанный запах новых лайковых перчаток и пудры». Куприн слышит запах тела девушки, «тот радостный, пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которыми они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера». Аромат белых акаций таков, что «их сладкий приторный запах чувствуется на губах и во рту» (рассказ «Белая акация»).

Примечательно, что в произведениях, передающих живой опыт молодого Куприна, его интерес направлен не на исключительные события, переданные к тому же «бывалым человеком» (таковы почти все его рассказы мелодраматического характера), а на событие, многократно повторяющееся, на подробности быта, обстановку, на воссоздание среды во всех ее незаметных мелочах, на воспроизведение величественной и медлительной «реки жизни».

Военные и «цивильные» этюды Куприна сродни «натуральному» очерку XIX века, но насколько же с тех пор выросла сила художественной изобразительности! Писатель не ограничивает свою задачу пусть меткими, но незамысловатыми «зарисовками с натуры». Нет, в отличие от популярных газетных очеркистов-современников (А. В. Амфитеатрова, В. М. Дорошевича, И. Ф. Буквы-Васильевского) он художественно осмысляет действительность, выносит ей приговор логикой самих образов. «Моментальные» фотографии не только объединяются в цельную художественную панораму, они преобразуются в неповторимую картину купринского видения мира. И когда в 1896 году, поступив на службу на крупнейший сталелитейный и рельсопрокатный завод Донецкого бассейна — Юзовский, Куприн пишет цикл очерков о положении рабочих, одновременно с ними уже складываются контуры первого крупного произведения — повести «Молох».

3

Куприн чутко уловил и отразил в повести первые раскаты нарастающего общедемократического подъема 90-х годов. Пожалуй, впервые в русской литературе в «Молохе» крупным планом показан протестующий рабочий класс. Стремительно и жестоко развивавшийся промышленный капитализм получил в произведении столь резкое изображение, что редактор народнического «Русского богатства», где печаталась повесть, Н. К. Михайловский потребовал переделки главы о «бунте».

Помимо соображений цензурного характера, здесь, бесспорно, проявилось несогласие убежденного народника с писателем-реалистом. Для центрального героя повести инженера Боброва, которому симпатизирует Куприн, рабочий выглядит «терпеливым русским мужиком», отдаваемым в жертву капиталистическому идолу. Организованное выступление пролетариата для него такой же гром среди ясного неба, как и для промышленного воротилы Квашнина, номинального директора завода Шелковникова и фактического руководителя — бельгийца Андреа. Нам неизвестно, к сожалению, как была изображена забастовка в первой редакции. Под давлением Михайловского писатель был вынужден пойти на уступки: «… о бунте ни слова. Он будет только чувствоваться».

Зато выпукло и ярко показана в повести обслуживающая капитализм интеллигенция — все эти зиненки, свежевские, шелковниковы. И конечно, сам «Молох» — уродливый, как гигантская пиявка, сладострастный Квашнин. В воспаленном воображении Боброва рыжий миллионщик выглядит уже не человеком, а каким-то неведомым существом, требующим теплой человеческой крови.

Однако Квашнин не просто фантом или гадкое физическое существо, «вечно предшествуемое своим животом». Куприн не страшится показать гротескно безобразного толстосума и в ином, неожиданном свете — на пикнике, в решающий для Боброва момент неравного «поединка» с Квашниным за хорошенькую Нину Зиненко. Так победно звучит музыка, которую открывает Квашнин в паре с Ниной: «Василий Терентьевич выждал такт и вдруг, повернувшись к своей даме движением, исполненным тяжелой, но своеобразной величественной красоты, так самоуверенно и ловко сделал первое pas, что все сразу признали в

нем бывшего отличного танцора». Писатель избегает однолинейного заострения, не нарушая при этом общей оценки.

Символика, отождествляющая древнего жестокого языческого идола и с могущественным Квашниным, и с заводом, пожирающим человеческие жизни, продолжает расширяться, распространяясь как бы концентрическими кругами. В глазах чуждого фальши и несправедливости одиночки-правдоискателя Боброва уже вся буржуазная цивилизация — «прогресс, машинный труд, успех культуры» и т. д. — уподобляется тому же моавитянскому богу солнца, огня и войны — Молоху.

Но при этом протест у Боброва и обладающий неистощимым запасом полесских легенд охотник Трофим Щербатый. В этом рассказе воплощена одна из центральных тем литературы XX века: естественное стремление современного человека быть ближе к природе, ее живительным сокам и полная невозможность в условиях своекорыстного мира осуществления такой идиллии.

В прозе Куприна второй половины 90-х годов «Молох» выделяется как страстное прямое обвинение капитализму. Повесть была этапом не только в идейном развитии писателя, но и его художественной эволюции. Это была уже во многом настоящая «купринская» проза с ее, по словам Бунина, «метким и без излишества щедрым языком».

Так начинается стремительный творческий расцвет Куприна, создавшего на стыке двух веков едва ли не все самые значительные свои произведения. Талант Куприна обретает уверенность и силу. Вслед за «Молохом» появляются произведения, выдвинувшие писателя в первые ряды русской литературы, — «Прапорщик армейский».

Глава вторая В ПЕТЕРБУРГ, В ПЕТЕРБУРГ!

1

Александра Аркадьевна Давыдова, издательница популярного литературного журнала «Мир божий», с утра чувствовала вялость во всем теле и ломоту в затылке. Она понуждала себя заняться делом и не могла, а мысли не приносили облегчения.

Раздражали непрерывные уколы цензуры, огорчала бедность журнального портфеля, пассивность именитых писателей, произведения которых могли привлечь подписчиков. Волевая, настойчивая, Давыдова долгие годы уверенно управляла журналом, случалось, чуть не силой выбивала новые произведения и никогда не потакала писательской лени. Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки! Дайте хоть пятьдесят рублей авансу». — «Хоть умрите, милый, — отвечала она, — не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ…»

Молоденькая горничная Феня прервала ее воспоминания:

— Барыня, вас спрашивают…

— Кто?

— Писатели… Но не наши, не столичные…

Хотя Александра Аркадьевна объясняла себе собственное состояние причинами внешними, дело было в другом. После смерти старшей дочери Лиды, которую она страстно любила, у нее обострилась болезнь сердца.

— Скажи Мусе, чтобы приняла их…

Двадцатилетней дочери Давыдовой Марии, курсистке-бестужевке, все чаще приходилось брать на себя роль хозяйки.

…В гостиной с плюшевыми шторами, мягкой мебелью и непременным Бёклиным смущенно стоял приведенный Буниным Куприн. В синем костюме в серую полоску, мешковато сидевшем на его широкой в плечах, коренастой фигуре, низком крахмальном воротничке, каких уже давно не носили в Петербурге, и большом желтом галстуке с крупными ярко-голубыми незабудками, он сам остро ощущал себя неуклюжим и

простоватым провинциалом.

Когда появилась молодая брюнетка с лицом красивой цыганки, но одетая с той подчеркнутой простотой, которая говорит о безукоризненном вкусе, Куприн невольно отступил назад, за спину щеголеватого, ловкого Бунина. Тот не растерялся и начал легко, в привычном для себя юмористическом тоне:

— Здравствуйте, глубокоуважаемая! На днях прибыл в столицу и спешу засвидетельствовать Александре Аркадьевне и вам свое нижайшее почтение…

Он преувеличенно низко поклонился, затем, отступив на шаг, поклонился еще раз.

Бунин предупредил Куприна, что довольно коротко знаком с Давыдовыми, но тот не ожидал поворота в разговоре, который последовал.

— Разрешите представить вам жениха, — торжественно-серьезным тоном продолжал Бунин, — моего друга Александра Ивановича Куприна. Обратите благосклонное внимание — талантливый беллетрист, недурен собой… Александр Иванович, повернись к свету! Тридцать один год, холост. Прощу любить и жаловать!»

Куприн глядел на Марию Давыдову, глупо улыбаясь.

— Так вот, почтеннейшая, — балагурил Бунин. — Сядем, посидим, друг на дружку поглядим…

И как деревенский сват, выхваляя жениха, начал рассказывать разные забавные истории с участием Куприна.

— Ну как же? — напирал Бунин. — У вас товар, у нас купец, женишок наш молодец…

И, поддерживая эту веселую игру, Мария ответила ему в тон:

— Нам ничего… Да мы что… Как маменька прикажут, их воля…

Куприн молчал: ему становилось все более неловко, и бунинская затея его не веселила. Молодая хозяйка быстро заметила это и незаметно, с привычным тактом светской девушки перевела разговор в иную плоскость. Она вспомнила Крым, начала расспрашивать Куприна об общих знакомых, в числе которых оказался Сергей Яковлевич Елпатьевский.

Куприн тотчас оживился, исчезла связанность движений, другим стало выражение лица. Он начал имитировать Елпатьевского, его манеру, жестикулируя левой рукой и заикаясь, говорить с пациентами по телефону, не забывая подчеркнуть свое знакомство с Чеховым. Придвинув к себе стоявшую на столе небольшую лампу, Куприн забормотал, словно в телефонный аппарат:

— Говорит доктор Е… е… елп… п… патьевский,

здравствуйте, Петр Иванович! Сегодня я заеду к вам попозже… Надо сначала навестить Антона Павловича, последние дни я им недоволен… Раньше четырех часов меня не ж… ж… ждите…

— Здорово, Александр Иванович, у тебя выходит! Очень здорово! — одобрил Бунин. Начались рассказы о Чехове, о том, как осаждают его поклонники. Потом Бунин вспомнил анекдот о плодовитом беллетристе Боборыкине. Как-то при встрече с ним Чехов пожаловался, что пишет теперь мало, долго работает над своими вещами и часто бывает ими недоволен. «Вот странно, — удивился Боборыкин, — а я всегда пишу много, скоро и хорошо…»

— Антон Павлович — необыкновенно скромный человек, — с увлечением сказал Куприн. — Каждый раз, когда ему в глаза говорят, что он большой писатель, восхищаются его произведениями, он болезненно конфузится и не умеет сразу прекратить это славословие. От публичных выступлений и оваций всегда старается уклониться и не выносит, когда вокруг его имени создается газетная шумиха…

Заговорив о Чехове, Куприн окончательно обрел смелость, а вместе с ней и дар живой речи.

— Как-то утром пришел я к нему, — продолжал он, — и застал у Чехова издателя одного бульварного листка, который просил Антона Павловича принять сотрудника его газеты. «Чего вам стоит, дорогой Антон Павлович, сказать ему всего несколько слов — сообщить краткое содержание своей новой пьесы», — убеждал Чехова издатель. «Никаких интервью я никому не даю», — с несвойственной ему резкостью отвечал Чехов. «Вы, конечно, знаете, Александр Иванович, — после ухода издателя сказал Антон Павлович, — как в наших газетах пишутся «Беседы с писателями»…» — «Сейчас продемонстрирую, как это делается, — ответил я ему: — «Знаменитый писатель радушно принял нас, сидя на шелковом канапе в своем роскошном кабинете стиля Луи Каторз Пятнадцатый. Он подробно говорил с нами о своей новой пьесе. «В одном из главных действующих лиц, — сказал он нам, — вы легко узнаете известного общественного деятеля Титькина. Героиня пьесы Аглая Петровна, — фамилии ее я вам не назову, вы догадаетесь, о ком идет речь, если я скажу вам, что она красивая, богатая женщина, щедрая меценатка — покровительница литературы и изящных искусств». — «Эту роль вы, наверное, поручите любимице публики, нашей несравненной артистке Кусиной-Пусивой?» — спросили мы. «Конечно», — подтвердил нашу догадку знаменитый писатель. Когда мы прощались, он тепло жал нам руку…» — «Общественный деятель Титькин и несравненная Кусина-Пусина — это удачно», — смеялся над моей

пародией Антон Павлович…

— Да, ловко, — заметил Бунин. — Впрочем, неудивительно, что ты хорошо знаешь этот литературный жанр. Тебе ведь в провинциальных газетках часто приходилось в нем практиковаться, — не удержался приятель от небольшой колкости. — Однако гости сидят, сидят, да и не уходят, — сказал он, вставая.

Прощаясь, Мария Давыдовна передала Куприну от имени матери приглашение бывать у них, когда Александра Аркадьевна поправится. И предложила обязательно зайти в редакцию журнала «Мир божий», к редактору и критику Ангелу Ивановичу Богдановичу:

— Он ждет вас…

— А как же насчет сватовства? — вспомнил Бунин. Куприн круто повернулся и направился к двери.

— Идем! — бросил он.

Когда они выходили из подъезда, стоявший там великолепный швейцар Давыдовых с глубоким презрением посмотрел на старенькое пальто Куприна.

Стояла обычная гнилая петербургская осень. Холодный город закрылся облаками, которые цеплялись за крыши и трубы, ложась на улицах мыльной сыростью. От тумана отсырело все — кожуха извозчиков, плащи городовых, даже лица прохожих казались влажно-серыми. Подняв воротник своего пальто, Куприн сухо кивнул Бунину и побрел в дешевые номера за Николаевским вокзалом. Злость точила его.

«Наивный провинциал приехал завоевывать Петербург! Как это ты мечтал?

В моем лице даровитый, широкий провинциальный юг победит анемичный, бестемпераментный, сухой столичный север! Это неизбежный закон борьбы двух характеров! Исход ее можно всегда предугадать! О, можно привести сколько угодно имен. Министры, писатели, художники, адвокаты. Берегись, дряблый, холодный, бледный, скучный Петербург!..»

— Берегись, — усмехнулся горько Куприн, стирая с лица водяную пыль, словно снимая пелену с глаз.

Грязные тротуары, серое, ослизлое небо, и на этом фоне грубые дворники со своими метлами, запуганные извозчики, женщины в уродливых калошах, с мокрыми подолами юбок, желчные, сердитые люди с вечным флюсом, кашлем и человеконенавистничеством… Петербург!

«Зачем я согласился пойти с этим дурацким визитом к Давыдовым? — корил себя Куприн. — Сама издательница не сочла нужным со мной познакомиться, а дочка, эта столичная

барышня, видимо, слишком много думает о себе… Очень она мне нужна… Пускай они с Буниным найдут кого-нибудь другого, кто бы позволил им над собой потешаться и разыгрывать свои комедии. А еще приглашала бывать… Покорнейше благодарю! Ноги моей там не будет! Но к Богдановичу я, конечно, на днях зайду…»

2

Редакция журнала «Мир божий» занимала несколько комнат в той же большой квартире Давыдовой. В ближайший вторник, приемный день Богдановича, Куприн появился в его кабинете.

За столом сидел человек, выглядевший гораздо старше своих сорока лет: исхудалое бледное лицо, прямой пробор мягких волос, светлая, заостренная книзу бородка. Сухой белой рукой он быстро чертил на полях наборной рукописи корректурные знаки.

Куприн назвал себя, и Богданович живо поднялся, ответив решительно, отрывистым тоном:

— Очень, очень рад! Прочитал ваш рассказ «В цирке». Понравился! Будем готовить для январской книжки…

Куприн знал о тяжелом прошлом Богдановича, суровых бедствиях его студенческой жизни в Киевском университете, где он вступил в партию народовольцев, об ужасах военного суда 80-х годов, крепости и ссылке, а затем о тяжелой, изматывающей душу работе в провинциальной прессе.

Богданович пригласил в кабинет постоянных сотрудников журнала — критиков В. П. Кранихфельда и М. П. Неведомского, историка Е. В. Тарле и познакомил с ними Куприна.

— А не привезли ли вы чего-нибудь новенького? — поинтересовался он. — Мы надеемся на ваше регулярное сотрудничество и потому решили установить вам гонорар сто пятьдесят рублей за лист, а не сто, как это было с вашим первым рассказом…

Приятная новость несколько омрачалась тем, что Куприн невольно вспомнил, кому он обязан своим дебютом в «Мире божьем». В мае 1897 года, по обыкновению без гроша в кармане, он гостил у одесских знакомых Карышевых, которые познакомили его с Буниным. Тот сразу же стал убеждать его написать что-нибудь для «Мира божьего». Куприн не верил в успех, жалостливо говорил: «Да меня не примут!» — «Я хорошо знаком с Давыдовой, ручаюсь, что примут». — «Очень благодарю, но что ж я напишу?

Ничего не могу придумать!» — «Вы знаете, например, солдат, напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах, томится, скучает, вспоминая деревню…» — «Но я же не знаю деревни!» — «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе…» Так он написал рассказ «Ночная смена», который затем приняли в «Мир божий»…

— Я мечтал бы постоянно печататься у вас, — смущенно сказал Богдановичу Куприн. — Но пока что, кроме нескольких сюжетов, нет ничего.

— Значит, рассказы все-таки есть, только в голове? — вмешался Кранихфельд, с большими залысинами и длинным бритым лицом.

— Я провел эту осень в Зарайском уезде — обмерил там около шестисот десятин крестьянской земли с помощью теодолита… — начал рассказывать Куприн. — Всего около ста урочищ с самыми удивительными названиями, от которых веет татарщиной и даже половецкой древностью…

Он не заметил, как в комнату вошла полная блеклая дама — редактор журнала Давыдова.

— И вот вам сюжет, — продолжал Куприн: — Студент и землемер ночуют в сторожке лесника, где вся семья больна малярией… Впечатление, как будто эти люди одержимы духами, в которых сами с ужасом верят. Баба поет: «И все люди спят, и все звери спят…» И от этого напева веет древним ужасом пещерных людей перед таинственной и грозной природой. Среди ночи лесника вызывают стуком в окно на пожар в лесную дачу. Студент, чуткий и слабонервный человек, никак не может отделаться от мучительного и суеверного страха за лесника, который один среди этой ночи идет теперь в тумане по лесу…

— Настроение передано превосходно. — Александра Аркадьевна подошла к Куприну и подала ему рыхлую, в перстнях руку. — Давно хотела познакомиться с вами и очень сожалею, что не могла принять вас в воскресенье… А теперь прошу вместе с сотрудниками журнала остаться у меня отобедать…

Приглашение застигло Куприна врасплох. Он растерялся и от застенчивости не сумел отказаться.

Поднимаясь на второй этаж вслед за Богдановичем, Куприн снова ругал себя: «Отчего я так тушуюсь перед откормленными мордатыми петербургскими швейцарами, перед секретарями в судах, перед бонтонными литературными дамами?.. Ведь есть же во мне нечто врожденное здоровое, что позволяет видеть насквозь и кружковых ораторов, и старых волосатых румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, и внушительных и елейных соборных протопопов, и жандармских полковников, и

радикальных женщин-врачей, твердящих впопыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жесткой и плоской, как мраморная доска, и особенно всех этих благополучных представителей «света», который я ненавидел и буду ненавидеть…»

Дочь Давыдовой, встретившая их в уютной столовой с большим буфетом черного дерева, изображающим кабанью охоту, показалась ему еще краше, чем при знакомстве. «Зачем она так хороша? — подумал Куприн. — Была бы попроще, из обычной семьи, право, решился бы и всерьез начал ухаживать за ней. А то…»

Его раздражало у Давыдовых все: безукоризненно накрахмаленные салфетки и скатерть, тяжелое столовое серебро, переливчато мерцающий хрусталь, дорогие вина, серая глянцевитая икра в вазочке, маринады, балыки и даже бойкая тетушка Марии — Вера Дмитриевна Бочечкарева, руководившая прислугой. Двум горничным помогала подавать на стол хрупкая девушка, почти девочка — Лиза Гейнрих, младшая сестра покойной жены Мамина-Сибиряка Марии Морицовны.

Равнодушно скользнув взглядом по ее точеному личику, по белой наколке (Лиза, несколько лет прожившая в семье Давыдовых, работала теперь в Георгиевской общине сестер милосердия и лишь изредка навещала Александру Аркадьевну), Куприн хмуро сказал себе: «Сейчас заведут умные разговоры, затрещит молодая хозяйка, а там и опять начнутся подковырки…»

— Надолго к нам в Питер? — поинтересовалась Александра Аркадьевна. — Верно, нет. Ведь вы, молодые, не любите сидеть на месте.

— Увы! — Куприн непритворно вздохнул. — Кажется, надолго и всерьез. Меня пригласили работать в редакции «Журнала для всех»…

— Виктор Сергеевич? Миролюбов? — оживилась Давыдова. — Да ведь он же мой крестник. Вы не знали?

Куприн пожал сильными плечами.

— Я помню его еще студентом Петербургской консерватории, когда мой покойный муж там директорствовал. Он тогда носил фамилию Миров. Это был прекрасный оперный бас, мощный и густой. И вот представьте: когда его карьера бурно развивалась и ему уже предложили перейти из Московской императорской оперы в Мариинку, у Мирова открылся процесс легких! Пришлось оставить сцену. Но что делать дальше? Я знала, что некий отставной генерал продает право на издание дешевого ежемесячного журнала для народа. Посоветовала Миролюбову приобрести журнал, оказала материальное содействие… И вот

смотрите! Журнал процветает, читается широко…

— Еще бы! — подала голос Мария. — Одно имя Горького сколько привлекает подписчиков!..

Куприн быстро и зорко посмотрел на нее.

«А ведь совсем не задавала и не ломака!

Отчего я так несправедлив к ней… Скромна, очаровательна, умна…» — подумал он, холодея при мысли, что, кажется, влюблен.

— Горький — это человек полнокровной жизни, драчун и страстный жизнелюбивый мечтатель, — твердо сказал Куприн. — Ярчайший самородок. Сколько в нем смелости, свежести! И какое знание жизни, полученное не за чужой счет, а на собственной шкуре…

— Александр Иванович! — обратился к нему Кранихфельд. — Я слежу за вами уже давно и все больше удивляюсь тому, как знаете жизнь вы… Ваши произведения необыкновенно разнообразны. «Молох» — большой завод, «Олеся» — полесские крестьяне, «Alléz!» — цирк, «В недрах земли» — шахтеры, «На переломе» — кадетский корпус. А сколько написано об армии! «Ночная смена», «Дознание», «Прапорщик армейский»…

«Ну, Саша, настал черед показать им, кто ты такой», — сказал себе Куприн.

— Вы знаете, Владимир Павлович, — с нарочитой скромностью начал он, — хлебнул я в жизни действительно немало разного. Но как писатель и сотой доли не исчерпал еще того, что повидал. Моя жизнь? Извольте. Сперва кадетский корпус, Александровское юнкерское училище, провинциальное офицерство. Однообразно. А вот после отставки чем только я не занимался! Был землемером. В Полесье выступал предсказателем… Артистом в городе Сумы — изображал больше лакеев и рабов. А потом с балаклавскими рыбаками связался, славные были ребята! Кирпичи на козе таскал, арбузы в Киеве грузил. Был я псаломщиком, махорку сажал, в Москве продавал замечательное изобретение… — Он, смеясь узкими глазами, покосился на Александру Аркадьевну и решительно отрубил: — «Пудерклозет инженера Тимаховича». Преподавал в училище для слепых… А когда меня оттуда выгнали, пошел на рельсовый завод…

— Прекрасно! Браво! — Мария захлопала в ладоши. — Вот чего не хватает нашим петербургским писателям. Они познают жизнь только из окошка своей дачи на Стрельне.

— Муся! — Александра Аркадьевна долгим осуждающим взглядом остановила порыв дочери. — Не кажется ли тебе, что ты ведешь себя слишком экстравагантно?

«Муся… Куся… Фуся… Зачем она называет ее так? — подумал Куприн. — Ведь это все какие-то кошачьи или собачьи клички, которые режут ухо! Куда лучше наше русское: Мария, Маруся, Маша…» Но прежнее раздражение прошло.

Когда Куприн прощался, Александра Аркадьевна благосклонно сказала ему:

— Я больна и приемов у нас пока не бывает. Но если вам не будет скучно провести вечер в нашем семейном кругу, заходите к нам запросто.

С того дня он зачастил к Давыдовым.

3

Одним из первых петербургских визитов Куприна было посещение журнала «Русское богатство», где царствовал Михайловский.

Публицист и критик, один из вождей и теоретиков русского народничества, Николай Константинович Михайловский был, что называется, законодателем мод у радикальной и либеральной интеллигенции. Человек крайне серьезный, он даже слегка страдал от сознания непогрешимости собственного авторитета, требуя от художественной литературы прежде всего полезности, служения обществу. Слово Михайловского, его печатный отзыв звучали приговором. Одной рецензии, подписанной им, было порой достаточно, чтобы уничтожить или вознести писателя. Правда, существовали литературные величины, которых не могло сломить даже его перо ригориста: Л. Толстой, Достоевский, Чехов…

Михайловский поддержал Куприна еще в 1894 году, при его первой публикации на страницах «Русского богатства» рассказа «Из отдаленного прошлого» (названного позднее «Дознание»), а затем сделал немало для того, чтобы в декабрьском номере журнала за 1896 год появилась повесть «Молох», которая привлекла к Куприну всероссийское внимание.

Шестидесятилетний книжник, живший только печатным словом, седовласый и седобородый, в золотом пенсне, сквозь которое смотрели умные, острые глаза, Михайловский встретил Куприна сдержанным упреком:

— Как же это вы, голубчик, свой новый рассказ отдали не нам, а в «Мир божий»? Нехорошо, право, нехорошо!

— Я полагал, — чистосердечно признался Куприн, несколько

робея перед знаменитостью, — что тема цирка мелка и вас мало заинтересует… Зато следующий же рассказ обязательно передам в «Русское богатство».

Он заметил на столе груду корректур и поторопился сократить визит, но Михайловский предложил:

— Вы должны быть ближе нашей редакции… Оставайтесь-ка на наш традиционный четверг… Это не деловое совещание, а товарищеский обмен мнениями. Будет интересно, если и вы поделитесь с нами своими впечатлениями. Расскажете о провинциальной печати или еще о чем-то…

В большой комнате уже собрались сотрудники — П. Ф. Якубович-Мельшин, популярный поэт, революционер-народник, проведший более десяти лет на каторге в Акатуе; бытописатель нищей, угнетенной деревни С. П. Подьячев; тихий, тщедушный В. В. Водовозов с непосильно могучей для него бородой; В. В. Муйжель — молодой человек унылого народнического вида, печатавший в журнале длинные повести о крестьянстве, и тридцатилетний учитель с Дона, автор очерков из казачьего быта Ф. Д. Крюков.

Когда Михайловский с Куприным вошли, патетически ораторствовал публицист Мякотин. Он рассказывал о какой-то студенческой вечеринке и острил над марксистски настроенной молодежью, которая увлекалась трудами профессора экономии М. И. Туган-Барановского, доказывавшего неизбежность капитализма в России.

— Представьте, — говорил Мякотин, — как стадо *баранов*, слушали *Баран*-Тугановского…

Михайловский благосклонно улыбнулся расхожей остроте и, покручивая вокруг пальца золотое пенсне, сел на почетное место. Мякотин заметил Куприна и обратился к нему:

— Вы народник или успели у себя в провинции заразиться марксизмом?

«Решил меня проэкзаменовать как новичка?» — Куприн молчал, глядя на Мякотина. Тот подошел к нему и сказал еще строже:

— У вас там тоже ведь завелись доморощенные марксисты.

— Ни к народникам, ни к марксистам не могу себя причислить, — ответил наконец Куприн. — В их разногласиях многое мне непонятно. А с марксистским учением я слишком поверхностно знаком, чтобы о нем судить.

— Это неважно, — небрежно заметил Мякотин. — Учиться надо только у Михайловского. В его статьях так ясно изложена и опровергнута марксистская теория, что каждый здравомыслящий человек не может не согласиться с ним. И как беллетрист вы

должны следовать только советам Николая Константиновича. Чехов, к сожалению, этого не делает. Кстати, дома я руковожу кружком студентов, занимающихся вопросами народничества и марксизма. Приходите ко мне послушать. Это будет вам полезно. Непременно приходите… — И для убедительности Мякотин тыкал в грудь Куприну длинным пальцем.

«Ишь, какой строгий, — подумал Куприн. — Завел себе доктрину и молится ей. И еще других хочет втащить силком в свое учение. Да дай тебе волю, ты таких дров наломаешь! Всех нас под одну гребенку причешешь!..»

Но ответил уклончиво, чтобы отвязаться:

— За приглашение спасибо. Постараюсь зайти на днях…

…Своими петербургскими впечатлениями, огорчениями и радостями Куприн делился с новым другом — Марией Давыдовой.

— Может, многие и думают, что я способен, — горячо говорил он, — с чужого голоса повторять то, чего не знаю, но для этого нужна особая способность, которой у меня нет…

Он все чаще бывал в доме Давыдовых, хотя Александра Аркадьевна не придавала особого значения его визитам. Она не всегда выходила вечером в столовую, но за хозяйку оставалась тетушка Марии Вера Дмитриевна Бочечкарева, вдова артиста Малого театра М. А. Решимова, которая разливала чай. Поэтому отсутствие Александры Аркадьевны не нарушало общепринятых правил.

— Понимаю вас, Александр Иванович, — отвечала ему Мария. — Мне и самой не по душе узость этих людей… Словно истина ими уже познана, и они озабочены только тем, чтобы ее познали остальные. Несогласных же они спокойно предают анафеме… — Она помолчала и добавила с улыбкой: — Кстати, Михаил Иванович Туган-Барановский — мой родственник, муж сестры Лиды…

В короткий срок все в доме незаметно привыкли к Куприну. Он стал своим человеком. Давыдовой Куприн все больше нравился: его непосредственность, жизнерадостность отвлекали ее от постоянных тяжелых дум о своей болезни и о смерти старшей дочери. Она охотно слушала купринские живописные рассказы о военной службе, о жизненных приключениях, о знакомых писателях.

А он был уже влюблен, влюблен в ее младшую дочь. В сочельник, накануне нового, 1902 года, улучив возможность побыть минутку с Марией наедине, Александр Иванович сказал:

— Вы, конечно, давно уже почувствовали, как я отношусь к

вам… — Он замялся, его открытое, чистое и доброе лицо покраснело. — Но ведь я плебей, сирота, провел детские годы с матерью во Вдовьем доме, в Москве, на Кудринской площади… А вы…

— А я? — Мария улыбнулась доброжелательно и чуть грустно.

— Вы светская девушка, привыкшая к столичному обществу, дорожащая своим кругом, титулованными родственниками и петербургскими знаменитостями…

— Продолжайте, Александр Иванович! — поощрила его Мария.

— Я мечтал бы, чтобы вы связали со мной свою судьбу… Но кто я? Бывший офицер с ограниченным образованием… Беллетрист не без дарования, но до сих пор не написавший ничего выдающегося…

— Вы мне тоже не безразличны, — тихо сказала Мария. — Я верю в ваш талант, в ваше будущее… И откровенность за откровенность. Я очень люблю маму… — Она запнулась. — Александру Аркадьевну… Но ведь я даже не знаю, кто мои родители… Меня подкинули в младенчестве. А Александра Аркадьевна меня удочерила, окрестила и воспитала…

— Маша! — воскликнул Куприн, взял ее маленькую ручку в свою, грубую и сильную, и прижал к губам; затем не сразу, прикрыв веками глаза, тихо сказал: — Такой вы мне еще дороже!..

Утром на другой день она сообщила матери, что стала невестой Куприна.

4

— Что ж это такое? Знакома с ним без году неделя, и вдруг невеста. — Александра Аркадьевна была изумлена и даже шокирована этой неожиданной новостью. — Ни узнать как следует человека не успела, ни спросить у матери совета… — Голос ее прервался. — Что же, раз советы мои тебе не нужны, делай как знаешь.

Она махнула рукой и заплакала.

В последнее время здоровье Александры Аркадьевны резко изменилось к худшему. Она почти не выходила из своей комнаты, целые дни проводила в постели и начала говорить о завещании и своей близкой смерти. Вскоре она пригласила к себе дочь и Куприна.

— Я говорила вам, Александр Иванович, — обратилась к нему Александра Аркадьевна, — что не следует торопиться со свадьбой, прежде чем вы и Муся хорошо не узнаете друг друга. Но теперь я чувствую, что мне осталось недолго жить. После моей смерти ей будет тяжело оставаться с больным братом на руках и теми обязанностями, какие я возлагаю на нее моим завещанием…

— К чему думать и говорить о таких тяжелых вещах, Александра Аркадьевна, — ответил Куприн. — Каждый из нас не может быть уверен, что он увидит завтрашний день. Бывают роковые случайности, когда человек идет по улице в самом радужном настроении, а с крыши пятиэтажного дома на его голову падает кирпич. Или он идет, осторожно оглядываясь, и неожиданно из-за угла выносится пьяный лихач и под копытами лошади превращает его в бесформенную массу. Можно ли задумываться над такими случайностями и мучить ими себя?..

Куприн говорил так естественно, непринужденно, что Давыдова заметно успокоилась.

— Правда, сердечные припадки у меня давно и только за последние два года участились, — сказала она. — Но все-таки каждый раз после приступа я думаю о своей близкой смерти.

— По-моему, Александра Аркадьевна, — мягко продолжал Куприн, — со свадьбой не следует спешить только потому, что сейчас у вас нервное, подавленное настроение, которое скоро пройдет. Но я убежден, что надолго откладывать эту церемонию бесцельно. Ведь сколько бы времени мы с Машей ни были женихом и невестой, хотя бы и три года, как это водится у честных немецких бюргеров — за это время они копят деньги на серебряный кофейный сервиз, — мы все равно друг друга хорошо не узнали бы. В большинстве случаев взаимное разочарование наступает редко до брака и гораздо чаще после него…

— Пожалуй, вы правы, — помолчав, сказала Давыдова. Она улыбнулась. — Тетя Вера ведь только на днях заказала приданое. Но все равно венчайтесь до великого поста…

Свадьба была назначена на февраль. Куприн, безмерно счастливый, сообщил о готовящейся женитьбе своей матери Любови Алексеевне, по-прежнему жившей в Москве, во Вдовьем доме. Она ответила, что тоже счастлива, что он наконец женится и покончит со своей бродячей, скитальческой жизнью, что у него будет своя семья, свое гнездо. В конверте было вложено отдельное письмо Марии.

Л. А. Куприна — М. К. Давыдовой.

«Перед свадьбой я пришлю Саше и Вам мое родительское благословение — икону святого Александра Невского, по имени

которого назван Саша. Когда я вышла замуж, у меня родились две девочки. Но моему мужу и мне хотелось иметь сына. И вот тут нас стало преследовать несчастье. Один за другим рождались мальчики и вскоре умирали. Только один дожил до двух лет, и тоже умер. Когда я почувствовала, что вновь стану матерью, мне советовали обратиться к одному старцу, слывшему своим благочестием и мудростью.

Старец помолился со мной и затем спросил, когда я разрешусь от бремени. Я ответила — в августе. «Тогда ты назовешь сына Александром. Приготовь хорошую дубовую досточку, и, когда родится младенец, пускай художник изобразит на ней точно по мерке новорожденного образ святого Александра Невского. Потом ты освятишь образ и повесишь над изголовьем ребенка. И святой Александр Невский сохранит его тебе».

Этот образ будет моим родительским благословением. И когда господь даст, что и вы будете ждать младенца и ребенок родится мужского пола, то вы должны поступить так же, как поступила я».

Как бывало всегда, старшее поколение отличалось большей религиозностью, чем молодые. Не только Любовь Алексеевна, но и Александра Аркадьевна Давыдова, женщина просвещенная, хотела, чтобы новобрачные соблюли все полагающиеся обряды. Она сказала Куприну о своем желании, чтобы их венчал непременно модный в то время в Петербурге священник Григорий Петров.

Время до свадьбы проходило стремительно, наполненное утомительной суетой. Днем Куприн трудился в «Журнале для всех», а вечерами ни о чем серьезном поговорить было нельзя — приходили родственники Давыдовых, друзья семьи, сотрудники «Мира божьего».

— Какое глупое положение быть женихом, — ворчал Куприн. — Все ваши знакомые приходят и с головы до ног оглядывают меня критическим взглядом. Женщины дают советы, мужчины острят. И все время чувствуешь себя так неловко, как это бывает во сне, когда видишь, что пришел в гости, а у тебя костюм не в порядке. Ваши подруги смеются, кокетничают и при мне спрашивают: «Ну как ты себя чувствуешь, нравится тебе быть невестой?» Я кажусь себе дураком и нарочно веду себя так, чтобы поддержать это мнение, а сам думаю: «Нет, Саша совсем не дурак». Вот как-нибудь я вам это докажу. А сейчас мне не хочется…

И добавил, тихо обняв Марию за плечи:

— Слава богу, что теперь недолго осталось тянуть эту

дурацкую петрушку.

Как-то вечером к Давыдовым заехал Михайловский — справиться о здоровье Александры Аркадьевны.

— Я на минутку, — объяснил он в передней, не снимая пальто, вышедшей встретить его Марии. — Только хочу узнать, как чувствует себя ваша мама… Страшно занят — выходит книга журнала. Был в типографии и тороплюсь домой просмотреть последние листы верстки.

Она все-таки убедила его пройти в столовую и выпить стакан чаю.

— Вы что же не зовете меня в посаженые отцы? — шутливо-строгим тоном обратился он к Куприну, блеснув золотым пенсне. — Слышал я, что скоро уже свадьба, а ни вы, ни Муся мне ни слова. Вы, кажется, забыли, Александр Иванович, что я вам крестный отец. Забывать этого не следует…

Прощаясь, Михайловский сказал:

— На днях получил письмо от Короленко. Он спрашивает, правда ли, что Муся выходит замуж за Куприна. Теперь, пишет он, «Русское богатство» его, конечно, потеряет. Я ему еще не ответил на это, — и Михайловский вопросительно посмотрел на Куприна.

— Женитьба на Марии Карловне к моему сотрудничеству в «Русском богатстве» не имеет ни малейшего отношения, — ответил Куприн.

— Увидим, — улыбнулся Михайловский.

Куприн незаметно для себя уже участвовал в работе «Мира божьего» (хотя по-прежнему главное свое внимание уделял «Журналу для всех»). И здесь он сразу столкнулся с властным характером Александры Аркадьевны, которая и в тяжкой болезни не желала поступаться своими правилами и литературными вкусами.

Однажды, зайдя к ней в комнату, он застал там Богдановича.

— Вот мы с Александрой Аркадьевной говорили о том, какая скучная беллетристика во всех толстых журналах, — обратился Ангел Иванович к Куприну. — Нет ничего выдающегося, останавливающего внимание. И, главное, везде одни и те же имена…

— Если хотите, — предложил Куприн, — я могу попросить Антона Павловича отдать в «Мир божий» пьесу «Вишневый сад»… Он ее заканчивает… Я не обращаюсь к нему с этой просьбой от имени «Журнала для всех» — его небольшой объем не позволяет поместить пьесу целиком. Делить же ее, конечно, нельзя. Да и гонорар Чехову для такого небольшого журнала, как миролюбовский, был бы слишком тяжел.

— Гонорар? — переспросила Александра Аркадьевна. — А

какой же гонорар?

— Тысяча рублей за лист.

— Что? Тысяча за лист? Да это же неслыханно! — воскликнула Александра Аркадьевна. — И это Чехову, значение которого почему-то стали так раздувать последние два-три года. Чуть ли не произвели в классики. Да знаете ли вы, Александр Иванович, что «Вестник Европы» — самый богатый из журналов — всегда платил Глебу Ивановичу Успенскому, не чета вашему Чехову, сто пятьдесят рублей за лист. Глеб Иванович был очень скромный человек и, конечно, сам никогда не поднял бы разговора о размере гонорара. Поэтому Михайловский обратился к Стасюлевичу с просьбой ввиду тяжелого материального положения Успенского повысить его гонорар. И Стасюлевич отказал. Вот как обстоят дела с гонорарами в толстых журналах, — язвительно добавила она. — Что вы на это скажете?

— Возмутительная эксплуатация писательского труда! — произнес Куприн.

Александра Аркадьевна изменилась в лице.

— Не будем спорить о значении Чехова. О всех больших писателях существует различное мнение, — примирительно сказал Богданович. — И конечно, для нашего журнала было бы очень желательно иметь пьесу Чехова. Но нам это материально непосильно так же, как и Миролюбову. Весь вопрос, Александр Иванович, сводится только к этому…

Давыдова сослалась на то, что хочет отдохнуть, и сухо простилась с Куприным. Уходя, он ругал себя за несдержанность, за свою азиатскую вспыльчивость: Александра Аркадьевна уже не поднималась с постели…

3 февраля 1902 года настал день свадьбы.

В столовой собрались только те, кто должен был провожать Марию в церковь: жена Мамина-Сибиряка (бывшая Машина гувернантка) посаженая мать — Ольга Францевна, посаженый отец — Михайловский и четыре шафера. Куприну полагалось встретиться с невестой только в церкви, но он пренебрег условностями и тоже ожидал Марию в столовой.

При ее появлении Ольга Францевна спешно закрыла большую белую коробку.

— Что с вами, тетя Оля? — целуя ее, спросила Мария. — У вас слезы на глазах…

Ответил Куприн:

— Ольга Францевна не знала, что тетя Вера уже позаботилась о подвенечных цветах, и привезла еще одну коробку… Что ж, Маша, быть тебе два раза замужем. Такая примета. А в приметы я верю…

5

Куприн снял небольшую комнатку недалеко от квартиры Давидовой, чтобы Мария всегда была близко от своего родного дома. Хозяин, одинокий старик лет шестидесяти, днем столярничал в какой-то мастерской, а в свободное время работал на себя. Он был краснодеревщик, любил свое дело и дома ремонтировал старинную мелкую мебель, делал на заказ шкатулки, рамки, киоты. Проходить в комнату надо было через его помещение.

Старик приветливо встретил молодоженов и тотчас предложил поставить самоварчик.

— Небось притомились. Свадьба — дело нелегкое… Покушайте чайку, — добродушно говорил он.

— А правда, Машенька, — подхватил Куприн, — стыдно признаться, но я зверски голоден. А ты как?

Свадебный обед был омрачен нелепой ссорой: крайне сдержанный, всегда корректный Богданович совершенно напился и набросился с бранью на издательницу журнала «Юный читатель» Малкину, которая получала крупную материальную поддержку от Давыдовой. «Скоро прекратятся эти пособия! У меня этого не будет!» — кричал Богданович, имея в виду тяжелое состояние Давыдовой, которая лежала за две комнаты от столовой…

— Из-за этого скандала я за обедом есть не могла, — призналась Мария.

— Сейчас сбегаю в магазин на углу и принесу что-нибудь поесть!

Куприн скоро вернулся с хлебом, сыром в красной шкурке, колбасой и бутылкой крымского вина. Но чая у них, конечно, не было, и пришлось брать на заварку у хозяина. Куприн взял гитару и запел:

Нет ни сахару, ни ча-аю,
Нет ни пива, ни вина,
Вот теперь я понимаю,
Что я прапора жена…

— Правда, Машенька, хороший романс? — еще более помолодев от улыбки, сказал он. — Тебе нравится? Жалко, я не

догадался вставить его в мой старый рассказ «Кэт». Он был бы там как раз у места…

— Саша, я начинаю побаиваться твоих офицерских привычек, — полушутливо ответила Мария, отбирая бутылку. — Я ведь хочу видеть тебя первым писателем России… А твоя дружба с вином этому может помешать.

— Машенька! — Куприн с шутливым трагизмом воздел обе руки. — Это в честь такого-то дня да не выпить? Невозможно! Но обещаю, обещаю, — добавил он своей армейской скороговоркой, — что буду себя в своих дурных привычках сдерживать… Во имя двух самых прекрасных дам — тебя и литературы…

Утрами после чая Куприн садился читать и править рукописи для «Журнала для всех», а Мария уходила к Александре Аркадьевне и проводила там весь день. К шести часам, когда Куприн возвращался из редакции, они обедали у тещи, а после обеда приходили к себе в каморку, и вечер принадлежал уже только им.

Здесь, в квартирке столяра, Куприн делился с женой творческими замыслами, рассказывал о себе, о прошлых скитаниях и о том, что его близко затрагивало и волновало.

Как только Куприны возвращались, у них в комнате появлялась Белочка — маленькая собачка неизвестной породы, с гладкой белой шерстью и черными глазами. Она поднималась на задние лапки, и тыкалась мордочкой в колено Марии, и, тихонько повизгивая, просилась на руки.

— Приблудная она у меня, — объяснял хозяин. — Ишь ты, хитрюга, куда забралась. Ступай домой!

Но Белочка только повиливала хвостом и не сходила с колен.

— Люблю собак и умею с ними обращаться, — сказал Куприн, поглаживая Белочку. Он повернул к себе ее пушистую умную мордочку.

— Ты когда-нибудь обращала внимание, Машенька, как смеются собаки? Одни, словно благовоспитанные люди, только вежливо улыбаются, слегка растягивая губы. Но большие добродушные умные псы смеются откровенно — во весь рот, видны зубы, десны, влажный розовый язык…

Куприн еще раз погладил Белочку, та благодарно зевнула, подтверждая его слова своей собачьей улыбкой.

— Большие добрые собаки часто бывают лучше людей, — убежденно сказал он. — Как весело, умело и осторожно они играют с детьми! Собаки чувствуют, когда человек любит их и безбоязненно подходит к ним. И не было еще примера, чтобы я, если собака мне нравилась, с ней не подружился. За всю жизнь неудача постигла меня только с одной собакой. Хочешь, об этом

редком случае я расскажу тебе?

Старик столяр унес Белочку. Мария уютнее устроилась на диванчике, служившем им и стульями и постелью.

— Это было в Киеве, — начал Куприн. — Я возвращался домой поздно вечером. На площадке лестницы лежала большая собака. Едва я открыл дверь, она быстро прошмыгнула в коридор, а потом и в мою комнату. Я зажег свечу и увидел, что это был огромный серый дог. Догов я вообще люблю меньше других собак. Они глупы, злы, непривязчивы. И вот не успел я как следует осмотреться, как дог вспрыгнул на мою кровать и улегся прямо на подушке. В комнате из мягкой мебели было только старое кресло с изодранной обивкой, из которой вылезало мочало. Я отодвинул его в угол и словами и жестами стал приглашать дога перейти с кровати на кресло. Но лишь только я приближался к собаке, она издавала зловещее утробное рычание. Глаза ее горели фосфорическим огнем. Ты знаешь, Машенька, мне казалось, что в образе дога в мою комнату проник злой дух. Мне стало жутко. Я предлагал собаке остаток колбасы, хлеба, налил в тарелку воды — все было напрасно. Она не двигалась с места. Пришлось расстелить на полу мое единственное пальто — под голову подложить было нечего, — и так провести всю ночь. Я задолжал хозяйке, и она мою комнату не топила, накрыться мне было нечем, и к утру я страшно промерз. А утром, как только я открыл дверь, дог выбежал в коридор, оттуда на лестницу и скрылся. Больше я его не видел.

Куприн помолчал, пожал плечами.

— Это была единственная собака, которой я боялся и о которой вспоминаю неприязненно. Наверно, она сразу почуяла, что я ее испугался, и в этом-то заключалась причина моей неудачи. Собака никогда не бросится на человека, который ее не боится, и всегда кинется на труса, который будет перед ней заискивать. Я обязательно напишу что-нибудь о собаках, напишу с любовью, на какую только способен. О какой-нибудь из самых умных, о цирковом актере и акробате. Например, о пуделе. Как хорошо, Машенька: странствующие артисты и с ними их друг и кормилец, пудель. И какие-нибудь сытые господа, какие-нибудь перекормленные дачники, поглядев на представление добрых бродяг, предлагают продать им пуделя, а получив отказ, крадут его. Но пудель должен перехитрить их всех и вернуться к своим.

После венца Куприны никуда не уезжали и, по давнишнему обычаю, должны были сделать визиты всем родственникам семьи Давыдовых и старым друзьям, присутствовавшим на свадьбе. Следовало посетить и тех, от кого были получены поздравления. Составился длинный список знакомых, у которых предстояло побывать. Мария Карловна опасалась, что Куприн может не согласиться выполнить эту скучную обязанность. Но сверх ожидания он согласился, и очень охотно:

— Машенька, да это же великолепно! Знакомиться с новыми людьми, наблюдать новые отношения, догадываться, чем каждый из этих людей дышит, — ведь это уже страшно интересно. Непременно поедем, не откладывая, с визитами.

После нескольких скучных, но зато коротких визитов старым приятельницам Александры Аркадьевны Куприны отправились на обед к крупному чиновнику Государственной канцелярии Дмитрию Николаевичу Любимову. Его жена Людмила Ивановна, сестра Михаила Ивановича Туган-Барановского, была подругой детства Марии Карловны.

К семи часам в гостиной собрались все приглашенные к обеду: брат Людмилы Ивановны, напыщенный и самодовольный Николай Туган-Барановский, втайне завидовавший карьере своего зятя; сестра Елена Ивановна Нитте с мужем, очень богатым и глупым камер-юнкером; муж сестры Любимова, ярый монархист и курский предводитель дворянства граф Дорер. Ожидали только старика отца Людмилы Ивана Яковлевича Мирзу-Туган-Барановского. Дочь волновалась, не случилось ли с ним припадка астмы. Но вскоре Иван Яковлевич появился в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов.

Это был тучный серебряный старик, который в левой руке держал слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым наконечником. У него было большое грубое красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть.

— Интересный и умный старик, — шепнул Куприн жене.

— Он был в молодости гусаром, — тихо ответила Мария, — служил в Гродненском попку. Проиграл в карты два имения, слыл отчаянным кутилой и бретером и на своей жене женился увозом. Ее родители, литовские помещики, и слышать не хотели о браке дочери с лихим гусаром.

По заблестевшим глазам мужа Мария Карловна поняла, что Куприн во власти писательства.

— Необыкновенно живописная фигура! — любуясь стариком, сказал он. — В нем совмещены те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах. Чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и почти святым…

Общий разговор за столом вначале не вязался, так как Куприн видел большинство собравшихся впервые. Заметив это, хозяин взял инициативу в свои руки и до конца обеда не упускал ее. У него была необыкновенная способность рассказывать: Дмитрий Николаевич брал в основу истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом, что слушатели надрывались от смеха.

Воспользовавшись сообщением Николая Ивановича Туган-Барановского о каком-то великосветском разводе, Любимов начал рассказывать, каких трудов стоило ему добиться развода Людмилы Ивановны с ее первым мужем.

— Накануне судоговорения, — добродушным, но в то же время деловым тоном сообщал он, обращаясь главным образом к Куприну, — лжесвидетели — без них нельзя было обойтись — накинули каждый по нескольку тысяч рублей на свой гонорар. А их было четверо. Они заявили, что слишком многим рискуют и что не приняты во внимание их затраты, когда они выслеживали бывшего мужа Милочки, кутившего с дамами в ресторанах. За время этого наблюдения им пришлось на десять тысяч выпить одного шампанского в различных ресторанах, и они предъявили мне такое количество счетов на вино, что его с успехом хватило бы напоить целый полк…

— Ну только не наш, Гродненский гусарский! — с одышкой сказал старик Мирза-Туган-Барановский, отставив слуховой рожок.

— Свидетели грозили, — продолжал Любимов, — что, если их требования не будут удовлетворены, они заявят о добродетельной и безукоризненной жизни мужа и о том, что их хотели подкупить и склонить на лжесвидетельство…

Затем он принялся острить над всеми присутствующими. Так как Александра Аркадьевна была тяжко больна, Марии приходилось часто бывать у нее. Любимов советовал Куприну с самого начала не пренебрегать своими юридическими правами и требовать через полицию вселения в квартиру Давыдовых мужа.

— После обеда, — заявил он, — покажу вам, Александр Иванович, Милочкин альбом. Как только мы узнали, что

Александра Аркадьевна требует, чтобы ваша жена жила дома, я сразу в альбоме изобразил, как городовые ведут Марию Карловну по улице в квартиру мужа. К этому случаю будут и стихи, пока они еще зреют в голове поэта.

Не оставил Любимов в покое и Николая Туган-Барановского, который был крайне ущемлен тем, что семья утратила титул и герб. Именно о розысках в департаменте герольдии и начал расспрашивать Николая Дмитрий Николаевич, приняв крайне серьезный и заинтересованный вид. Неожиданно, перебивая Любимова, в разговор вмешался граф Дорер. Бестактный и глупый, он тоже решил поговорить на эту щекотливую тему.

— Скажите, Иван Яковлевич, — обратился он к старику Туган-Барановскому, — при каких обстоятельствах и в чье царствование была утеряна грамота, утверждавшая ваши права на титул, и не припомните ли вы, каков был герб?

— Я мало интересовался этим даже в молодые годы, — недовольно ответил старик, которому Дорер помешал заняться холодной телятиной.

— Но это же так просто, Коля, — не оставлял в покое Любимов своего шурина. — Стоит только со времени Иоанна Грозного проследить по мужской и женской линии всех потомков царицы Марии Темрюковны и восстановить родство с ней князей Мирза-Туган-Барановских… Только и всего!

Разговор этот крайне раздражал Николая Туган-Барановского. Он делал вид, что не слушает Любимова, и усиленно ухаживал за Ольгой Николаевной Дорер.

Кофе подали в гостиную.

Любимов подвел Куприна к стоявшему посреди комнаты круглому столу, на котором лежали большие фолианты в массивных кожаных переплетах с серебряными углами и застежками.

— Это вам как писателю будет особенно интересно, — сказал он. — Здесь рукописи Толстого и Достоевского.

Фолианты эти перешли к Любимову от его покойного отца, профессора Московского университета Н. А. Любимова, друга Каткова.

— Это лабораторная работа гения, которую надо изучать, — сказал Куприн, листая рукопись «Казаков». — А поверхностный взгляд улавливает только почерк.

— А теперь пусть Милочка покажет вам свой альбом, — предложил Любимов.

Этот альбом в темно-зеленом коленкоровом переплете с красной розой, вытесненной на верхней крышке, был у Людмилы Ивановны еще с гимназических времен. Тогда в нем писали «на

память» ее подруги.

— Пропустим первые трогательные излияния прекрасных юных дев, — балагурил Любимов, — и перейдем к более интересным поэтическим сюжетам. Когда на пути нашей Милочки встретился таинственный незнакомец, он решил, оставаясь неизвестным, завоевать ее внимание своим поэтическим дарованием. В течение долгого времени он еженедельно посвящал ей цветы своей музы. Вот посмотрите, Александр Иванович, первое письмо. На мой взгляд, оно главным образом касается Милиной мамы — Анны Станиславовны:

И вот волшебная минута —
На свет является дитя,
Моя божественная Лима,
Это она, это она…

Ввиду выдающегося интереса, который представляет это стихотворение, я решил его иллюстрировать. Как видите, после отрывка из письма следует рисунок: кровать с лежащей на ней под покрывалом фигурой…

Куприн, сузив глаза, склонился над альбомом. Любимов продолжал:

— На следующем листке опять стихотворение:

Ее Людмилой нарекли,
Но для меня осталась Лимой.

Сбоку нарисована люлька. А вот еще выдержка из письма:

Взирала радостно мамаша,
Как расцветала дочь ея.

И наконец, заключительные строки:

Великолепная нога,
Явленье страсти неземной.

Конечно, к сему имеется соответствующий рисунок ноги…

Куприн слушал Любимова, вглядывался в неуклюжие строки любовных виршей и все более проникался жалостью и состраданием к их автору: «Несчастный маленький человек, поставленный судьбой в самом низу общественной лестницы и

безответно влюбленный в женщину, принадлежащую к верхам… Какая тема для произведения!..» Хозяин, не замечая его состояния, очевидно, усматривал во всем лишь юмористическую сторону. Благодушно улыбаясь, он рассказывал:

— Этот маньяк с неотступным упорством преследовал Милочку письмами. В них заключались не только стихотворные послания, но и прозаический текст с малограмотными объяснениями в любви. Подписывал он письма своими инициалами — П. П. Ж. Представьте себе, Александр Иванович, ему удалось несколько раз проникнуть в ее квартиру. Как мы впоследствии выяснили, он вошел для этого в сношения с полотерами. Многие письма его посвящены описанию обстановки всех комнат и, конечно, главным образом Милочкиной. Часто он следовал за ней во время прогулок или когда она посещала своих знакомых. Об этом он также немедленно осведомлял ее в письмах. Когда Милочка второй раз вышла замуж, поток писем временно прекратился. Но уже через несколько месяцев П. П. Ж. вернулся к своему прежнему занятию…

«Я вижу этого П. П. Ж., — думал Куприн, — вижу, как мучительно напрягает он все свои душевные силы, стараясь преодолеть малограмотность и отсутствие необходимых слов, чтобы выразить охватившее его большое чувство, и как стремится он уйти от своей, очевидно, убогой жизни в мечты о недосягаемом счастье…»

— В прошлом году, — говорил между тем Любимов, — в первый день пасхи, рано утром горничная принесла Миле письмо и небольшой пакет. В нем оказалась коробочка, в которой на розовой вате лежал аляповатый браслет — толстая позолоченная дутая цепочка, и к ней подвешено было маленькое красное эмалевое яичко с выгравированными словами: «Христос воскресе, дорогая Лима. П. П. Ж.». Это выходило уже за рамки приличия. Коля страшно возмутился и потребовал принятия по отношению к П. П. Ж. самых крайних мер…

Любимов прервал свое повествование и предложил Куприну выкурить в кабинете по сигаре.

— Я не наскучил вам, Александр Иванович, этой нелепой историей? — спросил он, удобно устроившись в кресле и затянувшись крепким ароматным дымом.

— Напротив, Дмитрий Николаевич, я весь внимание, — живо отозвался Куприн, все более ясно представляя себе жалкий и самоотверженный характер этого П. П. Ж.

— Ну так вот, установить личность этого господина было для меня, конечно, легко. Он оказался мелким почтовым чиновником Петром Петровичем Жолтиковым. Жил он в начале старого

Невского, в громадном доме барона Фридерикса, в котором сдавались дешевые комнаты и квартиры. В ближайшее воскресенье мы с Колей отправились к нему. По грязной черной лестнице поднялись на пятый этаж. Открыла нам хозяйка квартиры, неопрятная, растрепанная женщина, и указала комнату Жолтикова. Убогая обстановка, сам он невзрачный, небольшого роста, страшно растерявшийся, испуганно смотревший на нас, — все это произвело на меня тяжелое впечатление. Я положил на стол коробочку с браслетом и вежливо попросил его впредь не только не посылать моей жене подарков, но и перестать писать ей письма. Тут Коля перебил меня, очень резко сказав, что мы примем меры… Я не дал ему договорить — убитый вид Жолтикова меня обезоруживал…

Любимов замолчал, отвернулся от собеседника и сказал тише, приглушеннее:

— Он ведь так же, как я, любит Милочку, и я не могу сердиться на него. Я счастливый соперник, и мне его жаль. Ведь если бы он был крупным чиновником, а я бедным служащим, может быть, Милочка и полюбила бы его, а не меня… Кто знает!

«Э, да в тебе чиновник не заглушил еще человека, — невольно подумал Куприн. — Но со временем кто знает…»

И тоже тихо, но твердо ответил:

— Да, судьба не бескорыстна. Она всегда покровительствует успеху…

Домой с Марией Карловной они возвращались поздно за полночь, пешком, по тихим малолюдным улицам, примыкающим к Таврическому саду. Мысли Куприна все еще были заняты этой трогательной и грустной историей.

Если осторожно соскоблить иронический налет, нанесенный нашим милым рассказчиком, — говорил он жене, — обнаружится безнадежная, трогательная и самоотверженная любовь, на которую способны очень немногие. Женщины не всегда в силах оценить такое святое чувство…

Он помолчал, прислушиваясь к чему-то своему, потаенному, потом тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли:

— Ты знаешь, Машенька, сейчас все новые впечатления у меня не отстоялись. Я свернул их, как ленты «кодака», и уложил в своей памяти. Там они могут пролежать долго, прежде чем я найду для них подходящее место и разверну их. Когда проходит время, глубже чувствуешь и оцениваешь прошедшее — людей, встречи, события. Но мне кажется, Жолтиков будет моим героем. Я подниму его образ, его бедную жизнь, которая, возможно, оборвется — оборвется трагически. Я даже хотел бы облагородить тот дутый аляповатый браслет, который он прислал Людмиле

Ивановне. Пусть это будет гранатовый браслет, подаренный мной тебе? Ты не рассердишься, Машенька, нет?

Куприн нашел в муфте маленькую горячую ручку жены и смущенно добавил:

— В юности, еще юнкером, нечто подобное испытал я сам… Я долго хранил у себя случайно оброненный при выходе из театра носовой платок незнакомой мне женщины…

7

Рано утром 24 февраля 1902 года Александра Аркадьевна Давыдова скончалась от паралича сердца.

Хоронил издательницу «Мира божьего» весь литературный Петербург. На многолюдных поминках к Куприну подошел с незнакомцем Богданович, у которого глаза были красны и припухли от слез.

— Познакомьтесь, — сказал он и представил их друг другу: — Александр Иванович Куприн — Федор Дмитриевич Батюшков…

Перед Куприным стоял высокий худощавый сорокапятилетний мужчина, со строгим сухим длинным лицом в небольшой каштановой бороде и добрым взглядом спокойных серых глаз. Куприн уже знал о Батюшкове, что это профессор, историк западной литературы, потомок старинного знатного рода, внучатый племянник известного поэта пушкинской поры. Он знал также, что именно Батюшкову члены редакции после кончины Давыдовой предложили быть руководителем журнала «Мир божий».

Заговорили о покойной, о ее заслугах перед отечественной словесностью. Куприн сразу отметил про себя, что ни в словах Батюшкова, ни даже в его интонации не было той почти обязательной лицемерной, преувеличенной печали, которую почитали долгом выказать многие из присутствующих.

— Что ж, надо вести корабль дальше, — сказал он Батюшкову. — Капитанский мостик пуст, и вам, очевидно, придется браться за штурвал…

— Я с большими колебаниями принял предложение редакции, — ответил тот. — Но кому-то приходится быть администратором. Вы знаете, Александр Иванович, в искусстве люди заурядные часто совершенно искренне сетуют на то, что организационная работа отвлекает их от творчества, не дает

возможности писать. Они хотят так объяснить себе собственное бесплодие. Могу сказать без всякого самоуничижения, что для творчества я не создан. И потому обязан посильными средствами работать там, где принесу наибольшую пользу…

— Но у вас есть то, что так редко встретишь в литературе, — живо возразил Куприн. — Культура, огромные знания!

— Пусть так, — согласился Батюшков, — но мы, книжники, живем жизнью вторичной. Что с того, что я могу сейчас процитировать латинскую мудрость, кельтский эпос или французских парнасцев? Это все чужой, заемный опыт. У нас нет чувства первородства, которое отличает художника истинного, нет того божественного огня, который горит в вашей душе… Я ведь давно слежу за вами, Александр Иванович, за вашим добрым, стихийным даром…

Все это было сказано просто, естественно и поразило Куприна именно искренностью, отсутствием рисовки. Он еще не знал того, что Батюшков станет его самым задушевным, самым близким другом на протяжении всей почти двадцатилетней жизни в России.

Отступление второе ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ XX ВЕКА

Новый век: короткая пора, стремительно пройденный отрезок, всего-то навсего менее трех десятилетий — от 90-х годов прошлого столетия и до Октября. Но какая красочная ярмарка, какое соцветие талантов! Сколько имен промелькнуло за этот исторический отрезок! И какие имена! Гордостью нашей национальной культуры стали М. Горький, А. Блок, И. Бунин, А. Куприн, молодой Маяковский, И. Репин, В. Серов, М. Нестеров, С. Рахманинов, А. Скрябин, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, актеры Московского Художественного театра… И вместе с тем как непроста, как неоднозначна каждая эта фигура, каждое явление. А ведь были еще и те, кто создавал «фон», сопровождал главных «действующих лиц» на исторической сцене — от скромных «бытовиков», рядовых «знаниевцев» и до «новаторов» авангарда, до крикливых молодых людей, безоговорочно требовавших отказаться от «старья» во имя неведомых им самим целей.

В нашем XX веке продолжали творчество классики русского реализма Толстой и Чехов; их заветы стремились претворить многочисленные талантливые писатели — В. Г. Короленко, В. Вересаев, И. Бунин, А. Куприн, Л. Андреев. Однако самый принцип «старого» реализма подвергся энергичной критике из разных литературных лагерей, требовавших более активного вторжения в жизнь и воздействия на нее.

Эту ревизию, собственно, начал сам Толстой, в последние годы своей жизни, после духовного перелома, призывавший к резкому усилению «учительного», проповеднического начала в литературе. «Новые» писатели пошли в этом направлении значительно дальше.

Если Чехов еще считал, что «суд»(то есть художник) обязан поставить вопросы, а отвечать должны «присяжные» (письмо к А. С. Суворину от 27.X.1888), то для писателя XX века, это казалось уже недостаточным. «Как быть с рабочим и мужиком, — вопрошал Блок, — который, вот сейчас, сию минуту, неотложно спрашивает, как быть…» Родоначальник пролетарской литературы Горький прямо заявил, что «…роскошное зеркало русской литературы почему-то не отразила вспышек народного гнева — ясных признаков его стремления к свободе», и обвинил литературу XIX века в том, что «она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных, только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на

земле». В письме к Чехову молодой Горький утверждал: «Настало время нужды в героическом», в творчестве Горького уже зарождались элементы новой литературы, широко развернувшейся в условиях советской действительности.

Спор с традиционным, классическим реализмом велся, как уже говорилось, на разных полюсах литературы. В начале 90-х годов, с появлением поэтических сборников К. Бальмонта «В безбрежности» и «Тишина», с выходом изданных В. Брюсовым трех сборников «Русские символисты», а также стихов Д. Мережковского, Н. Минского, З. Гиппиус, в литературе оформилось новое направление — символизм, отдельные черты которого были предвосхищены уже в поэзии В. Соловьева, Н. Фофанова, Мирры Лохвицкой. И они стремились к обновлению искусства.

Восстав против «удушающего мертвенного позитивизма», символисты провозгласили три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. Новации символизма, понятно, были противоположны горьковским призывам обновления. Символисты открыто порывали с демократическими и гражданственно-социальными заветами русской литературы, звали к крайнему индивидуализму и подмене этического начала самоцельной эстетикой:

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне тебе я даю три завета.

Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.

Третий прими: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно…

Вообще говоря, символизм представлял собой известную реакцию на натуралистическое изображение жизни. Поэтому он появлялся нередко там, где натурализм обнаруживал свою несостоятельность. Но, нападая на плоское описательство, символисты предлагали взамен другую крайность: пренебрегая реальностью, они устремлялись «вглубь», к метафизической сущности видимого мира, окружающая действительность казалась им ничтожной и недостойной внимания поэта. Это был

всего лишь «покров», за которым пряталась вожделенная «тайна» — единственный достойный, по мнению художника-символиста, объект. Поэтому сторонники и вожди этого направления (впервые появившегося ко Франции) так легко поддавались религиозным и мистическим теориям.

Тем не менее их напряженные поиски «сущности», подобно поискам алхимиками «философского камня», не пропали даром. Некоторые из них, наиболее талантливые, сумели значительно расширить сферу поэзии, сильно продвинуть вперед поэтическую технику, вскрыть новые возможности, заложенные в слове. И все же именно эти талантливые художники сами и признали в конце концов бесплодность концепции символизма и начали создавать на развалинах этого направления новую литературу, отвечающую потребностям революционной действительности (А. Блок, В. Брюсов).

В пестром крошеве исканий, заблуждений, надежд в русской литературе школы, направления, кружки, как писал А. Толстой, «выскочили на ней в грибном изобилии»: «Еще до войны появились футуристы — красные мухоморы, посыпанные мышьяком. Их задача была героична: разворочать загнившее болото русского быта… Лезли чахоточные опенки, выродки упадничества, последыши с их волшебным принцем Игорем Северяниным. Выскочили плесенью, какая бывает на старых пнях, поэты, принципиально не желающие говорить на человеческом языке».

Ко всему подлинно талантливому в эту пору в изобилии липнут «спутники», готовые даже во внешности, в манере одеваться, вести себя, говорить (и уж потом — писать) подражать своему флагману. Так, вокруг «Большого Максима» — Максима Горького, властителя дум передовой России, сгустилось не просто созвездие, но целое облако сателлитов, из которого полыхали уже не молнии и громы, а по временам сочился мусорный ветер.1 Так, большого национального поэта А. Блока, страстного романтика и мечтателя, пажи по символистскому цеху стремились увести за собой, в затянутую тьмой мистическую долину, где они сами мерцали светящимися гнилушками. Никогда прежде не соприкасались столь тесно подлинность, боль и игра, мистификация, расчетливая ставка на успех, пусть через скандал, эпатаж, бытовое безобразие. «И улица развращает, — сердился Бунин, — нервирует хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай!.. Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении. И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить,

обратить на себя внимание».

В этих сложных условиях, в противоборстве враждующих начал, полярных методов и направлений, в смешении исканий и мистификации, игры, продолжало плодотворно развиваться творчество писателей, традиционно именуемых «критическими реалистами». Принято полагать, что в изменившейся обстановке они лишь следовали сложившимся канонам «старой» литературы, лишь развивали то, что было завещано гигантами девятнадцатого века — Толстым, Достоевским, Тургеневым, Чеховым.

Да, словно мощные горные узлы, от которых расходятся многочисленные отроги, большие и малые, выделены на карте отечественной литературы эти великие имена. И самобытность реалистов XX века вырастает но только в преодолении авторитетов, но в продолжении, обогащении уже сложившихся традиций. В литературном процессе эта художественная эстафета проявляется то в органическом усвоении толстовских принципов, художественных и философско-этических — в «Господине из Сан-Франциско» И. Бунина, то в грустных чеховских интонациях «Большого шлема» и «Жили-были» Л. Андреева, то в возрождении нервного сказового стиля вослед Достоевскому в «Мелком бесе» Ф. Сологуба. Самобытность русской реалистической литературы XX века заключается не только в значительности содержания, но и в художественных исканиях, совершенстве техники, стилевом разнообразии: реализм стремился выйти к новым для себя рубежам, хотя многое так и осталось в стадии эксперимента. Здесь и черты экспрессионизма с его рационалистической символикой, угловатостью рисунка, нарочитым схематизмом («Царь-Голод», «Жизнь Человека», «Красный смех» Л. Андреева); и орнаментальная, узорчатая проза с искусной стилизацией («Пруд» А. Ремизова, «Уездное» Е. Замятина); и искания в области прозы ритмизированной («Петербург» Андрея Белого); и особенный, «сгущенный» реализм с его плотностью «парчового» языка (проза Бунина).

Но все-таки главным, решающим в русской литературе XX века, понятно, оставалось то, насколько глубоко и верно осмысляла она жизненно важные проблемы, насколько точным был ее суд над действительностью, насколько высок нравственный идеал.

Вершиной и тут оставалось творчество Л. Толстого, последние произведения которого являют нам пример последовательного углубления в самую сущность человеческого бытия. Принципиально новаторским явилась художественная деятельность основоположника социалистического реализма М. Горького, принесшего уже в начале века, по словам В. И. Ленина,

«рабочему движению России — да и не одной России… громадную пользу». Однако формирование нового метода, поиски М. Горьким человека-борца, активного героя, непосредственное отражение в литературе идеологии рабочего класса — все это вовсе не означало, будто реализм в привычных формах исчерпал, изжил себя. Он продолжал оставаться живым, плодотворным началом, объединяя вокруг себя разновеликие, но всегда яркие таланты, среди которых Куприн — одно из первых, заглавных имен.

Литературные недруги дали ему глумливое прозвище «зрячий крот». Другие, более ретивые, объявили его даже одно время «всероссийской бездарностью». В критике, особенно критике символистской, его третировали расхожим определением «бытовик». Куприн сердился: «Старый быт. Быт, проклятый критиками, создавшими презрительное, унизительное словечко для иных писателей — «бытовик». Но почему же в этом быте, в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в однообразной привычности слов, движений, поговорок, песен, обрядов — почему в них жила и живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое бытие в обыденной жизни?»

Сердитость его была справедливой. Таланта хватило бы у Куприна на всех его литературных обидчиков. Сочность, выпуклость изображений, точный и тонкий рисунок, простой, ясный язык, юмор и добродушие — все сближало Куприна с лучшей, классической литературной традицией. Он верный и блестящий ученик Льва Толстого. И вместе с тем урок сжатости, преподанный Чеховым, не пропал для него бесследно.

С чуткостью первоклассного писателя улавливал Куприн общественную атмосферу русского общества, глубоко и верно отображал неповторимые картины быта самых разных слоев населения, создавал цельную и правдивую картину России — провинциальной, уездной, местечковой, военной, рабочей, столичной, артистической, буржуазной.

А между тем в сгущавшейся предгрозовой духоте все более неотвратимо надвигались на страну великие социальные потрясения, ковалась партия нового типа, пролетарские окраины все чаще заявляли о себе, сотрясая обе столицы забастовками и демонстрациями.

В обстановке надвигавшейся, а затем и разразившейся революции 1905-1907 годов создавалось едва ли не самое значительное произведение Куприна — «Поединок».

Глава третья «ПОЕДИНОК»

1

После кончины Давыдовой Куприны заняли в ее большой квартире скромную комнату тетушки Марии — Бочечкаревой, которая уехала в Москву. Однажды вечером, после обычного трудового дня, занятого хлопотами в «Мире божьем», где он заведовал отделом прозы, Куприн сказал жене:

— Слушай меня внимательно, Машенька. Думай только о том, что я говорю, и, пожалуйста, смотри только на меня, а не по сторонам…

Он крепко потер несколько раз руками голову.

— Скажу тебе то, чего никому еще не говорил… Даже Бунину… Я задумал большую вещь — роман. Главное действующее лицо — это я сам. Но писать я буду не от первого лица, такая форма стесняет и часто бывает скучна. Я должен освободиться от груза впечатлений, накопленного годами военной службы. Я назову этот роман «Поединок», потому что это будет поединок мой — поединок с царской армией. Она калечит душу, подавляет лучшие порывы в человеке, его ум и волю, унижает достоинство… Я ненавижу годы моего детства и юности, годы кадетского корпуса, юнкерского училища и службы в полку. Обо всем, что я испытал и увидел, я должен написать. И своим романом я вызову на поединок царскую армию. Наверное, единственный ответ, какого удостоится мой вызов, будет запрещение «Поединка». А все-таки я напишу его!..

Куприн молча начал ходить по комнате. Молчала и Мария, боясь нарушить ход его мысли.

— Как тебе кажется, Машенька? — наконец спросил он. — Это будет крепко закручено… Ты не боишься за меня?

— Я верю в тебя, — тихо, но твердо ответила Мария.

— А теперь, — Куприн сел за стол и стал листать рукопись, — я прочту тебе небольшую главку. Может быть, она войдет в «Поединок»…

Это был рассказ о том, как ефрейтор Верещака собрал «молодых» и «репетил» с ними словесность.

«— Архипов!.. Кого мы называем унутренними врагами?..

Неуклюже поднявшийся Архипов упорно молчит, глядя перед собой в темное пространство казармы. Дельный, умный и ловкий парень у себя в деревне, он держится на службе совершенным

идиотом. Он не понимает и не может заучить наизусть самых простых вещей.

— Пень дубовый! Толкач! Верблюд! Что я тебя спрашиваю? — горячится Верещака. — Повтори, что я тебя увспросил, батькови твоему сто чертей!..»

Куприн читал по-актерски, с большим юмором оттеняя нелепые и невежественные слова Верещаки.

«— Враги!..

— Враги! — передразнивает ефрейтор. — Совсем ты верблюд, только рогов у тебя нема. Какие враги, чертюка собачья.

— Внешни…

— У-у, ссвол-лочь! — шипит сквозь стиснутые зубы Верещака. — Унутренние!..

— Нутренни…

— Ну?

— Враги.

— Вот тебе враги!

Архипов вздрагивает головой, нервно кривит губами и крепко зажмуривает глаза.

— Так и стой усе время, стерво! — говорит ефрейтор, потирая руку, занывшую в локте от неловкого удара. — И слухай, что я буду говорить. Унутренними врагами называются усе сопротивляющиеся российским законам. Ну и, кроме того, еще злодеи, конокрады и которые бунтовщики, евреи, поляки, студенты. Повтори, Архипов, усе, что я сейчас сказал…»

— Вот глава, которую я наметил для будущего романа, — после небольшой паузы проговорил Куприн. — Понравилась она тебе, Машенька?

— Саша! Милый! Ты оправдываешь мои надежды. — Мария, не скрывая радости, поднялась со стула и поцеловала мужа в висок. — Только для этого надо работать, не отвлекаться… А у тебя столько друзей, соблазнов! При твоей доброй натуре ты никому не отказываешь, тратишь время бог знает на что! Я так страшилась за тебя… Однако вижу, что ты, кажется, на верном пути…

— Но роман, Машенька, это дело будущего, — вернулся Куприн к началу разговора. — Прежде чем серьезно приступить к этой работе, я должен еще многое обдумать. А пока у меня несколько хороших тем для рассказов. Их надо написать, чтобы к будущей зиме подготовить материал для сборника.

Он снова потер несколько раз голову.

— Когда мы с Буниным были в издательстве «Знание», там шел разговор о том, что оно всецело перейдет в руки Горького и Пятницкого. Горький уже наметил широкий план издания

художественной литературы. Среди беллетристов, которых он хочет привлечь в «Знание», есть и мое имя… Ну что ж, подождем до осени, может, оно так и будет…

2

В середине ноября 1902 года Горький уведомил Куприных, что навестит их вместе с директором-распорядителем издательства «Знание» Константином Петровичем Пятницким.

Лето Куприны провели к Крыму, в Мисхоре, на даче Давыдовых, где Александру Ивановичу работалось очень плодотворно: он написал там рассказы «Трус», «На покое» и почти закончил «Болото».

Ожидая Горького, с которым он был знаком лишь «шапочно», Куприн изрядно волновался, торопил жену с обедом и все-таки не успел: гости приехали раньше назначенного времени.

Горький, высокий, худой, рыжеусый, в длинном ватном пальто и смушковой шапке, басил в прихожей, пожимая Куприну руку:

— Давно собирался с вами познакомиться, поговорить как следует… Да все как-то не выходило. То вы приезжали в Крым, когда меня там не было, то не было вас, когда я приезжал в Ялту. Занятно, точно мы друг с другом в прятки играли. А как писателя знаю вас давно. Читал «Молоха», очень он мне понравился. Читал ваши фельетоны в киевской газете «Жизнь и искусство» и тогда же советовал пригласить вас в «Самарскую газету» и даже прочил в редакторы…

С Марией Карловной Горький был знаком давно, с 1899 года, по встречам у Давыдовой, и только сказал, улыбаясь в усы, с неуклюжей галантностью:

— Помните, каким несмышленышем вы были в Ялте? А сейчас замужняя дама и почтенная издательница…

После кончины матери Мария Карловна унаследовала журнал «Мир божий», которым руководили Ф. Д. Батюшков и А. И. Богданович.

— Ну что вы, Алексей Максимович, — отшутилась она, — вон для Константина Петровича я небось до сих пор гимназистка, слушательница его курсов физики…

Пятницкий смущенно погладил бороду, незаметно прикрывая ею скромный галстук. Когда он преподавал в гимназии М. Н. Стоюниной, где училась Мария Давыдова, то вначале появлялся

каждый раз на урок в новом ярком галстуке и нестерпимо надушенный какими-то крепкими духами. Вскоре в ящике своего пюпитра он стал находить записочки, в которых ученицы рекомендовали ему различные марки хороших мужских одеколонов, а галстуки приличных расцветок советовали покупать в английском магазине Друсса…

— И вы нынче не та гимназистка, что раньше, и Константин Петрович не преподаватель физики и космографии, а наш грозный и всесильный директор-распорядитель, — шутливо наклонил Горький голову с чуть приподнятой макушкой и снова обратился к Куприну: — Да, кстати, через месяц Константин Петрович обещает выпустить первый том ваших рассказов. Отчего вы не включили в него «Олесю»?

— Видите ли, Алексей Максимович, — осторожно подбирая слова, ответил Куприн, — это моя ранняя, еще незрелая вещь. «Наивная романтика», как сказал Чехов. Я сначала колебался, а потом согласился с его мнением.

— Напрасно согласились, — с упором на «о», словно наполняя сказанное особым смыслом, возразил Горький. — И великие мира сего могут ошибаться. А самое главное, первая книга — первая ступень творческого развития писателя. Он еще молод, а молодость должна быть немного наивной и романтичной. «Олеся» войдет в ваш второй том, я буду на этом настаивать…

Пока не собрались остальные приглашенные, Горький продолжил разговор с Куприным в гостиной. Утонув в уютном плюшевом диване, он допытывался:

— А что вы пишете сейчас?

— Пока только рассказы. Приступить к роману не решаюсь, — признался Куприн. — Это слишком большая задача, для которой я еще не чувствую достаточных сил. Но тема романа не дает мне покоя. Я должен освободиться от тяжелого груза военных лет. Рано или поздно я напишу о нашей «доблестной армии» — о наших жалких, забитых солдатах, о невежественных, погрязших в пьянстве офицерах…

Горький разгладил усы, захватил длиннопалой кистью нос с сильно раздвинутыми ноздрями и округло выступающие скулы.

— Вы должны, скажу больше, обязаны написать о нашей армии. Кому, как не вам, сказать о ней всю правду?.. У вас громадный материал и большой художественный талант…

Он поднялся с дивана, показавшись еще выше, еще больше, и неслышной походкой с носка начал ходить по комнате, помогая каждой фразе энергичным взмахом сильной руки:

— Пишите же, не откладывая. Такая повесть теперь

совершенно необходима. Именно теперь, когда исключенных за беспорядки студентов отдают в солдаты, а во время демонстрации на Казанской площади студентов и интеллигенцию избивали не только полиция, но под командой офицеров и военные части… Это задело не только ко всему равнодушных обывателей, но и широкую публику — ведь почти в каждой интеллигентной семье сын или брат студент. Поведение офицеров возмутило всех. И к чему же это повело? Офицерство возомнило себя властью, призванной защищать престол и отечество от «внутренних врагов». В публичных местах пьяные офицеры ведут себя вызывающе, ни с того ни с сего требуют от оркестра исполнения национального гимна, и, если им кажется, что кто-либо не столь поспешно встал, его осыпают бранью и угрозами. Недавно в ресторане был убит студент — офицер шашкой разрубил ему голову; в саду оперетты «Аквариум» застрелен молодой врач; при выходе из театра тяжело ранен акцизный чиновник, будто бы толкнувший офицера. Подобными сообщениями сейчас пестрят столичные и провинциальные газеты…

Сузив свои маленькие серо-синие глазки, Куприн ответил:

— «Поединок» скоро не смогу написать. Повесть должна закончиться дуэлью, а я не только никогда но дрался на дуэли, но не пришлось мне быть даже секундантом. Что испытывает человек, целясь в своего противника, а главное, сам стоя под дулом его пистолета? Эти переживания, психология этих людей мне неизвестны. И мысль моя невольно возвращается к подробностям дуэли Пушкина и Лермонтова. Но это же литература, не личные реальные переживания. Сейчас я с досадой думаю о том, что было несколько случаев в моей жизни, которые, если бы я захотел, могли кончиться дуэлью, но эти случаи я упустил, о чем теперь сожалею…

Горький остановился. Кожа на его лице натянулась, собирая морщины вокруг рта, глаза потемнели:

— Вы черт знает что говорите! Собираетесь писать об офицерах, когда офицерская закваска так крепко сидит в вас! «Дуэль была бы неизбежна», — произносите равнодушно вы, точно это безобразие в порядке вещей. Не ожидал от вас. Знайте только, если вы эту повесть не напишете — это будет преступлением!

Куприн хотел было ответить, сказать, что при всей громадной правде, прозвучавшей в словах Горького, не все так скверно и черно и в армии, и в офицерском корпусе, что офицер офицеру рознь, что пробьет час, и лучшие из офицеров — не те, что скандалят и бретерствуют в ресторанах и оперетках, — на поле

брани поведут солдат за собой на смерть во имя воинского долга, во имя защиты России, но разговор завершить не удалось. Вошел Бунин и тотчас же вслед за ним оба редактора «Мира божьего» — Батюшков и Богданович.

За обедом Горький рассказывал о своих планах — преобразовать «Знание» в крупное издательство, о решении выпускать не только много научных книг, но и современную художественную литературу, в первую голову молодых писателей-реалистов.

— Пошла нынче мода на символистов и богоискателей, — говорил он, усмехаясь, отчего у него слегка подымался ус. — Слышал, что с будущего года они начинают издавать свой журнал «Новый путь». Поглядим, какой такой новый путь они нам укажут…

— Сейчас все зовут к обновлению, — отозвался Батюшков, повернув к Куприну изящный, тонкий профиль. — Как это у Фофанова в его последних стихах? «Ищите новые пути! Стал тесен мир. Его оковы неумолимы и суровы, — где ж вечным розам зацвести? Ищите новые пути!..»

Куприн молчал, слушал и против обыкновения даже не прикоснулся к вину. «Ах, Федор Дмитриевич, — подумал он, — все-то ты читаешь, все знаешь…» Батюшков восхищал его почти детской чистотой души, прямотой суждений и богатством эрудиции.

— Но, судя по тому, кто задает тон на религиозно-философских собраниях, — продолжал Горький, — пути-то будут старыми, как мир, и давно пройденными. Опять святая троица — Мережковский, Философов, Гиппиус… Опять предложат нам искать, и не как-нибудь, а «одним голодом, одним желанием, одним исканием — общего Отца», по рецепту Зинаиды Николаевны…

— Причем рецепт Гиппиус выпишет нам под вымышленным и мужским именем Антона Крайнего, — вставил реплику Бунин. — У нее не просто желание быть непременно модной, но почти мания, духовная болезнь…

— «Но люблю я себя, как бога»… — процитировал ее строчку Горький и вздохнул: — Истеричка эта дама. А между тем сколько здоровья и сил у нашей словесности! Как богата Россия талантами! В Ясной Поляне живет, как бог Саваоф, Лев Толстой… Чехов пишет необыкновенные вещи… Словно из-под земли, прут молодые… Вот Андреев Леонид… Какой человечище!..

Он наклонился к тарелке, смаргивая набежавшую слезу, и, успокаиваясь, напустив нарочитую суровость, деловитость, обратился к Куприну и Бунину:

— Вас мы с Константином Петровичем сразу двинем большими тиражами. Настоящих, хороших книг для широких демократических кругов не хватает. А вы, молодые, до сих пор писали слишком мало — через час по столовой ложке, и знают вас только интеллигенты — подписчики журналов. Надо, чтобы узнал и полюбил вас, молодых талантливых писателей, новый громадный слой демократических читателей.

— Вам хорошо говорить, Алексей Максимович, — ответил Бунин, — вы нашли своего читателя, у нас его просто нет…

— Так завоюйте его! — налегая на «о», сказал Горький.

— Должна бы помочь критика. Да где там! — желчно продолжал Бунин. — Несколько лет назад, когда вышел сборник моих рассказов «На край света», критики отозвались примерно так: «Некоторого внимания заслуживает скромное дарование начинающего беллетриста И. Бунина. В незатейливых сюжетах его рассказов иногда чувствуется теплота и наблюдательность…» В заключение еще две-три высокомерно-снисходительные фразы…

— Ни к чему вы, Иван Алексеевич, ссылаетесь на критику, — с досадой произнес Горький. — Настоящих критиков у нас кот наплакал. Их только единицы. Остальные же разве это критики? Я лучше не скажу, что это такое…

— Я, пожалуй, был счастливее тебя, Иван Алексеевич, — вступил наконец Куприн в общий разговор. — Когда вышла моя первая маленькая книжонка «Миниатюры», о которой я без стыда не могу вспомнить, столько в ней было плохих мелких рассказов, то она, слава богу, не привлекла внимания даже безработных провинциальных критиков. В книжных магазинах она не продавалась, а только в железнодорожных киосках. Разошлась она быстро благодаря пошлейшей обложке, на которой художник изобразил нарядную даму с книгой в руках…

Он мало-помалу обрел уверенность, понял, что завладел всеобщим вниманием. Батюшков дружелюбно кивнул ему: продолжай.

— Когда я был в юнкерском училище, — рассказывал Куприн, — покровителю моего литературного таланта старому поэту Лиодору Пальмину — его очень мало знали и тогда, а теперь уже решительно никто не помнит, — случайно удалось протащить в московском «Русском сатирическом листке» мой первый рассказ «Последний дебют». Сейчас я даже забыл его содержание, а вот начинался он с фразы, которая тогда казалась мне ужасно красивой: «Было прекрасное майское утро…» Когда я прочитал рассказ товарищам, они удивились и похвалили меня. Но на следующий день ротный командир за недостойное будущего офицера, а приличное только какому-нибудь «шпаку» занятие —

«бумагомарание» — отправил меня на два дня под арест. Номер листка был со мной, и я по нескольку раз в день читал свой рассказ моему сторожу, унтер-офицеру. Тот терпеливо слушал и каждый раз, сворачивая цигарку и сплевывая на пол, выражал свое одобрение: «Ловко!» Когда я вышел из карцера, то чувствовал себя героем. Ведь так же, как Пушкин, я подвергся преследованию за служение отечественной литературе. Вот видишь, Иван Алексеевич, насколько мои первые читатели были снисходительны…

Горький слушал молча, пощипывал усы и лукаво поглядывал то на Бунина, то на Куприна.

— Скажу вам, любезные товарищи, — выждав паузу, заговорил он, — что мои первые критики и читатели доставили мне громадное наслаждение. Критики ругали меня так, как только могли. Я был уголовный преступник, грабитель с большой дороги, человек не только безнравственный, но даже растлитель молодого поколения. Вот как! — Горький, смеясь одними глазами, оглядел сидящих за столом. — Я был в восхищении от их вдохновенной изобретательности и прыгал до потолка от радости, что так крепко пронял этих жаб из обывательского болота. Были и письма от читателей. Враги после моего ареста выражали сожаление, что меня не поторопились повесить. Для некоторых и эта мера казалась мала, и они желали, чтобы меня четвертовали. Но от рабочих и от молодежи я получал пожелания не складывать оружие, а писать еще сильнее, еще лучше. И не тот, кто берет книжку сквозь сон, от скуки, будет вашим читателем. Читателем «Знания», а значит, и вашим будет совсем новый, поднимающийся из низов слой. А это громадный слой!..

Он поговорил еще с Батюшковым о Художественном театре, о том, что на днях в Москве будет генеральная репетиция его пьесы «На дне», а затем заторопился:

— Однако, Константин Петрович, мы с вами у Куприных засиделись…

После обеда, за кофе, Бунин самолюбиво спросил у Куприна:

— Я краем уха слышал, что ты пишешь военный роман? А мне даже ничего не сказал… Не по-товарищески! Нехорошо!

— Не пишу, а хочу написать, — ответил Куприн, — а это, знаешь, как говорят у нас в Одессе, еще две большие разницы.

— Значит, надо приналечь на образование. Тебе необходимо читать, и прежде всего классику, — наставительно сказал Бунин. — И твой культурный горизонт, и твой лексикон пока что очень узки.

— Может быть, такой совет и поможет некоторым авторам, — сдерживая накипающее раздражение, возразил Куприн. — Но это

не для меня. Толстым, Тургеневым, Достоевским я восхищаюсь. Но это не значит, что следует заимствовать их приемы. Как ни старайся, а классиков из нас с тобой, Иван Алексеевич, по такому рецепту не получится. «Нива» все равно издавать нас не будет…

— Ты слишком часто работаешь на публику, — как бы не слыша его, говорил Бунин. — Слишком легко ухватываешь все, что нравится ей, что становится расхожим…

Мария Карловна с тревогой взглянула на мужа. Тот отозвался внешне спокойно — не поймешь, в шутку или всерьез:

— А я ненавижу, как ты пишешь… У меня от твоей изобразительности в глазах рябит. — Сделал паузу и миролюбиво закончил: — Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездишь…

Бунин побледнел; его красивое лицо — от высокого лба и до кончика русо-каштановой эспаньолки — как бы окаменело.

— Но ты не серчай, Иван Алексеевич, — еще более кротко проговорил Куприн. — Мешает мне родословная полудиких предков — владетелей Касимовского царства князей Кулунчаковых.

Бунин мгновенно отрезал ледяным тоном:

— Да, Александр Иванович! Ты дворянин *по матушке*…

Куприн почувствовал толчок горячей крови, к глазам прихлынула розовая волна. Он взял со стола чайную серебряную ложку и молча сжимал ее в руках до тех пор, пока она не превратилась в бесформенный комок, который он бросил в противоположный угол комнаты.

— Ну вот и поговорили по душам, — снимая напряжение, добродушно рассмеялся Батюшков.

Куприн молчал. Но вот он пересилил себя и, потирая горло, глухо сказал:

— Что касается моего намерения написать военную повесть, то своим словесным запасом и кругозором я уж как-нибудь обойдусь. Ведь это та среда и тот язык, где я варился, начиная с корпуса, юнкерского училища и кончая годами военной службы. Все это настолько мне знакомо, что первое время, бывая в «штатском» обществе, среди таких, как ты, Иван Алексеевич, шпаков, я часто сдерживался, чтобы не пустить в ход свои офицерские привычки…

Несмотря на все старания Марии Карловны и Батюшкова, Куприн и Бунин расстались, не простившись.

3

Работе над «Поединком» мешали частые редакционные совещания в «Мире божьем» и чтение бесконечных рукописей. Повесть уже сложилась в голове, выстроилась, обрела имя главного героя — Ромашов. Так звали мирового судью, который некогда ухаживал за подругой Марии Карловны.

По вечерам Куприн рассказывал жене о своей военной юности, откуда он черпал материал для будущей повести.

— Но далеко не все в моей полковой жизни, — возбужденно говорил он, расхаживая по комнате, — развивалось так, как это будет происходить в «Поединке»…

Куприн приблизился к жене, сидевшей в широком сарафане (она ждала ребенка), нежно взял за руку:

— Ты не рассердишься, если я расскажу тебе о своей первой любви, воспоминания о которой я еще не могу доверить листку?

— Ну что ты, Сашенька! — подняла она подурневшее, но еще более дорогое ему лицо. — Как ты мог даже не сказать, а подумать так!

— Тогда слушай. Я служил третий год в Проскурове. Скука была адская. «Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво? — твердил я себе. — Утром занятия в роте о том, что «часовой — лицо неприкосновенное», потом обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитанов в подполковники по линии, длинные споры о втором приеме на изготовку и опять водка. Кому-нибудь попадается в супе мозговая кость — это называется «оказией», и под оказию пьют вдвое… Потом два часа свинцового сна и вечером опять то же неприкосновенное лицо и та же вечная «па-а-альба шеренгою»… В общем, смотри мою старую повесть «Кэт». Однажды на большом полковом балу в офицерском собрании я познакомился с молодой девушкой. Как ее звали, сейчас не помню — Зиночка или Верочка, во всяком случае не Шурочка, как героиню «Поединка», жену офицера Николаева. Ей только что минуло семнадцать лет, у нее были каштановые, слегка вьющиеся волосы и большие синие глаза. Это был ее первый бал. В скромном белом платье, изящная и легкая, она выделялась среди обычных посетительниц балов, безвкусно и ярко одетых. Верочка — сирота, жила у своей сестры, бывшей замужем за капитаном. Он, состоятельный человек, неизвестно по каким причинам оказался в этом захолустном полку. Было ясно, что он и его семья — люди другого общества…

В эту пору Куприн мнил себя поэтом и писал стихи. С увлечением наполнял разными «элегиями», «стансами» и даже «ноктюрнами» свои тетради, не посвящая никого в эту тайну. Но к

Верочке сразу почувствовал доверие и, не признаваясь в своем авторстве, прочел несколько стихотворений. Она слушала его с наивным восхищением, что сразу их сблизило. О том, чтобы бывать в доме ее родных, нечего было и думать.

Однако подпоручик «случайно» все чаще и чаще встречал Верочку в городском саду, где она гуляла с детьми своей сестры. Скоро о частых встречах молодых людей было доведено до сведения капитана. Он пригласил к себе подпоручика и предложил ему объяснить свое поведение. Всегда державший себя корректно с младшими офицерами, капитан, выслушав Куприна, заговорил с ним не в начальническом, а в серьезном, дружеском тоне старшего товарища.

На какую карьеру мог рассчитывать не имевший ни влиятельных связей, ни состояния бедный подпоручик армейской пехоты, спрашивал он. В лучшем случае Куприна переведут в другой город, но разве там жить на офицерское жалованье — сорок восемь рублей в месяц — его семье будет легче, чем здесь?

— Как Верочкин опекун, — закончил разговор с Куприным капитан, — я дам согласие на брак с вами, если вы окончите Академию Генерального штаба и перед вами откроется военная карьера…

— И вот как Николаев в «Поединке», — рассказывал Марии Карловне Куприн, — я засел за учебники и с лихорадочным рвением начал готовиться к экзаменам в академию. С мечтой стать поэтом я решил временно расстаться и даже выбросил почти все тетради с моими стихотворными упражнениями, оставив лишь немногие, особенно нравившиеся Верочке…

Летом 1893 года Куприн уехал из Проскурова в Петербург держать экзамены.

В Киеве на вокзале он встретил товарищей по кадетскому корпусу, они убедили его на два дня остановиться у них, чтобы вместе «пошататься» по городу.

На следующий день утром вся компания отправилась на берег Днепра, где на причаленной к берегу старой барже каким-то предприимчивым коммерсантом был оборудован ресторан. Офицеры заняли свободный столик у борта и потребовали меню. В это время к ним неожиданно подошел околоточный.

— Этот стол занят господином приставом. Прошу господ офицеров освободить места.

Между офицерами и полицейскими чинами отношения всегда были натянутые. Знаться с полицией офицеры считали унизительным, и поэтому в Проскурове даже пристав не допускался в офицерское собрание.

— Нам освободить стол для пристава? — зашумели офицеры.

— Ступай ищи ему другой!

Околоточный вызвал хозяина и запретил ему принимать заказ. Тогда в воздухе мелькнули ноги околоточного, и туша его плюхнулась в воду за борт. Баржа стояла на мелком месте, и, когда околоточный поднялся, вода оказалась ему чуть выше пояса. А он весь был в песке и тине.

Публика хохотала и аплодировала. Околоточный выбрался на берег и, снова поднявшись на баржу, составил протокол «об утопии полицейского чина при исполнении служебных обязанностей»…

Два бурных дня, проведенных в Киеве, основательно подорвали скудные средства подпоручика. И, приехав в Петербург, он питался одним черным хлебом, который аккуратно делил на порции, чтобы не съесть сразу. Он познакомился с несколькими офицерами, так же, как и он, приехавшими из глухих провинциальных углов держать экзамены в академию, но тщательно скрывал от них свою свирепую нищету. Он придумал для них богатую тетку, жившую в Петербурге, у которой, чтобы ее не обидеть, должен был ежедневно обедать. Свою порцию хлеба Куприн съедал в сквере, где в этот час не было гуляющей публики, а только няни с детьми.

Иногда, впрочем, он не выдерживал соблазна и отправлялся в съестную лавочку, ютившуюся в одном из переулков старого Невского.

— Опять моя тетушка попросила меня купить обрезков колбасы для ее кошки, — улыбаясь, обращался к лавочнице подпоручик. — Уж вы, пожалуйста, выберите кусочки получше, чтобы она не ворчала…

Самые трудные экзамены прошли благополучно. Куприн был уверен, что так же хорошо сдаст и остальные. Но вот неожиданно его вызывают к начальнику академии, который зачитал Куприну приказ командующего Киевским военным округом генерала Драгомирова. В конце приказа объявлялось, что за оскорбление чинов полиции при исполнении ими служебных обязанностей подпоручику 46-го пехотного Днепровского полка Куприну воспрещается поступление в Академию Генерального штаба сроком на пять лет.

Мечты о «блестящей военной карьере» рушились. Верочка была потеряна…

— На другой день, — рассказывал Марии Карловне Куприн, — я продал револьвер, чтобы рассчитаться с хозяйкой квартиры и купить билет до Киева. Когда я садился в вагон, в моем кошельке оставалось несколько копеек… Увы, — усмехнулся он, — не очаровательная Верочка, а немолодая, увядшая дама, жена

капитана, — назовем ее госпожой Петерсон, — была в полку моей музой… И оказался я с ней только потому, что молодым офицерам было принято непременно «крутить» роман… Над теми, кто старался избежать этого, изощрялись в остроумии…

— Но когда же ты все-таки плотно сядешь за работу? — суховато осведомилась Мария Карловна, задетая простодушием, с которым муж посвящал ее в подробности своей давней интимной жизни.

— Когда ты выздоровеешь, Машенька, — мгновенно ответил Куприн с такой чистотой и пылкостью, что Марии Карловне стало неловко за свой тон. — Конечно, это будет мальчик, сын, мой сын… Какое это таинство — рождение человека! Мы назовем его Алешей в честь Алексея, «божьего человека», нищего странника, который, неузнанный, жил в отчем доме в хлеву и к которому как к праведнику стекался за наставлениями народ…

Третьего января 1903 года у Марии Карловны родилась дочь Лидия.

4

— Нет, это совершенно невозможно! — Куприн сидел напротив жены, обхватив колени ладонями, усталый и злой.

Мария Карловна молча передала двухмесячную Люлюшу няне Ольге Ивановне, добродушной старушке в чепце, и глазами попросила ее выйти из детской.

— Машенька, пойми! — Куприн дал волю кипевшим в нем чувствам. — Я больше не в состоянии отбывать повинность на редакционных совещаниях! Торчать в накуренной комнате с опущенными шторами, электрическими лампами и стаканами недопитого чая на столах! Никому не нужный спектакль! Вот они, действующие лица: наш рассудительный Федор Дмитриевич, всякий раз предлагающий, чтобы автор разбираемого произведения изложил тот или иной эпизод «ретроспективно»; наш ученый Михаил Неведомский, который, напротив, утверждает, что прямое изложение факта, показанное «импрессионистически», производит наибольшее впечатление; наш либеральный Владимир Павлович Кранихфельд, не соглашающийся ни с одним из мнений предыдущих критиков; и наконец, наш мудрый Богданович, который терпеливо выслушает всех, но все равно поступит по-своему… Дважды в неделю, ты понимаешь, Машенька, дважды в неделю мое рабочее настроение

безнадежно испорчено. Я беру в руки перо, а в ушах у меня повторяется: «Ретроспективный взгляд, ретроспективный взгляд… импрессионистическое настроение…» И, отчаявшись в возможности написать что-нибудь путное, я уже хочу закатиться на острова… А мой «Поединок»? Что будет с ним?

— Что же ты предлагаешь? — Мария Карловна спокойно и твердо посмотрела в глаза мужу.

Опустив голову, тот пробормотал просительно:

— Если я на время не брошу работу в журнале и не уеду из Петербурга, который терпеть не могу, я «Поединок» не напишу. Прошу тебя, Маша, не удерживай меня и пойми, что уехать мне необходимо…

Мария Карловна ответила ровным голосом:

— Конечно, Саша. Поезжай в Крым. Здесь и без тебя обойдутся. Твоя повесть — это главное…

Через два дня Куприн с небольшим кожаным баулом уже трясся на татарской линейке, увозившей его из Севастополя в Мисхор.

…Пустой ветреный мартовский Крым, пустое холодное зеленоватое море, чтобы увидеть которое, утром Куприну не нужно было даже поднимать голову с подушки. Двухэтажная дача Давыдовых стояла высоко на горе.

Он вставал очень рано, выбегал к речушке Салгир, протекавшей в нескольких саженях от дачи, и принимал ледяной душ с помощью садовой лейки. Затем на собственноручно врытых параллельных брусьях с азартом выполнял разнообразные гимнастические упражнения. Бодрый, веселый, он возвращался на дачу, съедал нехитрый завтрак и наверху, в залитой солнцем комнате садился за рукопись.

Работалось легко, споро. Словно все, что давно требовало выхода, теперь полилось наружу. Свобода! Как ни хорошо с любимым и любящим человеком, но одно сознание, что никто не стоит над душой, что ты наедине с чистым листом бумаги, что за окном стеной встает море, что в комнате крепко и добро пахнет морским воздухом, заставляло его иногда смеяться от бессознательного расцветающего в нем восторга.

Память работала четко, картины военной жизни в маленьком заштатном городке появлялись одна за другой, воскрешая давние годы офицерской молодости. Когда умирал набиравший силу весенний день, над Мисхором воцарялась глубокая, полная, совершенная тишина. Куприн выходил на балкон и весь поглощался мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода была так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражались в ней, не рябясь и не мигая.

Внизу, под обрывом молчала огромная пустая дача богача Кульчицкого; выше Куприна затаилась, мерцая редкими огоньками, татарская деревушка. Изредка можно было расслышать, как хлюпнет маленькая волна о камень. И этот одинокий мелодичный звук еще больше усугублял, еще более настораживал тишину. Куприн слышал, как размеренными толчками шумела кровь в ушах. Вот скрипнула лодка на своем канате, и опять тихо. Ночь и молчание слились в одном черном объятии.

Душой его овладевала тихая, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он испытывал, когда его чувств касалось что-нибудь истинно прекрасное: вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе; запах резеды, ландыша и фиалки; музыка Шопена; созерцание скромной, как бы не сознающей себя женской красоты; ощущение в своей руке детской копошащейся и хрупкой ручонки…

И вот постепенно в творческом сне Куприн начинал видеть себя молодым, чистым и вспыльчивым, добрым и резким, сильным и слабым двадцатидвухлетним подпоручиком. К нему являлись однополчане — офицеры из 46-го Днепровского пехотного полка, которых он наделил лишь другими именами: лысый усатый поручик Веткин, стройный мальчишка подпрапорщик Лбов, лихой рубака, жестокий и волевой черкес поручик Бег-Агамалов, опустившийся старый холостяк капитан Слива, любимец солдат, образцовый командир пятой роты капитан Стельковский и, наконец, романтик, доморощенный ницшеанец поручик Казанский. Куприн видел жалкого, забитого солдатика Хлебникова, который ищет смерти на железнодорожных путях. Восхищался очаровательной Шурочкой Николаевой, готовой на все ради единственной цели — вырваться из провинциального захолустья, из пошлости и грязи гарнизонного быта. Он видел себя перед рыкающим стариком, слышал грозный, громоподобный голос командира полка, который разносит поручика Ромашова.

В слабого Ромашова Куприн вложил *свои* чувства, свой бешеный, подчас неукротимый темперамент. Вышколенный в Московском кадетском корпусе и Александровском юнкерском училище, прошедший великолепную военную выучку, Куприн (как и его Ромашов) мог мгновенно вспыхнуть, почувствовав себя несправедливо оскорбленным, заподозренным в чем-то постыдном или гнусном…

«— Вот вы в прошлом году, не успев прослужить и года, просились, например, в отпуск. Говорили что-то такое о болезни вашей матушки, показывали там письмо какое-то от нее… Что ж,

я не смею, понимаете ли — *не смею* не верить своему офицеру. Раз вы говорите — матушка, пусть будет матушка. Что ж, всяко бывает. Но знаете — все это как-то одно к одному, и понимаете…»

И в корпусе, и в училище, и потом в полку с Куприным не раз случалось то, что произошло затем с Ромашовым. Сперва у подпоручика начало дрожать правое колено, а затем задрожало непроизвольным нервным движением все тело. Но это был не страх, не испуг, а предвестник взрыва, когда чувства выходят из повиновения, когда в горячке, уже не участвует сознание. После слов полковника о матери кровь горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову, и дрожь мгновенно прекратилась.

«В первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу Шульговичу с ненавистью, с твердым и — это он сам чувствовал у себя на лице — с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделяющую маленького подчиненного от грозного начальника. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески. Густой голос командира упал в какую-то беззвучную глубину… Странный, точно чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову: «Сейчас я его ударю», — и Ромашов медленно перевел глаза на мясистую, большую старческую щеку и на серебряную серьгу в ухе, с крестом и полумесяцем…»

Куприн схватился за поручни балкона, с трудом возвращаясь к действительности. Тишина. Мрак. В деревушке погасли последние огоньки. Таинственной живой массой тихо плескалось и перемещалось внизу море. Дуновение ветерка доносило откуда-то с гор нежный запах первой сирени. Куприн шел спать, но и во сне не расставался с Ромашовым, с его переживаниями…

Как-то в один из редких перерывов в запойной работе Куприн сидел у самой кромки моря, глядя вдаль, туда, где вода незаметно переходила в небо.

Как он любил море! «Оно волнует, привлекает меня, — думал он, — безграничным простором и своевольными капризами. В море человек остается наедине с небом и водой — безмолвными свидетелями и человеческой слабости, и человеческой отваги. Эх, если бы не «Поединок», взять лодку под парусом и пойти вдоль берега до самого Севастополя!..»

— Вы не подскажете… Я так пройду на Ялту?

Высокий молодой оборванец, черный, как жук, улыбаясь, стоял над ним. Лицо цыгановатое, в глазах пляшут сумасшедшинки.

— А вы что же, на своих двоих в Ялту катите? — ответил улыбкой на улыбку Куприн.

— Путешествую по Крыму безо всякой надобности… Человек веселый и, безусловно, благородный.

Куприн поднялся с корточек, стряхнув налипшие к брюкам песчинки и мелкую ракушку, протянул руку:

— Уважаю независимых и гордых людей. Будем знакомы — Куприн…

— Маныч Петр Дмитриевич, — с готовностью отозвался бродяга. — А вы чем здесь промышляете? На дачника вроде непохожи, да и не сезон еще для дачников… Может, картинки рисуете с натуры или актер будете?

— Почти в точку попал! — хлопнул его Куприн по худому сильному плечу. — Пойдем-ка ко мне перекусим да поближе познакомимся.

За самодельным обедом, за кислым татарским вином Куприн сказал:

— Сходи-ка, Петр Дмитриевич, в деревню к рыбакам, да и договорись назавтра, чтобы с утра была у нас лодка под парусом… Проветримся на Черном море…

Маныч так и остался в Мисхоре, выполняя при Куприне разнообразные «адъютантские» обязанности.

В Петербург Куприн вернулся вместе с Манычем и шестью главами «Поединка»…

Вечером он читал Марии Карловне написанное, чутко следя за ее реакцией, даже за выражением лица: вкусу жены Куприн верил беспрекословно. В один из дней он добрался уже до пятой главы, рассказывающей о встрече Ромашова с Казанским.

«Пройдет двести-триста лет, и жизнь на земле будет невообразимо прекрасна и изумительна. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, мечтать о ней.

— Вы говорите, через двести-триста лет жизнь на земле будет прекрасна, изумительна? Но нас тогда не будет, — вздохнул Ромашов».

Поглядев на жену, Куприн встревоженно прервал чтение.

— В чем дело, Маша? Тебе не нравится?

— Да нет, мне все это нравится, но я не понимаю, почему в монолог Назанского ты вставил Чехова, — с недоумением сказала Мария Карловна.

— Как Чехова? — вскрикнул Куприн и побледнел.

— Но это уже у тебя почти дословно из «Трех сестер». Разве ты не помнишь слова Вершинина?

— Что? Я… я, значит, взял это у Чехова?! У Чехова? — Он вскочил. — Тогда к черту весь «Поединок»… — И, стиснув зубы, стал рвать рукопись на клочья.

Не сказав более ни слова, Куприн вышел из комнаты. Мария Карловна слышала, как он позвал Маныча и покинул квартиру. Домой он вернулся только под утро.

В течение нескольких недель она без ведома Куприна подбирала и склеивала папиросной бумагой мелкие обрывки рукописи. Работа была очень кропотливой, требовавшей большого внимания, и восстановить рукопись удалось только потому, что Мария Карловна хорошо знала содержание глав. Черновиков у Куприна не было: он уничтожал их, как и варианты своих произведений, чтобы они больше не попадались ему на глаза.

Месяца через три Куприн сказал жене извиняющимся тоном:

— Там все-таки было кое-что недурно написано. Пожалуй, можно было бы и не уничтожать всю рукопись…

Мария Карловна молча подошла к бюро и вынула из ящика восстановленные ею страницы.

— Машенька! Это же чудо! Волшебство! Точно в счастливом сне! — Куприн бросился ее целовать.

Он перебирал страницы, смеялся детским смехом и целый день ходил в приподнято-торжественном настроении. В ознаменование сказочного спасения первых шести глав «Поединка» Манычу было ведено заказать в ресторане «Европейский» отдельный кабинет. Было много выпито, говорено, обещано…

К работе над «Поединком» Куприн вернулся, однако, лишь через долгих полтора года.

5

Все говорило о близости большой войны: массовые закупки русскими офицерами лошадей в Маньчжурии, высылка японских граждан из Владивостока, тайные совещания микадо со старыми государственными деятелями, продолжавшиеся и ночами, взаимная демонстрация сил. Япония, уверенная в своем военном превосходстве, вела себя вызывающе: она отозвала посольство из Петербурга и делегацию с переговоров. Флот, приведенный в боевую готовность, группировался на базах, находящихся на расстоянии суток пути от Порт-Артура и Владивостока. Токийский корреспондент «Берлинер тагесблат» мрачновато острил: «Все воробьи на крышах свистят вопросительно: «Война? Война?»

Куприн, не очень-то глубоко вникавший в политику, начинал

теперь день со свежих газет, жадно глотая сообщения с Дальнего Востока. Чутьем военного человека он предвидел, что развязка настанет гораздо раньше, чем полагают газетчики, и не ошибся. В ночь на 27 января японские миноносцы внезапно вероломно атаковали русскую эскадру, беззащитно стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур. 30 января император Николай II выступил с манифестом, официально подтвердившим начало войны с Японией.

По заснеженному Невскому к Дворцовой площади текли толпы с трехцветными хоругвями и знаменами, от Зимнего слышались крики, всплески национального гимна. В столице несколько дней продолжались патриотические манифестации. Куприн ехал на санках, рассеянно вглядываясь в молодые румяные и бледные лица студентов, морщился от громогласного «ура». На душе было смутно. В декабре он перенес тяжелый тиф, чувствовал порой вперемежку с подъемом сил слабость, головокружение. Дурное настроение подогревалось мелкими, но въедливыми неприятностями.

Узнав, что 17 января в Художественном театре состоится премьера «Вишневого сада», он, несмотря на настоятельные возражения Марии Карловны, кинулся в Москву. Чехов оставался для него божеством. Все билеты на спектакль были давно распроданы, и Куприн послал записочку Чехову в надежде на его ответ. Но разговаривал с ним почему-то администратор и билет обещал чуть не на галерку. Куприн обиделся, уехал на несколько дней к сестре Зине в Троицкий Посад, куда вызвал Марию Карловну. Однако и ее приезд не вывел его из стойкой ипохондрии.

Странное дело! Внешне все шло у них прекрасно, лучше некуда. Росла Лидочка — Люлюша, радуя ласковостью, пытливостью, вызывая острые отцовские чувства. Мария Карловна была внимательна, нежна. Так отчего же она временами так раздражала его? Властная, волевая, слишком рациональная…

У подъезда, где жил Мамин-Сибиряк, Куприн расплатился с извозчиком и, поднимаясь по лестнице, вдруг поймал себя на том, что смутное волнение, ожидание чего-то, неясное и тревожное, охватило его. «Офицерское суеверие, — пробормотал он. — Или нервишки расшалились, стали сдавать?..»

Ему отворила дверь девушка в костюме сестры милосердия, темноволосая, с бледно-матовым точеным лицом и большими серьезными глазами. Глядя в землю, на ходу она сообщила, что Дмитрий Наркисович себя чувствует очень плохо.

Действительно, хозяин лежал в постели и держал на весу забинтованную руку, которую вывихнул при неудачном падении.

Кроме того, ночью он перенес сердечный припадок.

— Не знаю, как жив остался, — заявил Мамин, неловко здоровой рукой снимая и протирая очки. — Если бы не Лиза, быть бы мне в селениях райских…

— Какая Лиза? — удивился Куприн.

— Да разве ты ее сейчас не встретил?

— Сестра милосердия? Так это Лизочка? Сестра твоей покойной Маруси? Как она выросла! Какая красавица!

— Смотри не влюбись… — Дмитрий Наркисович кое-как нацепил очки и быстро, внимательно поглядел на гостя.

— Куда там! — добродушно засмеялся Куприн. — Она прошла и даже глаз на меня не подняла.

— Девушка очень волнуется, — вздохнул Мамин. — Уезжает на Дальний Восток на войну… Отправляется по своему желанию, а все-таки сердечко ноет перед разлукой — Аленушку жалко…

Аленушка осталась сиротой: жена Мамина Мария Морицовна умерла через два дня после ее рождения. Дмитрий Наркисович любил маленькую дочь без памяти.

Поговорили на расхожие темы — о войне, о «желтой опасности», о первых поражениях. Вошла Лиза Гейнрих, тоненькая, изящная, грустная, и предложила принести обед Мамину в постель.

— Что ты, голубушка! — У Дмитрия Наркисовича, повеселевшего после прихода Куприна, борода встала торчком. — Накрывай-ка в столовой, а я с помощью Александра Ивановича уж как-нибудь приползу.

Куприн провел у Мамина целый день, чувствуя с возрастающим удивлением, что Лиза не шутя волнует его. «Что за нелепость? — корил он себя. — Ты же для нее старик, а главное — ты отец семейства, счастливый муж…» Но, уезжая, просил Лизу написать о себе *оттуда*, с Дальнего Востока. Что-то тронулось — он чувствовал это — в душе, словно ему было обещано, что полоса неприятностей наконец кончается, обещая впереди свет…

6

Чехов — Куприну.

«Милый Александр Иванович, мне передавали, что Вы сердитесь на меня за то, что я не дал Вам билета на «Вишневый сад» (17 января) или пообещал место, которое показалось Вам чуть не галереей. Уверяю Вас честным словом, у меня до

последнего момента хранился для Вас билет 2-го (или даже, кажется, 1-го) ряда, что я ждал Вас и очень пожалел, когда мне сказали, что Вы уехали в Троицкую лавру по какому-то делу, внезапно Вас туда потребовавшему. Галереи я не мог предложить Вам; я мог предложить только партер или место в первом ряду бель-этажа.

Я приехал в Москву, нездоров! Собираюсь читать Ваш рассказ в «Мире божьем».

Не собираетесь ли Вы на войну? Может ли случиться, что Вас возьмут туда?

Крепко жму руку, будьте здоровы и благополучны.

Ваш А. Чехов».

7

Как мучительно стыдно было Куприну! «Да разве я имел право, — корил он себя, — требовать какого-то особенного внимания от человека, который с большим волнением, да еще больной, переживал премьеру такой пьесы, как «Вишневый сад»?..»

Это было последнее чеховское письмо, полученное Куприным. 2 июля 1904 года Чехова не стало.

Его смерть выбила Куприна из рабочего настроения, он снова отложил рукопись «Поединка».

— Пока не напишу воспоминаний о Чехове, — сказал он Марии Карловне, — к беллетристике не вернусь…

Он приехал к жене в Крым, в Балаклаву, где она снимала три комнаты, после крупной размолвки, почти разрыва. В Петербурге в литературных и светских салонах уже вовсю говорили об их разводе, жалели Марию Карловну и порицали Куприна за его несносный характер, вспыльчивость, неуживчивость. А он, притихший, подавленный, начинал и бессильно бросал очерк о любимом писателе — никак не получалось.

— Ты знаешь, Машенька, не могу найти верного тона, — жаловался Куприн. — Опасаюсь быть слишком сентиментальным, пишу сухо и холодно. И выходит что-то вроде газетного сообщения или казенного некролога… Мой знакомый журналист рассказывал мне, что, когда в печать проникли сведения о болезни Толстого, сейчас же заскрипели перья и в письменный стол редактора была положена на всякий случай статья, начинавшаяся словами: «Он умер… и перо вываливается из

рук…» Должно быть, эта статья по сию пору хранится в ящике редактора, терпеливо ожидая своего часа…

Он уходил в другую комнату, садился за простой некрашеный стол, подвигал стопку чистой бумаги и с пером в руке вспоминал дорогой образ. Но находил в себе лишь ровное, тупое, печальное сознание того, что Чехова нет. Снова начинал писать — получалось приподнято, высокопарно, а ведь Чехов не терпел пафоса и утрированного выражения чувства.

Куприн не сдавался. Он комкал, швырял листок, писал снова и снова комкал, рвал. Чувствовалось, что только тогда, когда он сможет вспоминать о Чехове спокойнее, удастся и свободно писать, воспоминания станут проще и правдивее. Смывая узор дешевых обоев на освещенной веселым балаклавским солнцем стене, перед Куприным, как в лучах волшебного фонаря, возникала знакомая панорама Ялты, белый чеховский домик, ручной грифельного цвета журавль и высокая, немного печальная фигура самого Чехова. «Александр Иванович, вы очень талантливы… — покашливая, говорил он со стены. — Одно с вами трудно, слишком уж вы мнительны… Не знаешь, за что вдруг обидетесь…» — «Ваша правда, Антон Павлович», — шептал Куприн. «Нельзя, чтобы человек обижался! — слабо улыбаясь, укорял Чехов. — Себя упрекаешь — не сказал ли чего ненужного, не задел ли нечаянно? А у вас душа сложная, наболевшая…»

Незаметно втянувшись в сон воспоминаний, Куприн трудился с таким напряжением и самозабвенностью, что даже не зачитывал написанного Марии Карловне. Лишь временами выходил к ней на минутку, чтобы вспомнить какую-нибудь неожиданную подробность из разговоров с Чеховым.

Когда очерк «Памяти Чехова», предназначавшийся для 3-й книги сборника «Знание», был наконец закончен, он вернулся к рукописи «Поединка».

Теперь, после незримого общения с Чеховым, работа и над романом пошла споро. Куприн быстро отделал набело первые шесть глав, лишь перестроив композицию и приписав новое начало, а затем отослал их Горькому и Пятницкому. Он начерно набросал главу седьмую — обед у Шульговича, принялся за восьмую, однако молчание издателей его, и без того мнительного, постоянно мучило. Куприн просил Пятницкого сообщить ему мнение Горького о «Поединке», но ответа все не было…

Отдохновение, забвение всех неприятных мыслей несло с собой море.

В Балаклаве Куприн скоро сошелся с просоленными и задубевшими от морских ветров рыбаками — удалым атаманом

Колей Костанди, Юрой Капитанаки, Юрой Паратино. Он купил сеть и мережки, вошел в пай с артелью и зажил общей с рыбаками жизнью. Эти добрые и простодушные люди ничего не знали о его профессии, лишь кое-кто из них слышал, что Куприн — «писарь». Весною они ловили мелкую камсу, летом — уродливую камбалу, осенью — макрель, жирную кефаль и устриц, а зимой — десяти- и двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега.

Куприн гордился их доверием, угощал новых друзей крепким кофе, а после удачного улова — вином в восточном кабачке, где закусывали улитками, петалиди, мидиями, большими бородавчатыми чернильными каракатицами и другой морской гадостью.

— Эй, пепендико! Мальчик! — с порога звал он гречонка-слугу, и вся артель устраивалась за столом.

— Купринь-то свой, обжился возле нас, — переговаривались рыбаки, в простых душах которых быстро родились ответные доброта и доверие…

Наступила глубокая осень. Неотложные дела журнала торопили Марию Карловну в Петербург. Накануне отъезда она решительно заявила мужу:

— Саша! Нам невозможно возвращаться вместе. Все уже знают о нашем разрыве, и с этим мнением придется считаться…

Куприн напряженно, новыми глазами поглядел па жену. «Жестока ты, Маша, жестока…» — хотелось сказать ему и добавить еще о грибоедовской княгине Марье Алексевне. Но он смолчал, только желваки заходили под кожей.

— Ты снимешь себе холостую комнату, гарсоньерку, — ровным голосом продолжала Мария Карловна, словно не заметив, какое впечатление произвели ее слова, — и будешь работать над «Поединком». А я стану навещать тебя. Хорошо? И ты можешь приходить ко мне. Но так, чтобы нас не видели вместе…

8

Комнату Куприну снял верный Маныч на Казанской улице, недалеко от Невского. Она была большая, светлая, с двумя окнами, выходившими на открытый чистый двор, и приличной обстановкой: кровать за высокой ширмой, платяной шкаф, диван с двумя мягкими бархатными креслами. Между окнами стоял письменный стол, а рядом в углу — белая гипсовая фигура

девушки с корзиной цветов. Она служила Куприну вешалкой для мелких вещей его туалета.

Вечером, поработав над рукописью, он шел домой, в квартиру Давыдовых. Поднимался по черной лестнице, проходил через кухню и коридор в комнату Марии Карловны, чтобы не встретиться с ее знакомыми, которые в столовой могли пить чай или ужинать после театра. Утром, после завтрака, он уходил к себе на Казанскую. К новому 1905 году Куприн закончил десятую главу и внес небольшие изменения в рассказ «В казарме», который стал одиннадцатой главой «Поединка». Ефрейтор Верещака, который «репетил» словесность с новобранцами, стал в «Поединке» ефрейтором Сероштаном.

— Как мне хорошо и спокойно работается, — говорил Куприн жене, потирая руки.

Но вскоре вездесущие друзья прознали, что он поселился в гарсоньерке и ведет холостой образ жизни. Примерно с середины «Поединка», с главы четырнадцатой, работа у Куприна пошла очень медленно. Он делал большие перерывы, которые беспокоили Марию Карловну.

После его очередного кутежа она непреклонно сказала:

— Ты пропустил много времени, и тебе все труднее и труднее приняться за работу. Мириться с этим я больше не намерена. И вот мое твердое решение: пока не будет готова следующая глава, домой не приходи.

Куприн, не подымая головы, медленно ответил:

— Пишу очень медленно, Маша. Как я закончу повесть, еще не знаю, и это меня мучает. Могу приносить тебе не более двух-трех страниц новой главы.

Теперь домой «в гости» Куприн приходил отдыхать только тогда, когда у него была написана новая глава или хотя бы часть ее. Однажды он принес Марии Карловне несколько старых страниц. Утром она заявила ему:

— Так обманывать меня тебе больше не удастся! — И распорядилась укрепить на внутренней двери кухни цепочку. Куприну приходилось, прежде чем попасть в квартиру, просовывать в щель рукопись и ждать, пока она пройдет цензуру Марии Карловны. Если это был новый отрывок из «Поединка», дверь отворялась.

Куприн молча страдал. Болезненно самолюбивый, он чувствовал себя униженным вдвойне, работа валилась из рук. А побывать в семье ему очень хотелось, и он опять пришел со старыми страницами, надеясь, что Мария Карловна их забыла.

Он просунул листки в черную щель и сел на лестнице, проклиная себя за безволие, вновь ощутив себя маленьким

кадетом, которого отправят в карцер. Голос Марии Карловны с мягкой непреклонностью прозвучал из-за двери:

— Ты ошибся, Саша, и принес мне старье. Спокойной ночи! Новый кусок принесешь завтра.

Дверь захлопнулась.

— Машенька, пусти, я очень устал и хочу спать. Пусти меня, Маша… — Голос Куприна дрожал.

Ответом было молчание.

Он сидел на ступеньке, обхватив голову руками, и беззвучно плакал.

— Какая ты жестокая… безжалостная…

Куприн поднялся и медленно пошел вниз.

9

Занятый работой над «Поединком», которая становилась все более и более мучительной, Куприн чувствовал себя ослепшим и оглохшим: все, что творилось на улице и врывалось в форточку, не долетало до него. Он не раскрывал газет, со страниц которых вопреки цензурным рогаткам доносились отзвуки надвигавшейся революционной бури. И кровавые события 9 января 1905 года застали его совершенно врасплох, сперва подавили, а потом вызвали гнев и ярость.

Вбежав в квартиру жены, он едва не сбил с ног выходившего из прихожей человека в шапке, низко надвинутой на глаза, и все же успел быстрым писательским взглядом схватить его очень бледное с серым оттенком лицо, со свисавшими на лоб, до самых бровей прямыми, темными, слипшимися от пота волосами и глубоко сидящими черными глазами. Не извинившись перед незнакомцем, Куприн крикнул с порога: — Маша! Ты не можешь себе представить, что творится на улицах! На Дворцовой площади расстреляли мирную демонстрацию рабочих! Подумай только, какая выдумка — идти с иконами к царю! А этот дурак ничего не понял и приказал стрелять в безоружных людей… Рассказывают о каком-то священнике Гапоне, который шел во главе демонстрации… А кто у тебя был?

— Не знаю, — пожала плечами Мария Карловна. — Миклашевский кого-то приводил.

В последние дни Мария Карловна частенько выполняла поручения легального марксиста, критика Миклашевского-Неведомского и его друзей: то ей передавали на хранение какой-

то пакет, то предупреждали, что, если к ней на квартиру явится неизвестное лицо с запиской от них, его следует направить по такому-то адресу.

— Однако твой инкогнито знатный водохлеб, — улыбнулся Куприн, видя множество пустых стаканов на столе. — С коньяком я бы тоже выпил чаю…

Снова и снова возвращаясь к кровавой бойне на Дворцовой площади, Куприн сказал, что в Петербурге ему работать теперь вовсе невозможно. Он не усидит над рукописью и будет рваться на улицу, в толпу.

— Поезжай в Сергиев Посад, — предложила Мария Карловна. — Там сейчас тишина. Помнишь, как мы с тобой в прошлом году ездили по окрестностям Москвы и осматривали старинные монастыри, в которых когда-то подолгу гостили митрополиты?

— Еще бы! — отозвался Куприн. — Я купил у монахов несколько маленьких икон — «Нечаянная радость», «Неопалимая купина», «Встреча Авраама с двумя ангелами»…

Во второй половине января он уже был в Сергиевом Посаде, бродил возле знаменитой башни, со времен Петра Великого прозванной «Утиная», стоял в толпе возле ракии преподобного Сергия Радонежского. Он любил этот уголок Москвы XVI столетия, эти красные и белые стены с зубцами и бойницами, ернический торг на широкой площади, расписные троичные сани, управляемые ямщиками в поддевках и в круглых шляпах с павлиньими перьями: «Купец, пожалуйте!..» — и блинные ряды, и бесконечное множество толстых, зобастых и сладострастных святых голубей, и монахов с сонными глазами, большим засаленным животом и пальцами, как у новорожденного младенца — огурчиком, и пряничных коней и деревянных кукол — произведения балбешников, и многое другое, пестрое и неповторимое, как старая и бесконечно родная Русь.

Творческий настрой возвращался, Куприн теперь работал легко и помногу, тревожась только одним: почему молчит Мария Карловна. Ему казалось, что никакие ветры не донесут до сытого и богомольного Сергиева Посада волнений и тревог, переживаемых обеими столицами. Между тем в близкой Москве полиция не дремала. Под особый надзор были поставлены близкие Горькому писатели. Стало известно, что на Грузинах, на квартире Леонида Андреева происходило заседание большевиков — членов ЦК РСДРП. 10 февраля, на другой день после заседания, Леонид Андреев был арестован и препровожден в Таганскую тюрьму.

Вспомнили и о Куприне.

В четыре утра в дверь его квартиры в Сергиевом Посаде

постучали. Радуясь, что это долгожданная весточка от жены, Куприн босиком побежал по длинному холодному коридору, спрашивая на ходу:

— Да? Телеграмма?

— Да, — раздалось из-за двери. — Телеграмма.

Но вместо почтальона на пороге вырос внушительного вида жандармский унтер-офицер, за ним появились два городовых, дворники и местный полицмейстер. Спустя минут десять вошел и местный жандармский ротмистр — холеное лицо, деланная беспристрастность, небрежность, — чахоточный околоточный и насмерть перепуганный хозяин дома, неуместно носящий имя и фамилию Дмитрий Донской.

— Ты его обыскал? — бросил ротмистр унтер-офицеру, хотя обыскивать человека, на котором была только ночная рубаха, вряд ли имело смысл.

— Так точно, ваше-сс… — на всякий случай ответил унтер.

— Можете одеться, — процедил Куприну жандармский ротмистр.

Однако Куприн ответил, что привык всегда ходить дома в одной ночной рубашке. Тогда жандармский чин уселся за письменный стол Куприна и начал бесцеремонно рыться в дорогих ему письмах, карточках, записных книжках. Сдерживая накипающее негодование, Куприн сел рядом с ним прямо на стол.

— Вы можете взять стул, — предложил ротмистр.

— Это моя привычка — сидеть дома там, где я хочу, — возразил тот. — И потом стул предлагает не гость хозяину, а хозяин гостю.

Словом, у них сразу же установились довольно тяжелые отношения. Ротмистр внимательно и недоверчиво рассматривал листок за листком, пока не наткнулся в купринской записной книжке на следующие знаки:

/-/-/../

—/-/-/../

—/-/-/-/

/../../-/-/

— Да-с, а это что такое? — торжествуя, спросил ротмистр, человек твердый и многосторонне образованный, как подметил Куприн.

— Это, господин полковник, — ответил он, — произошло вот как. Один начинающий, но, увы, окончательно бездарный поэт принес мне стихи. И я доказывал ему на бумаге карандашом, что он начинает хореем, переходит в ямб и вдруг впадает в трехсложное стихосложение.

— Я-ямб? — воскликнул жандармский ротмистр. Ямб-с? Это

мы знаем, какой ямб! Богуцкий, приобщи!

Хозяин потребовал после обыска, чтобы Куприн освободил квартиру. Обыск выбил писателя из рабочей колеи. Он не предполагал, что вскоре столкнется с карательной машиной самодержавия вплотную, когда окажется свидетелем расправы над революционными матросами крейсера «Очаков» на Севастопольском рейде. Возмущенный Куприн выехал в Петербург.

Не пожалев крепких слов в адрес «защитников порядка», он спросил у Марии Карловны о новостях в столице.

— Новостей не перечесть, — ответила она. — Да, ты знаешь, кто был тот человек, которого ты встретил после расстрела демонстрации? Гапон. Его прятали у нас от полиции.

10

Все имеет свой конец, и в затянувшейся работе над «Поединком» он забрезжил Куприну, когда тот завершил и отправил в «Знание» пятнадцатую главу (смотр и провал Ромашова) и шестнадцатую (мысли Ромашова о самоубийстве и встреча на железнодорожных путях с забитым солдатиком Хлебниковым). Только тогда Пятницкий известил его, что Горький хочет с ним повидаться.

…Куприн долго бродил по весеннему Питеру, счастливый, взволнованный состоявшимся разговором. Мартовское сумасшедшее солнце из-за длинных туч опускалось прямо в трубу Балтийского завода. Куприн стоял, опершись на гранитный парапет, не чувствовал вовсе ледяного ветра, несшегося с моря, и снова и снова вспоминал подробности встречи.

Горький показался ему сперва спокойным, даже холодноватым. Он сразу же попросил прочесть вслух новые главы повести, начиная с пятнадцатой. Куприн, желая совладать с волнением и не умея сделать это, начал:

«— Первого мая полк выступил в лагерь, который из года в год находился в одном и том же месте, в двух верстах от города, по ту сторону железнодорожного полотна…»

Его беспокоило то, что Горький ходил взад и вперед по большому кабинету издательства, иногда останавливаясь спиной к окну. Но затем он сам втянулся в знакомый до каждой мелочи сюжет, увлекся переживаниями Ромашова, в которых было так много пережитого им, юным подпоручиком 46-го Днепровского

пехотного полка, и вовсе позабыл о том, что кто-то его слушает.

Вот Ромашов после провала на полковом смотру, оглушенный позором, сидит у полотна железной дороги и вдруг замечает странную, колеблющуюся тень.

«— Хлебников! Ты? — окликнул его Ромашов.

— Ах! — вскрикнул солдат и вдруг, остановившись, весь затрепетал на одном месте от испуга.

Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал: «Вот этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу всему полку. Мы одинаково несчастны».

— Куда ты, голубчик? Что с тобой? — спросил ласково Ромашов и, сам не зная зачем, положил обе руки на плечи солдату…»

Куприн услышал странный горловой звук и поднял глаза от рукописи. На зеленоватых глазах у Горького были слезы. Он махнул рукой: «Продолжайте читать!» — и отвернулся к окну. Когда Куприн закончил чтение, Горький сказал:

— Прекрасная вещь! Она вскрывает язвы всего нашего общественного строя и убеждает читателя в неизбежности революционного пути! И как ярко, художественно! Из всего, что я прочитал и услышал, только одна-единственная деталь вызвала мое несогласие…

— Какая, Алексей Максимович? — Куприн еще не пришел в себя от услышанного и спросил механически.

— У вас в двенадцатой главе Ромашов приходит к подполковнику Рафальскому по прозвищу Брем. Его спальня описана так: — Горький нашел закладку в лежавшей на столе рукописи: — «Они вошли в маленькую голую комнату, где буквально ничего не было, кроме низкой походной кровати, выгнувшейся, точно дно лодки…» А в главе о Назанском сказано: «Вдоль стены у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся дугой кровать…» Но так как у Назанского кровать была железная, она могла вогнуться? А у Рафальского — походная, с натянутым полотном. Здесь следовало сказать: полотно провисало, полотно провисает, а не выгибается…

Куприн почувствовал, что весь покраснел и вспотел от конфуза. Как глупо, конечно, провисало!

— Каким будет конец повести? — поинтересовался Горький.

— По замыслу, — остывая, ответил Куприн, — Ромашов выздоравливает от тяжелой раны, порывает с военщиной и

начинает новую жизнь. Это мой двойник, и я хочу передоверить именно ему все, что испытал сам, через что прошел в годы скитаний. Так видится мне новая вещь — «Нищие»…

Горький, сильно налегая на «о», возразил:

— По-моему, Ромашов себя исчерпал. Вы сослались на то, что он ваш двойник. Но вы-то сами, кроме смены различных профессий, вплоть до мозольного оператора и собачьего парикмахера, открыли в себе талант писателя. — Он положил Куприну на плечо худую сильную руку и густым басом добавил: — По руслу автобиографического течения плыть легко. Попробуйте-ка против течения!..

— Против течения, — повторил Куприн горьковские слова, смутно глядя на серо-синюю массу льда, сковавшего Неву.

— Александр Иванович! — окликнул его знакомый голос. — Да что с вами, право? Вы как в летаргическом сне — никак до вас не добудишься.

Мамин-Сибиряк собственной персоной стоял перед Куприным.

— Слышал, слышал, что написали отличную вещь. Говорил мне Пятницкий, поздравляю!

— Спасибо, Дмитрий Наркисович, — наконец отозвался Куприн и, взяв его под руку, с внезапной для себя живостью спросил: — Что слышно о Лизе Гейнрих? Ничего не стряслось?

Мамин помрачнел.

— Скверная история, — проговорил он, снимая и протирая очки. — Представьте себе: сперва тяжелейший путь до Мукдена. В иркутском туннеле поезд попал в катастрофу — первые жертвы. Потом полевой госпиталь… Лизочка вела себя самоотверженно, была награждена несколькими медалями. Ну а дальше самое неприятное…

— Что? Ранена? Попала в плен? — в страхе сказал Куприн.

— Другая катастрофа, личная. Полюбила молодого врача, грузина. Они обручились. А вы знаете, как чиста и добра Лизочка! И вдруг жених на ее глазах избивает беззащитного солдата и как — с увлечением, со смаком. — Мамин помолчал, словно взвешивая слова, и затем произнес глуше, тише: — Она была так потрясена, что чуть не покончила с собой. Конечно, порвала с женихом и теперь снова живет у нас… Кстати, она спрашивала, как вы, что пишете… Подарите ей «Поединок», когда он выйдет.

Бог мой! Эта тоненькая и чистая девушка, почти девочка стала очевидцем того, о чем Куприн писал в своей повести! Каково же было ей, если этого не смог вынести даже подпоручик Ромашов! Куприн тоже тихо, по твердо проговорил:

— Я бы очень хотел встретиться с ней.

11

В Ясной Поляне у Толстых гостил Репин — маленький, быстрый, рыжеватый, с седеющей эспаньолкой.

Вечером, когда в зале к чаю с фруктами собрались близкие — хозяйка, стройная, полная Софья Андреевна, сын Сергей Львович, Татьяна Андреевна Кузминская и секретарь Толстого Гусев, молчаливый молодой человек в пенсне и с зачесанными назад длинными волосами, — Репин попросил Льва Николаевича что-либо почитать вслух. Тот размышлял недолго:

— Конечно, Куприна… Два небольших рассказа — «Ночная смена» и «Alléz!»…

Читал Толстой бесподобно. Просто, без намека на театральность и даже словно без выражения. Ничего не подчеркивая в «Ночной смене», ничего не выделяя, он как бы давал тем самым писателю возможность самому поведать о недавнем крестьянине и рядовом Луке Меркулове, которого неодолимо тянет в деревню и которому по ночам снятся родной дом, поле, река и весь усеянный «гречкой» мерин. Оставленный дом представляется чуть ли не раем, потому что в солдатах ему хоть пропадай: «Кормят его впроголодь, наряжают не в очередь дневалить, взводный его ругает, — иной раз и кулаком ткнет в зубы, — ученье тяжелое, трудное…»

Кончив читать «Ночную смену», Толстой указал на некоторые места, которые ему особенно понравились, прибавив:

— Ни у какого Горького, ни у какого Андреева вы ничего подобного не встретите. Я был в военной службе, вы не были, — обратился он к Репину, — женщины совсем ее не знают, но все чувствуют, что это правда…

— Ты его знаешь? — спросил Сергей Львович.

— Познакомили меня на пароходе при отъезде из Ялты. Мускулистый, приятный. Мне интересно его описание военной службы.

Репин живо отозвался:

— Еще бы! Куприн — бывший офицер, ему и карты в руки.

— Да, он хорошо знает все, о чем пишет, — согласился Толстой. — Мы тут несколько вечеров подряд читали вслух его «Поединок», очень хорошо, только где пускается в философию, неинтересно.

— Превосходный рассказ, — сказал Репин, — но одни отрицательные типы выведены.

— Полковой командир — прекрасный положительный тип, — возразил Толстой. — Какая смелость! И как это цензура пропустила, и как не протестуют военные? Пишет, что молодой офицер мечтает о том, чтобы, во-первых, метить вверх, если придется стрелять в народ, во-вторых, пойти шпионом-шарманщиком в Германию, в-третьих, отличиться на войне. Он в слабого Ромашова вложил свои чувства.

— А корпусной командир — это Драгомиров, — заметил Сергей Львович.

Толстой согласился:

— Новый писатель пользуется старыми приемами. Дает живое представление о военной жизни.

Затем он начал читать рассказ о трогательной маленькой цирковой наезднице. Но когда дошел до сцены самоубийства, его старческий, слегка альтовый голос задрожал. Толстой отложил книжку в мягком переплете, вынул из кармана серой бумазейной блузы фуляровый платок и поднес к глазам. Рассказ «Alléz!» так и не был дочитан.

Успокоившись, Толстой сказал:

— В искусстве главное — чувство меры. В живописи после девяти верных штрихов один фальшивый портит все. Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. Куприн — настоящий художник, громадный талант. Поднимает вопросы жизни более глубокие, чем у его собратьев…

Отступление третье «ПОЕДИНОК» И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

В грозовой атмосфере первой русской революции была завершена работа над повестью «Поединок». Ход общественных событий торопил писателя. Уверенность в себе, в своих силах Куприн, человек крайне мнительный и неуравновешенный, находил в дружеской поддержке М. Горького. Именно к этим годам, 1904 — 1905-м, относится пора их наибольшего сближения.

М. Горький, стремившийся объединить все самое живое, талантливое в реалистическом крыле русской литературы, писал Бунину в июле 1904 года: «Милый мой друг — нам, четверым (то есть Горькому, Бунину, Андрееву и Куприну), надо чаще встречаться друг с другом, право, надо!» Именно в это время у Куприна просыпается глубокий интерес к политической жизни страны. И благодарное признание, вырвавшееся в письме к Горькому сразу после завершения работы над «Поединком»: «Теперь наконец, когда все окончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился от Вас и как я признателен Вам за это», — свидетельство о том, что именно Горький убеждал его окунуться в плодотворную гражданственную стихию.

Предназначавшаяся сперва для «Мира божьего» повесть «Поединок» была передана Куприным в издательство «Знание» и вышла с посвящением Горькому в мае 1905 года, вскоре после тяжелых и позорных поражений русского самодержавия в войне с Японией. 20 тысяч экземпляров шестого сборника «Знание», в котором главное место занимала повесть Куприна, разошлись мгновенно, так что через месяц понадобилось новое издание. Правда о царской армии несла в себе приговор и тому строю, который армия призвана была охранять.

Анализируя события русско-японской войны, В. И. Ленин писал: «Бюрократия гражданская и военная оказалась такой же тунеядствующей и продажной, как и во времена крепостного права. Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. Темнота, невежество, безграмотность, забитость крестьянской массы выступили с ужасающей откровенностью при столкновении с прогрессивным народом в современной войне, которая так же необходимо требует высококачественного человеческого материала, как и

современная техника… Военное могущество самодержавной России оказалось мишурным. Царизм оказался помехой современной, на высоте новейших требований стоящей, организации военного дела, — того самого военного дела, которому царизм отдавался всей душой, которым он всего более гордился, которому он приносил безмерные жертвы, не стесняясь никакой народной оппозиции. Гроб повапленный — вот чем оказалось самодержавие в области военной защиты, наиболее родной и близкой ему, так сказать, специальности»2.

В «Поединке» «гидра милитаризма» обрисована жесткими и точными штрихами. Ротная школа, где полуграмотные унтеры обучают солдат «словесности», угрожая непонятливым «разгладить морду»; бессмысленно-однообразные занятия на плацу; казенное веселье солдат, поющих браво-примитивную песню:

Для расейского солдата
Пули, бонбы ничего.
С ними он запанибрата,
Все безделки для него…

— и бесчеловечность «господ офицеров» в обращении с «серой скотинкой». Куприн вскрыл в своей повести причины ужасающего состояния бесправной солдатской и опустившейся офицерской массы.

По своим, так сказать, чисто человеческим качествам офицеры купринской повести — люди очень разные. Мы не поверим поручику Назанскому, в романтическом азарте восклицающему, что плохих людей нет вообще. Однако почти каждый из офицеров обладает необходимым минимумом «добрых чувств», причудливо перемешанных с жестокостью, грубостью, равнодушием. Но, во-первых, «добрые чувства» эти до неузнаваемости искажены кастовыми предрассудками. А во-вторых, как говорил в горьковских «Врагах» старый рабочий Левшин, «болезнь людей не разбирает».

Что с того, что командир полка Шульгович (этот, по словам Л. Н. Толстого, «прекрасный положительный тип») под своим громоподобным бурбонством скрывает трогательную заботу об офицерах полка, или что подполковник Рафальский любит, животных и все свободное и несвободное время отдает собиранию редкостного домашнего зверинца, или что Ромашов без меры страдает, когда видит физическую расправу над солдатом? Какого-либо реального облегчения, желай они этого, они принести не могут, находясь «при исполнении служебных

обязанностей». Резонер Назанский даже заявляет, что «все они, даже самые лучшие, самые нежные из них, прекрасные отцы и внимательные мужья, — все они на службе делаются низменными, трусливыми, глупыми зверюшками. Вы спросите: почему? Да именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит».

Куприн показывает, что большинство офицеров независимо от своих личных качеств всего лишь послушное орудие бесчеловечно-категорических уставных условностей, жестоких традиций и обязательств. Кастовые законы армейского быта, осложненные материальной скудностью и провинциальной духовной нищетой, производят мощное воздействие. Так складывается мрачный тип офицера, получивший непосредственное воплощение несколько позднее в рассказе «Свадьба» в образе подпрапорщика Слезкина: «Он презирал все, что не входило в обиход его узкой жизни или чего он не понимал. Он презирал науку, литературу, все искусства и культуру, презирал столичную жизнь, а еще больше заграницу, хотя не имел о них никакого представления, презирал бесповоротно всех штатских, презирал прапорщиков запаса с высшим образованием, гвардию и генеральный штаб, чужие религии и народности, хорошее воспитание и даже простую опрятность, глубоко презирал трезвость, вежливость и целомудренность».

Но Куприн не был бы действительно крупным художником, если бы ограничился одними мрачными красками. Отдавший армии лучшие годы своей жизни — детство, юность, молодость, — он и в тусклой гарнизонной жизни, в буднях русского офицерства разглядел и иные, здоровые традиции, растущие из великого исторического прошлого России дальше, в будущее. Таков образ корпусного командира в «Поединке» — чудаковатого боевого генерала, знатока солдат, в котором отразились черты одного из последних представителей военной суворовской школы, генерала Драгомирова. Таков и командир пятой роты капитан Стельковский: «В роте у него не дрались и даже не ругались, хотя и не особенно нежничали, и все же его рота по великолепному внешнему виду и по выучке не уступила бы любой гвардейской части».

Вряд ли где-нибудь в русской литературе мы найдем такое поэтическое, я бы даже сказал, восторженное описание военного смотра, как те сцены, которые посвящены действиям роты Стельковского. В то время как остальные командиры в этот день особенно неистовствовали, «особенно густо висела в воздухе скверная ругань, и чаще обыкновенного сыпались толчки и зуботычины», солдат подняли ни свет ни заря и пригнали на плац

за час до указанного в приказе времени, в пятой все шло, как обычно. «Ровно без десяти минут в десять вышла из лагеря пятая рота. Твердо, большим частым шагом, от которого равномерно вздрагивала земля, прошли на глазах у всего полка эти сто человек, все, как на подбор, ловкие, молодцеватые, прямые, все со свежими, чисто вымытыми лицами, с бескозырками, лихо надвинутыми на правое ухо».

Очевидно, и в царской армии существовали Стельковские, раз были Драгомировы. Корпусной командир на смотру покорен действиями солдат и офицеров пятой роты. Доволен он разговором с одним из рядовых — Михайлой Борийчуком.

«— Что, капитан, он у вас хороший солдат? — спрашивает корпусной у Стельковского.

— Очень хороший. У меня все они хороши, — ответил Стельковский своим обычным, самоуверенным тоном.

Брови генерала сердито дрогнули, но губы улыбнулись, и от этого все его лицо стало добрым и старчески милым.

— Ну, это вы, капитан, кажется, того… Есть же штрафованные?

— Ни одного, ваше превосходительство. Пятый год ни одного.

Генерал грузно нагнулся на седле и протянул Стельковскому свою пухлую руку в белой незастегнутой перчатке.

— Спасибо вам великое, родной мой, — сказал он дрожащим голосом, и его глаза вдруг заблестели слезами. Он, как и многие чудаковатые боевые генералы, любил иногда поплакать. — Спасибо, утешили старика. Спасибо, богатыри! — энергично крикнул он роте».

Однако действия образцовой пятой роты еще более оттеняют плачевное состояние полка, забитость солдат и жестокость офицеров. Слезкины, бек-агамаловы, осадчие с механической ревностностью выполняют военную обрядность. Но на Ромашова противоестественность и бесчеловечность такой службы производят впечатление отталкивающее. От отрицания мелочных армейских обрядов (держать руки по швам и каблуки вместе в разговоре с начальником, тянуть носок вниз при маршировке, кричать «на плечо!») Ромашов приходит к отрицанию войны как таковой. Отчаянное человеческое «Не хочу!» должно, по мысли юного подпоручика, уничтожить варварский метод — решать споры между народами силою оружия: «Положим, завтра, положим, сию секунду эта мысль пришла в голову всем: русским, немцам, англичанам, японцам... И вот уже нет больше войны, нет офицеров и солдат, все разошлись по домам».

Эта проповедь миротворческих идей, как и резкость

обличения порядков в армии, вызвала сильные нападки «справа» в ожесточенной журнальной кампании, развернувшейся вокруг «Поединка». Особенно всполошились военные чины. «Автору или его вдохновителю нужно было провести фантастическую идею о возможности прекращения войн», — негодовал на страницах «Русского инвалида» генерал-лейтенант П. Гейсман. Книга написана «от сердца, переполненного пропагандой разоружения», — вторил ему Дрозд-Бонячевский. Этот «строевой офицер» соглашался, что в «Поединке» «под слоем сгущенных красок есть доля поучительной правды», но обвинял Куприна в том, что тот «отдельными сценами и рассуждениями уже совершенно откровенно старался еще сильнее натравить общество на военную среду».

«Поединок» явился крупнейшим литературным событием, прозвучавшим более злободневно, чем свежие вести «с маньчжурских полей» — военные рассказы и записки очевидца «На войне» В. Вересаева или антимилитаристский «Красный смех» Л. Андреева, хотя купринская повесть описывала события примерно десятилетней давности. Благодаря глубине поднятых проблем, беспощадности обличения, яркости и обобщающей значимости выведенных типажей «Поединок» во многом предопределил дальнейшее изображение военной темы. Его воздействие заметно и на «Бабаеве» С. Сергеева-Ценского.

Появившись в годы революционного подъема, «Поединок» не мог не оказывать на читателей, в том числе офицеров, сильного идейного влияния. Это признавалось в противоположных идейных лагерях. «К глубокому прискорбию, — отмечал Дрозд-Бонячевский, — нельзя сомневаться, чтобы столь популярное произведение не имело бы громадного влияния на общество, а может быть, и на народ!» «Великолепная повесть! — заявил в беседе с корреспондентом «Биржевых ведомостей» М. Горький. — Я полагаю, что на всех честных, думающих офицеров она должна произвести неотразимое впечатление… В самом деле, изолированность наших офицеров — трагическая для них изолированность. Куприн оказал офицерству большую услугу. Он помог им до известной степени познать самих себя, свое положение в жизни, всю его ненормальность и трагизм!»

Незадолго до этого интервью, 18 июня 1905 года, группа петербургских офицеров послала Куприну сочувственный адрес за высказанные в «Поединке» мысли. В октябре того же года Куприн, отдыхавший в Крыму, выступил на студенческом вечере с чтением отрывков из своей повести. За кулисы пришел морской офицер и стал выражать благодарность писателю за «Поединок». Знакомый Куприна врач Е. М. Аспиз вспоминал: «Александр

Иванович, проводив этого офицера, долго смотрел ему вслед, а потом обратился к нам со словами: «Какой-то удивительный, чудесный офицер». Через месяц, когда вспыхнуло легендарное восстание на крейсере «Очаков», возглавленное лейтенантом Шмидтом, Куприн по фотографиям в газетах узнал, что за «чудесный офицер» разговаривал с ним.

Куприн был очевидцем очаковского восстания, начавшегося на корабле 11 ноября. Услышав в Балаклаве звуки канонады, писатель немедленно отправился в Севастополь, где на его глазах ночью 15 ноября крепостные орудия подожгли революционный крейсер, а каратели с пристани расстреливали из пулеметов и приканчивали штыками матросов, пытавшихся вплавь спастись с пылающего корабля. Потрясенный увиденным, Куприн откликнулся на кровавую расправу вице-адмирала Чухнина с восставшими очерком «События в Севастополе», опубликованном в петербургской газете «Наша жизнь» 1 декабря 1905 года.

«Мне приходилось в моей жизни видеть ужасные, потрясающие, отвратительные события, — пишет Куприн. — Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти не забуду я этой черной воды и этого громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека… Опять лопается броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности, неудовлетворенная, невозможная месть». После появления этой корреспонденции Чухниным был отдан приказ о немедленной высылке писателя из Севастопольского градоначальства. Одновременно вице-адмирал возбудил против Куприна судебное преследование.

После севастопольских событий в окрестностях Балаклавы появилась группа из 8-10 матросов, добравшихся до берега с «Очакова». В судьбе этих измученных усталостью и преследованием людей Куприн принял самое горячее участие: доставал им штатское платье, помог избежать преследования полиции. Частично эпизод со спасением матросов отражен в рассказе «Гусеница» (1918), но там «заводилой» выведена простая русская женщина Ирина Платоновна, а «писатель» оставлен в тени. В воспоминаниях Аспиза есть существенное уточнение: «Честь спасения этих матросов-очаковцев принадлежит исключительно Куприну».

Бодростью, уверенностью в завтрашнем дне России проникнуто творчество Куприна этой поры. Как никогда, высока общественная активность писателя: он выступает на вечерах с чтением отрывков из «Поединка», выставляет свою кандидатуру в

выборщики в первую Государственную думу. Он открыто заявляет в притче «Искусство» о благотворности воздействия революции на творчество художника. В ряде произведении, и прежде всего в рассказе «Гамбринус», запечатлена революция, ее «выпрямляющая» атмосфера.

«Я верю: кончается сон, и идет пробуждение. Мы просыпаемся при свете огненной и кровавой зари. Но это заря не ночи, а утра. Светлеет небо над нами, утренний ветер шумит в деревьях! Бегут темные ночные призраки. Товарищи! Идет день свободы! Вечная слава тем, кто нас будит от кровавых снов. Вечная память страдальческим теням». Эти заключительные строки из рассказа «Сны» как нельзя лучше передают настроение писателя на гребне революционной волны. За Куприным устанавливается постоянный полицейский надзор. Реакционная доносительская критика торопится предупредить власть имущих: «Ведь Горькие и Куприны только первые ласточки пролетарской весны. Ведь это только буревестники. Буря еще впереди».

Разумеется, видеть в Куприне чуть ли не двойника Горького, второго «буревестника» было бы преувеличением. Сам он сказал однажды: «Никогда ни к какой партии не принадлежал, не принадлежу и не буду принадлежать». Именно это — нежелание и неспособность сделаться глашатаем передовых, революционных идей — вызвало охлаждение к нему Горького. «Он, — говорил о Горьком Марии Карловне Куприн, — надеялся сделать из меня глашатая революции, которая целиком владела им. Но я не был проникнут боевым настроением и по какому руслу пойдет моя дальнейшая работа, заранее предвидеть не мог». Сам он видел в революции путь к утопическому и смутному строю, «всемирному анархическому союзу свободных людей» («Тост»), осуществление которого отодвинуто на целую тысячу лет.

Однако, как верно отмечает современный исследователь, «не подлежит сомнению одно: творчество Горького и Куприна развивалось в годы революции в одном и том же направлении, а в повседневной жизни оба они были тогда связаны искренней дружбой и взаимным товарищеским доверием» (Кулешов Ф. И. — Творчество А. И. Куприна). Один из примеров тому — купринский очерк «Памяти Чехова», проникнутый мыслями о кровавой, трагической и героической эпохе, которую, по мысли писателя, переживает Россия:

«Во всех нас живет неумирающая вера в то, что Россия выйдет из кровавой бани обновленной и светлой. Мы вдохнем радостно могучий воздух свободы и увидим над собою небо в алмазах. Настанет прекрасная новая жизнь, полная веселого труда, уважения к человеку, взаимного доверия, красоты и добра». Верой

в русского человека, в то, что ему «всего нужнее» теперь «свободный воздух и быстрые сильные движения», пронизаны лучшие произведения Куприна революционной поры.

Глава четвертая ПЛЕННИК СЛАВЫ

1

— Александр Иванович, — предложил однажды Куприну милейший Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, — пойдем позавтракаем в «Капернаум»…

— «Капернаум»? Что это? — с простодушием недавнего провинциала осведомился тот.

— Гм… Если говорить о происхождении слова, то оно евангельское. Согласно библии это место, куда для всех вход платный: даже бог, желая проникнуть в Капернаум, должен был заплатить за вход наравне с другими людьми… Если же по сути, — Мамин-Сибиряк погладил седеющую бороду, сверкнув глазами из-под очков в сторону Марии Карловны, — то «Капернаум» — ресторанчик в двух шагах отсюда, в конце Владимирской площади, на углу Кузнечного переулка.

Мария Карловна встревожилась:

— А нужно ли это? При Сашиной общительности ваш «Капернаум», пожалуй, некстати!

— Помилуйте, Муся! — засмеялся Мамин, по давней близости называвший ее как покойная матушка. — Опасно посидеть за кружкой пива? Да там перебывал весь литературный Питер… Само название придумал когда-то Слепцов, туда заходили Успенский, Плещеев, Михайловский… И сегодня мы обязательно встретим там кого-нибудь из литераторов…

— Да, Машенька, — поднялся со стула Куприн. — Я ведь не ручной сокол, на которого можно надеть колпачок и утихомирить. Ты знаешь, как я тебя люблю. Но порой твоя опека становится излишней…

Шагая пыльной петербургской улицей, Куприн осведомился:

— Дмитрий Наркисович, как поживает наша юная путешественница? Лиза? Оправилась от пережитого?

— Постепенно приходит в себя, — потеплевшим голосом сказал Мамин-Сибиряк. — И собирается навестить вас с Марией Карловной.

— Хорошая девушка, — убежденно проговорил Куприн. — Чистая и добрая. Достанется же кому-нибудь такое счастье…

Несмотря на свою вывеску «ресторан», «Капернаум» оказался обычным трактиром, куда входили прямо с улицы, в пальто и калошах, так как прихожей не было. Мамин и Куприн прошли

мимо стойки с водкой и закусками, где черным хлебом и солью можно было пользоваться бесплатно, а кусок вареной колбасы «собачья радость», целая минога или соленый гриб стоили три копейки, и завернули в дальнюю комнату, низкую и пропахшую пивной сыростью.

Тут, куда допускалась только «чистая» публика, было пустынно. Одинокий старик в углу неторопливо доедал обед за пятьдесят копеек.

— Сейчас я вас познакомлю… — шепнул Куприну Мамин. — Это известный критик Скабичевский…

— Тот самый, который обещал Чехову, что он умрет под забором… — прищурился Куприн и довольно холодно обменялся со Скабичевским дежурными фразами.

Постепенно комната стала наполняться народом. Куприн, отхлебывая свежее венское пиво и слушая вполуха Мамина, пытливо оглядывал каждого нового посетителя, пытаясь определить его профессию, склад ума и характер. Он давно знал за собой, еще с нищей киевской поры, эту страсть или даже сладострастие — смаковать острые художественные наблюдения. Алкоголь постепенно делал свое обычное разрушительное дело. Верно, но всякая церковная исповедь наедине со священником была способна так развязать языки, как пьяный угар.

Куприн остался и после ухода Мамина, изучая жизнь маленького затрапезного — и столичного — кабачка. Горячечное алкогольное возбуждение понуждало незнакомых людей открываться друг другу, делиться всем — возвышенными мечтами и низменными помыслами. Прилично одетый, застенчивый молодой человек спешил рассказать о себе, о своей неразделенной любви к светской красавице, об отце-алкоголике, печальном детстве и о своей бедности, которой стыдился и всегда тщательно скрывал. За соседним столиком мелкий почтовый чиновник, налившись коньяком, объяснял соседу, что он великий полководец, который зальет Европу кровью. Его собеседник, пожилой настройщик, говорил в ответ, что пишет оперу, которая прославит его как гениального композитора…

К Куприну подошел с кружкой толстяк в теплом стеганом пальто.

— Разрешите? Вы Куприн? Мне вас показывали. Всероссийский талант…

— Позвольте, а вы кто такой? — У Куприна, слегка хмельного после полдюжины пива, напрягся крепкий затылок.

Толстяк пренебрежительно махнул рукой:

— Репортеришка. Сотрудник «Петербургского листка»… Ненавижу себя, но пишу рублевые рецензетты о великосветских

балах и об утопленниках. О последних узнаю в участке, а сведения о балах и скандалах поставляют лакеи… И вот вам мой совет. — Он наклонился ближе к Куприну и горячечно зашептал: — Пока не поздно, уезжайте отсюда!

Куприн с интересом поглядел в отекшее, нездоровое лицо собеседника, жестом приглашая его присесть.

— Это еще почему?

— Вы свежий человек и здесь погибнете!

В Куприне, особенно когда он был во хмелю, нередко проявлялась едкая душевная склонность — охота поиздеваться над людьми. «Вот возьму сейчас этого болвана, — сладко подумал он, — эту самолюбивую бездарность, да и «разверчу» ее!..»

— Вы, очевидно, в душе писатель, художественная натура. Только скрываете это, не признаетесь… — вкрадчиво сказал он и, резко меняя голос, крикнул: — Человек! Четверочку шустовского!..

— Как вы угадали? — изумилось стеганое пальто. Толстое, в прожилках лицо задрожало. — Я пожиратель впечатлений, я коллекционирую странных людей… Но в Петербурге нет жизни…

— Не согласен, — скороговоркой перебил его Куприн, разливая коньяк. — Оглянитесь, сколько вокруг живописного материала! Сколько сока, сколько подробностей! Опишите все это, да так, чтобы пахло густо — запах пива, пота, грязи, сполохи человеческих страстей в этом маленьком Содоме, — получится серия рассказов… Новый Гарун-аль-Рашид непременно бы начал свои петербургские сказки отсюда!

— Возможно, вы и правы. — Человечек улыбнулся грустно, выпил рюмку и на мгновение привычно окаменел лицом с выпученными глазами. — Но… но тогда тем хуже для вас. Вы лакомая добыча для дохлых искателей наживы, которые толкутся тут. Для всех этих второсортных литераторов, питающихся живой артериальной кровью. Поверьте, все это вампиры с перепончатыми крылами и жестким хоботком, каких не знал и Эдгар По! Каждого свежего талантливого человека они облепляют и высасывают… Эх, и я явился некогда в Северную Пальмиру, чтобы завоевать ее, а стал ее жалким данником, сплавом, полуживой рабочей лошадью. Вас высосет Петербург до сухой шкурки…

— Э, да вы поэт, — повернулся к нему всей своей коренастой сильной фигурой Куприн. — Только зарубите себе на носу: еще неизвестно, кто кого высосет — Петербург меня или я Петербург! Я Куприн и прошу всякого — это помнить! На ежа садиться без штанов не советую…

Да, Петербург, огромный, страшный и загадочный, который, как сердце целой страны, с неумолимой силой гнал российскую кровь и снова засасывал ее, перестал пугать Куприна. Сперва его брала оторопь при виде огромных домов на незнакомых улицах, их фасадов, колонн, пустынных окон. Кто живет за ними? Чьи тени скользят за занавесками? Какие звучат слова? Как мало, как ничтожно мало знал Куприн обо всем этом! А Петроградская сторона, Нарвская застава, Гавань, рабочие окраины? А меблированные комнаты на старом Невском и Васильевском острове, где тысячи трагедий совершаются незримо для стороннего наблюдателя, где во дворах-колодцах, в грязных подъездах и тесных, сырых гробах-комнатах течет своя, никем еще не описанная жизнь?..

Но теперь, после «Поединка», Куприн почувствовал собственную силу и окончательно поверил в себя. «Вот он, Петербург, перед моими глазами, он покорно протекает через меня, богатый и нищий, беззаботный и загнанный в угол судьбой… В таких кабаках, верно, и погибает девять десятых всего талантливого, нового и свежего…»

Он выпил, не закусывая, коньяк, повел воловьим затылком, точно ему мешал воротничок, и сказал:

— Вы мне нравитесь… Рассказывайте о себе.

— Я знаток столичного дна! Я сам русский Нат Пинкертон! — доверительно загудел собеседник. — Я проникаю во все миры — от великосветской спальни и до разбойных притонов Гавани… Я знаю все столичные ямы и готов познакомить вас с самыми занятными типами, с живой петербургской кунсткамерой…

— Какое совпадение, — пряча глубоко усмешку, отозвался Куприн. — Ведь и я сам коллекционер редких и странных проявлений человеческого духа…

В самом деле, не он ли просиживал целыми ночами без сна с пошлыми, ограниченными людьми, весь умственный багаж которых составлял, точно у бушменов, десяток-другой зоологических понятий и шаблонных фраз? Не он ли поил в ресторанах отъявленных дураков и негодяев, выжидая, пока в опьянении они не распустят пышным махровым цветом своего уродства? Он иногда льстил людям наобум, с ясными глазами, в чудовищных дозах, твердо веря в то, что лесть — ключ ко всем замкам. Он щедро раздавал взаймы деньги, зная заранее, что никогда их не получит назад. В оправдании скользкости этого спорта он мог бы сказать, что внутренний психологический интерес значительно превосходил в нем те выгоды, которые он потом приобретал в качестве бытописателя.

Ему доставляло странное, очень смутное для него самого

наслаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних действий — так сказать, подержать в руках живое горячее человеческое сердце и ощутить его биение. Часто при этой пытливой работе ему казалось, что он утрачивает совершенно свое «я», до такой степени он начинал думать и чувствовать душою другого человека, даже говорить его языком и характерными словечками, наконец, он даже ловил себя на том, что употребляет чужие жесты и чужие интонации…

В низкой зале, в табачном дыму, смешанном с алкогольными испарениями, уже маячила знакомая долговязая фигура. Встревоженная долгим отсутствием мужа, Мария Карловна послала на его розыски верного Маныча.

— Назначаю вам свидание за этим столом и в это же время. В следующий вторник, — сказал, тяжело поднимаясь, Куприн. — И за каждого интересного персонажа, которого вы приведете с собой, плачу полновесную трешницу, господин Пинкертон.

С той поры он зачастил в «Капернаум».

2

Куприн неохотно садился писать, но не по простой лености, хотя часто на него накатывала апатия и все собственные писания казались необязательными и слабыми. От рабочего стола его постоянно отвлекали или общение с людьми, или внутренний труд. У него все время рождались и двигались мысли, с которыми он не хотел расставаться.

Расположившись в «Капернауме», с толстой папиросой, зажатой у самого основания указательного и безымянного пальцев, и медленно прихлебывая из пивной кружки, Куприн не оставался праздным, не скучал. Мысли его бежали.

Он думал о поражении России в бесславной войне с японцами, о вооруженном восстании в Москве, жестоко подавленном карателями — гвардейцами Семеновского полка. Потом незаметно мысль его перекинулась к собственному творчеству.

Недовольство собой точило Куприна.

«Пора наконец перестать бездельничать, — говорил он себе. — Только за что взяться? «Нищие» у меня явно не вытанцовываются. Я задумал их как вторую часть «Поединка». Но

«Поединок» — это поединок Ромашова, то есть мой с царской армией. А «Нищие» — мой поединок с жизнью, борьба за право быть свободным человеком. Однако как все это показать, точно себе не представляю. И Горький с безжалостной правдивостью доказал мне это. Я был оскорблен, но потом вновь и вновь думал над его словами и почувствовал в них правду. Буду писать о другом. Давно манит меня мысль рассказать о беговой лошади. Но ведь о чем интересном ни подумаешь, обо всем уже написал великий старик Толстой. Пожалуй, напишу об одесском кабачке «Гамбринус». У меня о нем хорошие воспоминания. Или нет, эти две темы пока отложу и посмотрю мои киевские заметки. Они давно ждут очереди…»

— Александр Иванович! О чем загрустил? Что буйную головушку повесил?..

В зал ввалилась и подошла к купринскому столику знакомая шумная компания. Впереди «сэр Пич Брэнди», шестидесятилетний бонвиван и фельетонист Федор Федорович Трозинер. За ним художник-иллюстратор Трояновский, прозванный «юнкером», хоть он был артиллерийским капитаном в отставке, и вчерашний гимназист, весельчак и пожарный строчила Вася Регинин-Рапопорт.

— Дела, дела. Жду тут одного человечка, — не без раздражения ответил Куприн, взглянув на золотые карманные часы с модной тогда монограммой. — Проверяю его точность.

— Брось ты эту мерихлюндию, — хриплым басом воскликнул Трозинер. — И отправимся немедля на бега. Сегодня совершенно необходимо поглядеть Стрелу, новое приобретение князей Абамелек-Лазаревых.

У Трозинера темные выпуклые глаза старого кутилы и грешника. Крупный судебный чиновник в прошлом, он за короткий срок оставил свое миллионное состояние в лучших петербургских ресторанах и вполне примирился с судьбой скромного фельетониста «Петербургской газеты».

— В самом деле, Саша, — «юнкер» Трояновский был, как и «сэр Пич Брэнди», навеселе. — К свиньям все деловые встречи! На бега! Живешь один раз, не забывай, а работа не малина и не опадет!..

«Нет, какая уж тут к черту работа! Бежать из Петербурга, куда глаза глядят бежать… И не от врагов или злопыхателей. А от дружков-собутыльников, пропади они пропадом… Господин Пинкертон был прав, — тоскливо оглядел он пришедших, которые бесцеремонно устраивались за столом. — Да где же он? Ведь не удержусь, право, от соблазна и закачусь с ними…»

— Я не помешаю?..

Из табачного дыма возник наконец толстяк в стеганом пальто. За его спиной заурядный пехотный офицер с помятыми полевыми погонами штабс-капитана.

— Присаживайтесь, господин Пинкертон, — проговорил Куприн, еще раз разочарованно оглядывая его спутника.

— Познакомьтесь, — заискивающе сказал толстяк. — Штабс-капитан Рыбников. Герой Мукдена и Ляояна. Прошел, как говорится, огни, воды и медные трубы.

Штабс-капитан щелкнул каблуками и сел, расставив врозь ноги и картинно опираясь на эфес огромной шашки.

«Где я его видел? — мелькнула у Куприна беспокойная мысль. — Какое странное лицо. Нерусское. Удивительно кого-то напоминает. Но кого?» Растерзанный, хриплый, пьяноватый общеармейский штабс-капитан заинтересовал его смутной, пока еще не оформившейся догадкой.

— А ведь, пожалуй, махнем на бега, — внезапно согласился он, к радостному удивлению триумвирата. — Господину Пинкертону подать коньяк и вот ваш гонорар… — Куприн сунул толстяку трешник и обернулся к офицеру: — Поедемте с нами, капитан?

— С моим удовольствием, — хрипловато отозвался Рыбников. — Только, если можно, и мне коньячку…

— На бега! — еще решительнее повторил Куприн. — А потом ко мне обедать. Пошлем Маныча, чтобы он предупредил Марию Карловну…

И на трибуне ипподрома, и позднее, за обеденным столом он внимательно приглядывался к штабс-капитану, расспрашивал и оказывал ему всяческое внимание. Рыбников рассказал, что он сибиряк, воспитывался в Омском кадетском корпусе и был ранен под Мукденом. Куприн не уставал удивляться тому, какое разное впечатление производило лицо штабс-капитана в фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо. Зато когда Рыбников поворачивался к нему, что-то жуткое чувствовалось в узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивающей мощные скулы…

Он чувствовал, как воспламенилось его воображение, как смутная догадка переросла в тревожную, ужаснувшую его самого мысль.

— Петя, — толкнул он за столом Маныча. — Да ведь это японский шпион, переодетый в армейскую форму!..

Тот выкатил дикие цыгановатые глаза, долго в упор рассматривал штабс-капитана и после третьей рюмки брякнул:.

— А как на фронте вас тогда не принимали за японца? У вас

ведь такая экзотическая наружность.

Куприн сдвинул кожу лица в сердитую гримасу: куда тебя несет? Но Рыбников только пожал плечами:

— У нас в Сибири давно, еще со времен предков, первых поселенцев, случаются смешанные браки с местным населением: якутами, башкирами, монголами.

Маныч едва успел раскрыть рот, чтобы продолжить допрос, но Куприн успел перебить его:

— Да, то же самое наблюдается и на Урале: среди оренбургского казачества чистые великороссы встречаются редко…

К концу обеда, за десертом, Трояновский, спросив у Рыбникова разрешение, вынул блокнот и начал его зарисовывать.

— Сейчас будет готова и моментальная фотография, — захохотал Маныч.

«Спугнет, дурак! — томился Куприн, находясь уже весь во власти своей фантазией, так поверив собственной выдумке, что не мог бы с ней расстаться. — Спугнет шпиона!»

Он поморщился и предложил:

— Кофе пить приглашаю в мой кабинет. Посмотрите, штабс-капитан, какой у меня альбом…

Когда гости выходили из столовой, Куприн спросил у жены:

— Ты не догадалась, Маша, кто это? Японский шпион!

Не желая разочаровывать его в радостной надежде на открытие, Мария Карловна быстро ответила:

— Это очень возможно, Саша. И выяснить это было бы, конечно, очень интересно.

— Я непременно им займусь, Машенька, непременно, — возбужденно продолжал Куприн; — Ведь сколько раз во время войны я говорил тебе, что наша русская публика в учреждениях, в общественных местах, в ресторанах ведет себя необдуманно. Сколько раз я слышал, как в ресторане Палкина офицеры после достаточной зарядки громко обсуждали военные известия и делились тем, что еще не было опубликовано и считалось тайной. В такой обстановке ловкий шпион всегда почерпнет богатый материал…

— Но иди к гостям, — поторопила его жена. — Ты же обещал показать им свой патентованный альбом.

Это был длинный березовый стол, на гладкой крышке которого оставляли автографы гости. Куприн показал штабс-капитану факсимиле Вересаева, Арцыбашева, Чирикова, Юшкевича, Серафимовича, Бунина, Федорова, Ладыженского.

Поэт Скиталец написал Куприну:

А. Куприн! Будь дружен с лирой
И к тому — не «циркулируй»!

Сам хозяин оставил следующее изречение: «Мужчина в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу: и сладко, и скучно, и улететь нельзя». Он попросил Марию Карловну написать что-нибудь рядом, и та воспользовалась фразой из «Белого пуделя»: «И сто ты се сляесься, мальцук? Сто ти се сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо…»

В общий шутливый тон диссонансом врывалось стихотворение Ивана Рукавишникова:

Кто за нас — иди за нами,
Мы пройдем над головами
Опрокинутых врагов.
Кто за нас — иди за нами,
Чтобы не было рабов.

— Оставьте и вы свой автограф, штабс-капитан, — предложил Куприн.

— Что же я могу написать? — сконфузился Рыбников.

— Ну все равно, если вы втайне не поэт, скрывающий плоды своего вдохновения, то просто распишитесь. Это будет напоминать мне о нашем знакомстве.

И мелким, но четким почерком около длинного стихотворения Федорова тот написал: «Штабс-капитан Рыбников».

— Вечер предлагаю провести на островах в театре «Аквариум», — обратился Куприн к присутствующим. — Сегодня там выступает цыганский хор со старинными песнями, интересно было бы послушать. Поедем, Машенька, с нами?

Мария Карловна медленно, но непреклонно ответила:

— В «Аквариуме», Саша, ты встретишь своих знакомых артистов и режиссеров, образуется шумная и малознакомая мне компания. Лучше я останусь дома, обед меня все-таки утомил…

В прихожей, целуя жену, Куприн просительно сказал:

— Кончаю безделье и засяду за новый рассказ. Только где? Убегу либо в Гатчину, либо уеду к Зине. Но если ты запрешь меня и никого из редакции не будешь ко мне пускать, даже Федора Дмитриевича, я смогу работать и здесь.

— Нет, Саша, — непритворно вздохнула Мария Карловна, не ответив на его поцелуй. — От себя ты, видно, так и не убежишь.

3

Третий день Куприн не являлся домой, загуляв с цыганами. Он снял огромный номер в «Большой Московской» гостинице, где и поселился вместе с табором: сидя на полу, чадил трубкой старый цыган, бренчал на гитаре молодой, ползали по полу коричневые цыганята, в умывальнике стирала пеленки старуха, а перед зеркалом вертелась смуглая синеволосая красавица Наташа в красной шелковой рваной кофте.

Пожилой стенограф Комаров, плюгавый, в потертом костюмчике, вызванный в гостиницу работать, с недоуменным ужасом взирал на живописное фараоново племя из тихого уголка.

Куприн, похмельный, распухший, с растрепанными волосами, стоя посреди комнаты, громко объявил:

— Сейчас пусть споют мне, и не что-нибудь, а настоящую старую таборную песню. А потом уж мы с Павлом Ивановичем засядем писать…

Запевала дочь старого цыгана — некрасивая, длинноносая, с лицом, порченным оспой, и с прекрасными темными глазами.

Ой да, ой да бида
Прэлэндэ накачалась:
Чай разнесчастна
Навязалась…

Ее отец, не выпуская изо рта трубки, пристально вонзался в нее черными глазами, сверкающими среди желтых белков, и в любимых местах умоляюще шептал:

— Романес, Маша, романес…

— По-цыгански просит петь… — блаженно щурясь, объяснял Куприн съежившемуся Комарову.

Когда вступал хор, старый цыган подхватывал припев своим ужасным, охрипшим, но необыкновенно верным голосом, и вся комната утопала в странном, диком и восхитительном сплетении множества женских и мужских голосов. Слов никаких не было в припеве, были звуки, похожие на звон колокольчика, на стоны, на радостные выкрики. И вот вылетала плясунья Наташа, и хор, разгоряченный песней и пляской, приходил в полное неистовство.

Захваченный этой дикой и прекрасной музыкой, Куприн недвижно стоял, подняв руки, словно собираясь творить молитву. Все — жена, семья, литература, собственное творчество — казалось ему в эти минуты дурным, плоским, незначительным.

Душа просила воли, простора, забвения себя…

Ах, какая беда
На нас напала,
Несчастливая девушка
Меня полюбила.
Ой, если не отдадите
Мне ее по чести,
Увезу насильно…
Ой, мои серые,
Серые да еще гнедые-рыжие,
Над нами только бог,
Пусть благословит!..

— Маныч! — громко шептал Куприн, глядя сквозь слезы на лице на веселящийся табор. — Маныч! Шампанского чавалам и цыганкам! А мне водки, Маныч! Как они поют, боже мой, как поют!..

Виолончелью гудело густое контральто старой цыганки, яростно и пылко вела древнюю мелодию преображенная песней Маша, сине-красной змейкой извивалась прекрасная плясунья…

— Что здесь происходит, Александр Иванович?

Маленький лысоватый человек в пенсне незаметно появился в номере.

Куприн гневно обернулся на голос, но, узнав Вересаева, расцвел:

— Викентий Викентьевич!. Дорогой! Послушайте цыган с нами… Маныч, водки господину Вересаеву!

— Нет уж, увольте. — Вересаев наклонил скучное лицо. — Я попросил бы вас на минутку выйти со мной в коридор. У меня поручение от Марии Карловны…

В душном от ковровых дорожек коридоре Вересаев бесстрастным голосом принялся отчитывать Куприна:

— Что вы с собой делаете? — Не жалеете семью, так хоть себя пощадите. На вас сейчас смотрит вся читающая Россия, а вы… Вы черт знает чем занимаетесь!

Куприн пьяно, с тоскливой злобой поглядел на него.

— Ах эта писательская судьба — чертовски сложная жизнь, когда за удачу приходится платить нервами, здоровьем, собою едва ли не больше, чем за неудачу, поражение, — сначала тихо, а затем все громче и громче заговорил он. — Как же, есть род окололитературной братии, которой извне, из их завистливой галерки все видится по-иному: Куприн получает бешеные гонорары, Куприн — пьяница, дебошир, гуляка, Куприн —

грубиян, необразованный человек, бывший офицер… Куприн облил горячим кофе Найденова и разорвал на нем жилет… Куприн приткнул вилкой баранью котлету к брюху поэта Рославлева, при этом стал ее резать и есть, после чего оба плакали… Куприн кинул в ресторане «Норд» пехотного генерала в бассейн со стерлядью… А-а-а! — Он оглянулся маленькими, налитыми кровью глазами, и Маныч тотчас же неслышной походкой вышел из номера и остановился поодаль.

— Вспомните наконец, что вы отец и муж, — заговорил Вересаев.

— Муж?

И все обидное, что перенес за эти годы Куприн от властной Марии Карловны, вдруг с мерзкой отчетливостью представилось ему. Он вспомнил, как она не пускала его в свою петербургскую квартиру без новой главы «Поединка», как на даче под Лугой ударила его, беспомощно-пьяного, графином, как расчетливо играла на его чувстве к маленькой дочери Люлюше, как, желая рассорить с Батюшковым, намекала, будто Федор Дмитриевич в отсутствие Куприна пытался ухаживать за ней…

Он повернулся и на тяжелых ногах пошел в номер, рыча:

— Вон! Все отсюда вон! Прочь! Уходите!

Первым из номера брызнул стенограф Комаров.

Вернувшись домой, Куприн объявил, что в Петербурге работать невозможно, что он отправляется в имение Батюшкова Даниловское и хочет взять с собой из Москвы мать Любовь Алексеевну. С ним собралась ехать и Мария Карловна с дочкой Лидой, присматривать за которой было предложено Лизе Гейнрих.

4

В свое имение Даниловское Новгородской губернии, отстоящее от ближайшей железнодорожной станции в девяноста верстах, сам Федор Дмитриевич наезжал изредка. Он останавливался в единственной пригодной для жилья комнате — большой и светлой библиотеке, надевал русскую рубаху, высокие сапоги и бродил с ружьем по окрестным болотам и лесам, подступавшим к усадьбе.

Много лет имение было в аренде у богатого священника, который, когда арендный срок закончился, поступил с имением, как француз с захваченной Москвой в 1812 году. Из дома была

вывезена обстановка карельской березы и красного дерева, бронзовая люстра, подсвечники, все сервизы, туалет, зеркало. Он выкопал и перевез к себе всю белую акацию, декоративные кусты, оголив ветхий забор, который отделял парк от кладбища и старинной церкви.

Но непрактичный, весь ушедший в литературные дела Батюшков, казалось, ничего не замечал. Хозяйства в имении никакого не велось, почти вся земля сдавалась в аренду крестьянам, а яблок, груш и слив хватало и на управляющего, доброго, флегматичного Арапова, и на деревенских ребят.

В усадьбе было мрачно и неуютно. Громадные, очень старые липы в парке не пропускали солнечного света. Вода в пруду в центре парка казалась совершенно черной.

В доме пахло сыростью и мышами. Комнат было много, но почти все проходные, и разместиться большой семье было трудно. Заколотив часть дверей, Куприным удалось выделить помещения для детской, спальни и для Любови Алексеевны.

Мать Куприна, маленькая скуластая старушка с проницательными узенькими глазками, отличалась деспотическим и властным характером.

— Отчего она до сих пор живет во Вдовьем доме? Это же фактически богадельня! — удивлялась Мария Карловна. — При стольких-то детях!

— Именно там, где она ни от кого не зависит, ей лучше всего, — объяснял Куприн. — Мамаша очень любит дочерей. Но она самая невыносимая теща для своих зятьев. Поэтому, погостив у своей любимой Зины, она через короткое время начинает вмешиваться не только в воспитание детей, но и в отношения между Зиной и мужем. Причем старается доказать, что муж негодяй, не стоит Зины и, наверно, ей изменяет. А когда начинаются ссоры, слезы и всякая неурядица, она говорит: «Как хорошо, что мне есть куда от вас уехать». И отправляется к себе во Вдовий дом. Потом ей снова становится скучно, тогда она отправляется ко второй дочери, Соне. И там повторяется та же история. Думаю, что жить мать могла бы только со мной, да и то, если бы я навсегда остался холостым… — Он помолчал и добавил: — Я нередко вспоминаю свое бедное детство и те унижения, которым меня подвергала мать, когда мы ходили по богатым родственникам. Возможно, я напишу об этом…

В Петербурге Куприн залпом, за неделю завершил рассказ «Штабс-капитан Рыбников», оставив придуманному японскому шпиону фамилию подлинного пехотного офицера. Рассказ имел шумный успех, поощривший Куприна на новые темы. Но прежде надо было заняться хозяйственным устройством.

За скотным двором, на пруду из найденных досок Куприн самолично соорудил купальню с длинными мостками, а вместо стен оплел березовыми ветвями. Вышел премилый островок посреди пруда. Куприн собирался купить лошадь, а также взять напрокат шарабан. Но Батюшков решил устранить те неудобства деревенской жизни, о которых не подумал раньше, сам приобрел для дачников выездную коляску, лошадь, новую упряжь и прислал Александру Ивановичу охотничье ружье.

Самолюбивый Куприн с шутливой раздражительностью написал ему:

«Дорогой Федор Дмитриевич!

Пощадите!

Вы положительно изливаетесь на нас дождем из ружей, экипажей, консервов, конфет, бисквитов и т. д. Мария Карловна делает мне за это сцены.

Нет, Федор Дмитриевич, будемте умереннее и бережливее. Очень прошу Вас об этом.

Кончится тем, что мы с женой рассердимся и вдруг сразу пришлем Вам фортепьяно, фребелевский бильярд, лаун-теннис, телескоп, pas des géants, автомобиль, и все это — наложенным платежом!!!

Ваш А. Куприн».

Надо было подумать и о рабочем кабинете, устроить который Мария Карловна предложила в батюшковской библиотеке — светлой комнате с большими окнами в палисадник. Три стены были забраны открытыми полками, сплошь уставленными книгами — темно-золотистые кожаные, цветные сафьяновые и матерчатые переплеты, золотые звездочки на корешках, виньетки, шершавая синеватая бумага, запах плесени… Старинные издания Ломоносова, Сумарокова, Державина, Карамзина, Дмитриева, К. Н. Батюшкова, Веневитинова, Козлова, Баратынского, Пушкина, Жуковского, Языкова. Книги новые — собрания сочинений западных авторов, специальная литература по истории, искусству, живописи, театру, средневековому эпосу на нескольких европейских языках (магистерской диссертацией Батюшкова была работа «Сказание о споре души с телом в средневековой литературе»). Русские журналы за несколько десятилетий.

— Нет, здесь я трудиться не смогу, — скороговоркой сказал Марии Карловне Куприн, лишь только вошел в комнату. — Библиотека — слишком большой соблазн. С работой будет покончено. Я устрою себе кабинет в чердачном помещении…

Однако библиотека манила, притягивала его. И когда Мария Карловна хлопотала по хозяйству или отлучалась из усадьбы, он вместе с Люлюшей и Лизой Гейнрих отправлялся туда и

перебирал, перелистывал книги.

Сам Куприн старался заглушить в себе намек на чувство, которое давно уже жило в нем к этой изящной простой и доброй девушке, но даже показное равнодушие давалось с огромным трудом. Случайное прикосновение к платью Лизы, встреча взглядов вызывали внутренний электрический разряд. Скрывая напряженность, Куприн старался шутить, балагурить, придумывал забавы не столько для четырехлетней Люлюши, сколько для самой Лизы.

— В таких старых помещичьих покоях, — таинственным голосом говорил он, — обязательно должны быть спрятаны фамильные драгоценности, клад, запрятанный каким-нибудь предком Батюшкова…

— Но ведь арендатор давно уже нашел бы его! — простодушно откликалась на игру Лиза.

— В том-то и дело, что нет! Для этого у сельского священника не хватило бы фантазии. Давайте отодвинем первый ряд книг, нет ли за ними тайника…

Начались, суматошные поиски. Поднялась пыль, Люлюша принялась отчаянно чихать.

— Не надо, Александр Иванович! Все равно ничего не найдем, — взмолилась Лиза, обожавшая девочку.

Но вот на одной из нижних полок за книгами обнаружился длинный ящик.

— Ага! — торжествовал Куприн, вытаскивая его. — Смотрите, заколочен! Сейчас я пойду за молотком.

С затаенным восхищением следила Лиза за тем, как Куприн отбивал крышку. Но затем ее охватил ужас. В ящике лежала огромная деревянная нога.

— Чем вы тут увлеклись? — На стук явилась Мария Карловна, явно недовольная тем, что Куприн в этот день так и не сел за работу.

— Гляди, Машенька! Вот так находка! — с мальчишеской увлеченностью воскликнул Куприн.

— Деревянный протез, — довольно сухо пояснила Мария Карловна. — Видно, что он принадлежал человеку огромного роста. Кому-то из родственников Федора Дмитриевича.

— Ну конечно! — Куприн стукнул себя по лбу. — Это нога героя 1812 года Кривцова! Собственную ему оторвало ядром при Кульме. Дочь Кривцова вышла замуж за Помпея Николаевича Батюшкова. — Он задумался и, сузив смеющиеся глаза, добавил: — Следовало бы, однако, предать ее христианскому погребению. Как раз завтра у нас в гостях наши иереи…

По стародавнему обычаю, по воскресеньям после обедни, у

которой, кстати, Куприны не бывали, духовенство приходило на пироги в помещичий дом.

— Когда ты наконец расстанешься со своим мальчишеством! — Мария Карловна в раздражении покинула библиотеку.

— Видишь, Люлюша, какая у нас мама строгая, гася шуткой вспыхнувший гнев, улыбнулся Куприн. — Спой нам, дочка, частушку…

И четырехлетняя Лидочка ясно и чисто пропела:

У меня есть папа,
У меня есть мама.
Папа много водки пьет,
Его за это мама бьет…

На воскресный пирог явились не только местный батюшка, но дьякон и даже псаломщик.

Завидев поданные для водки рюмки, дьякон сказал:

— Нам бы другую посудину. Здесь и выпить-то всего ничего.

Недоволен он остался стаканами и просил дать чашки.

Когда блюдо с пирогом опустело, Куприн обратился к священнику:

— А что, батя, не предать ли ногу христианскому погребению? Ведь нехорошо, что покойник лежит в могиле без ноги, а нога в доме…

— Соблазн, соблазн, — подтвердил батюшка, утирая рот роскошной бородой, в которой дрожал клок капусты.

— Вот как раздастся ночью стук и треск полов, — понизив голос, проговорил Куприн, — дочка моя все пугается, плачет: «Папа! Это что же, «скарлы-скарлы, нога липовая» ходит?

— Соблазн, соблазн, — важно откликнулся священник.

Богомольная Любовь Алексеевна с неодобрением поглядела на подпившего иерея, давно уже разгадав шутливый смысл задуманного сыном. Но тут очнулся дьякон, тщедушный, с могучим басом, и загудел бурсацкий напев, слов которого нельзя было разобрать, но от которого слабо задребезжал, прося пощады, пустой графинчик. В двери столовой просунула головку любопытная Лидочка. Куприн, не прикасавшийся к выпивке, радостно воскликнул:

— А вот и Люлюша нам споет! Спой, Люлюша, нашу частушку.

У меня есть папа,
У меня есть мама.
Папа много водки пьет,

Его за это мама бьет…

5

— Я бы чего-нибудь еданул, Маша, — утром после чая попросил жену Куприн. — Хорошо немного заправиться перед работой.

И с большим аппетитом съел яичницу и холодное мясо.

Вот уже несколько дней сразу после завтрака он отправлялся к себе на чердак, где устроил рабочий кабинет. Подымаясь из-за стола, Куприн как-то необычно, боком начал выходить из комнаты, и наблюдательная Мария Карловна заметила, что спереди блуза на нем странно оттопыривается.

Она подошла и одернула рубашку. И вдруг оттуда вывалилась небольшая подушка.

— Это что же такое? — строго спросила Мария Карловна.

Куприн смутился, как нашаливший кадет.

— На табурете сидеть слишком жестко, так я беру с собой подушечку.

— А вот я посмотрю сейчас, как ты там устроил свой рабочий кабинет! — еще более строго сказала она.

— Да нет, зачем! Лучше не ходи, Маша, — просительно ответил он.

Но Мария Карловна уже шла по лесенке.

Никакого табурета на чердаке не оказалось.

Около стены было густо уложено сено, покрытое каким-то рядном.

— Вот так рабочий кабинет! — вовсе разгневалась она.

— Видишь ли, — оправдывался Куприн, — я лежу, обдумываю тему, а потом незаметно засыпаю.

— Хорошо, — отрезала Мария Карловна. — С завтраками отныне будет покончено!..

Теперь Куприн работал по-настоящему. Мария Карловна тихо подбиралась к чердаку и сразу успокаивалась, слыша наверху шаги и бормотанье: Куприн ходил взад и вперед, наговаривая себе фразы по своей любимой методе. Но над чем он работал, этого не знал никто. За чаем Любовь Алексеевна иногда спрашивала:

— О чем ты пишешь, Саша?

Куприн сердился и с недопитым чаем уходил к себе на чердак.

Однажды он спустился в библиотеку, где Мария Карловна с увлечением перечитывала старые журналы — «Современник» и «Отечественные записки», поэтов XVIII века.

— Сегодня вечерком, Маша, — сказал он, — я начну учить тебя преферансу. Я понимаю, тебе не хочется уходить из библиотеки, но без преферанса очень скучает мама. Читать она уже почти не может — слишком слабы стали глаза… А ты что читаешь? — Он взял из ее рук книгу. — А, Державин! «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил…» Дай-ка я открою что-нибудь наугад.

Он развернул том и прочел:

Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей.
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

— Какое великолепное стихотворение! — изумился Куприн, возвращая книгу. — Звучное, торжественно-пышное и в то же время полно глубокого содержания. Думал я о том, как назвать мой новый рассказ. Все казалось мне мелким и некрасивым. «Река жизни» — так он будет называться. На днях перепишу его еще раз и тогда прочту тебе, Маша…

Рассказ «Река жизни» был превосходен, читал Куприн великолепно. Герои произведения — мадам Зигмайер и все ее семейство, поручик Чижевич, околоточный, — как живые, возникли перед Марией Карловной. Но вот дело дошло до последней главы, где появляется студент со своим монологом и близится трагическая развязка:

«Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, по нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку…

Меня заставляли целовать ручки у благодетелей — у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу свой старый, трепаный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: „А вот нос моего сыночка Левушки…“ Я проклинаю свою мать…»

Куприн дочитал, нигде не останавливаясь. Он кончил. Мария Карловна молчала.

— Так что же, Маша? — наконец нетерпеливо спросил он. — В чем дело?

Мария Карловна медленно начала:

— Ты сам отлично знаешь, в чем. То, что ты пишешь о детстве, о своей матери, оскорбительно. Чем она виновата? Ей, урожденной княжне Кулунчаковой, пришлось выйти замуж за мелкого чиновника. После его смерти она осталась без копейки, в глухой провинции. Ради детей Любовь Алексеевна сломила свою гордость, свой прямой, независимый характер. Только материнская любовь поддерживала ее. А ты — ты думаешь о себе, о своих детских обидах. — Голос Марии Карловны задрожал. — У тебя хватило духу написать: «Я проклинаю свою мать». И еще о том, что после посещения богатых подруг мать была настолько неприятна герою, что тот вздрагивал, слыша ее голос. А эпизод со старым портсигаром? Любовь Алексеевна сразу поймет, что ты рассказываешь о ней. Это невозможно!

— Что же ты предлагаешь? — более чем сухо осведомился Куприн.

— Ты должен все смягчить, чтобы это не носило портретного сходства…

— Я обязан был написать об этом подлом времени молчания и нищенства и этом благоденственном мирном житии под сенью благочестивой реакции, — непреклонно возразил Куприн. — Дать правдивую картину этого прошлого я не мог, не описав того, что пережил сам.

Он молча ходил по комнате; Мария Карловна тихо плакала.

Прошло несколько дней, однообразных, с каждодневным послеобеденным преферансом. Как-то за картами Любовь Алексеевна спросила:

— Что же, Саша, когда наконец ты прочтешь нам свой новый рассказ?

— Рассказ? — быстро отозвался Куприн. — Хорошо, я прочитаю его сейчас.

Он вычеркнул из «Реки жизни» только одну фразу о том, что проклинает свою мать…

Поначалу Любовь Алексеевна смеялась, слушая, как ее сын мастерски, в лицах изображал семейство Зигмайер:

«— Вон отсюда, разбойник, вон, босявка! Я все кровные труды на тебя потратила! Ты моих детей кровную копейку заеда-а-ешь!..» — «Нашу копейку заедаешь!» — орал гимназист Ромка, кривляясь за материнской юбкой. «Заеда-аешь!» — вторили ему в отдалении Адька с Эдькой».

Но вот пошла последняя глава. Мария Карловна сидела, не подымая лица.

«Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью…»

Куприн продолжал читать. У Любови Алексеевны затряслась голова, она поднялась из кресла и вышла из комнаты.

Долго сердиться на сына, однако, Любовь Алексеевна не могла. Ради любимого Саши она готова была вынести все. Куприн убедил ее, что воспоминания эти были так же тяжелы ему, как и ей, но вновь пережить это ему — писателю — было необходимо. Возобновился послеобеденный преферанс, сопровождавшийся шутками и карточными фокусами Александра Ивановича.

Вскоре в Даниловское приехал «погостить» Батюшков.

Теперь они почасту ходили вдвоем с Куприным, забираясь в самую лесную и болотную глухомань.

— Как красиво! — восхищался Куприн, с трудом выдирая сапоги из вязкой трясины.

Болото растянулось на бог знает сколько сот, может быть, даже тысяч десятин. Волнистым синим хребтом вставал сосновый лес. Вся же окрестность была сплошь покрыта мелким кустарником, среди которого там и сям блестели на солнце, точно капли ртути, изгибы местных болотистых речонок.

— Еще бы! — вторил ему Батюшков, хлопая себя по породистым щекам, мокрым от раздавленных комаров. — Красота движет миром!..

— О нет! — пылко возразил Куприн, останавливаясь в глубокой, заросшей кугой луже. — Миром движет любовь. Только любовь!

Батюшков помог ему выбраться на сухое место.

— Под красотой я разумею не просто эстетическое чувство, — пояснил он, — но все прекрасное, что умещает в себе наше «я»: общественное благо, мировую справедливость и мировую душу…

— Простите, Федор Дмитриевич, — освобождаясь от налипшей тины, сказал Куприн, — но в ваших возвышенных границах мое «я» чувствует себя так же, как прошлогодний клоп, иссохший между двумя досками. Мое «я» требует полного расширения всего богатства моих чувств и мыслей, хотя бы самых порочных, жестоких и совершенно непринятых в обществе. И конечно, требует любви… Любовь — это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего «я».

Он взошел на поросшее брусникой взлобье, прислонился спиной к огромной мрачной ели и с пафосом воскликнул:

— Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность! Но в любви! Вся вышеперечисленная бутафория только и служит что оперением любви…

— Э, друг мой! — удивился Батюшков, останавливаясь рядом. — Вы говорите так романтически, словно сами влюблены, влюблены юношески…

— Так оно и есть, — тихо сказал Куприн и попросил: — Федор Дмитриевич! Я давно хотел предложить вам перейти на «ты»…

— С удовольствием, только, конечно, без брудершафта, — улыбнулся Батюшков. — Так, Александр Иванович, ты, оказывается, влюблен? Бог мой! В кого?

— Я люблю Лизу Геинрих…

— И это серьезно?

— Как никогда в жизни, — упрямо проговорил Куприн. — И не знаю, что мне делать. Посоветуй, Федор Дмитриевич!

— Ты говорил ей об этом? — Батюшков внимательно поглядел на Куприна.

— Нет… Может быть, она о чем-то и догадывается, но у меня не хватает сил.

— Ты обязан с ней объясниться! — взял его за руку Батюшков. — Понимаешь? Это совершенно необходимо сделать, чтобы не быть в двусмысленном положении…

Поздно вечером того же дня Куприн назначил свидание Лизе в парке возле пруда.

При свете месяца, вспыхивавшего холодным металлическим диском в разрыве туч, Куприн увидел милое лицо, в детских чистых глазах которого прочел страх и надежду. Он не знал, с чего начать. В наступавшей ночи, в свежести воздуха и слабых, неясных отзвуках далекой грозы, казалось, вот-вот вспомнится что-то очень важное, давно забытое, связанное с молодостью, подъемом сил, надеждами, ожиданием счастья.

Низкие тучи надвигались быстро, цепляя верхушки лип.

Скоро не стало видно ничего: ни туч, ни кустарников, ни Лизы. Куприн нашел в темноте ее маленькую холодную ручку.

— Лиза, — сказал он горячечным шепотом, — я понял, что больше всего на свете, больше себя, семьи, своих писаний люблю вас… Понял, что без вас не могу жить…

Наверху загрохотало и оборвалось с сухим треском — молния и гром явились почти одновременно, с ничтожным разрывом.

— Что вы, что вы! — в отчаянии ответила Лиза. И хотя говорила она чуть слышно, Куприну показалось, что гром, уже непрерывно грохотавший, не может заглушить ее шепота. — А как же Люлюшка? Как же вы можете даже подумать о том, чтобы оставить ее?..

— Я не знаю, что мне делать, но я не могу без вас, — тупо повторил Куприн. — Выслушайте меня до конца…

Она вырвала руку и побежала. Куприн, натыкаясь на деревья и кусты, бросился за ней к усадьбе, где уже не светилось ни одно окно.

Рано утром Лиза Гейнрих, никого не известив, покинула Даниловское.

6

— Прохор! Про-охор!

Крошечный седой старичок, совмещавший в «Капернауме» обязанности швейцара, официанта и слуги за стойкой, на ходу кланяясь, семенил к Куприну.

— Еще четверочку!

Куприн бушевал в Петербурге. Он переезжал из роскошных ресторанов в затрапезные кабачки вроде «Давыдки» и «Капернаума», пил в «Вене», загонял лихачей, гулял с цыганами и не отпускал от себя никого из честной компании — Трозинера, Трояновского, Рославлева, Регинина. Лиза Гейнрих исчезла. Все розыски, предпринятые Куприным, оказались безуспешными. Утром, еще не расцепив веки, он звал Маныча и через несколько минут после бокала шампанского погружался в мутно-сладостный водоворот похмелья. За завтраком с водкой обсуждался только один вопрос: куда отправиться сегодня…

— Александр Иванович! Вас спрашивают… — Прохор принес четверть бутылки коньяку. Такими же четверочками, уже пустыми, был заставлен угол стола.

Куприн, тяжело повернувшись на стуле, оглядывался со

злобой и скукой. Он узнал редактора газеты «Понедельник» Илью Василевского.

— Чего тебе?

— Рассказ… Только обещайте, Александр Иванович… — вкрадчиво сказал тот. — Гоняюсь за вами вторые сутки… Гонорар даю вперед. Плачу семьсот пятьдесят за лист… — И потянулся за бумажником.

Маленькие глазки Куприна налились кровью.

— Геть отсюда! — так страшно закричал он, что Василевского сдуло.

Потом схватил салфетку, свернул ее жгутом и начал крутить. Шея у него надулась, и нижняя губа оттопырилась. Салфетка лопнула.

— Экая силища! — восхитился Трозинер и потребовал еще четверочку.

— А я, — проговорил Рославлев, огромного роста, непомерно толстый, — так не могу. У меня слабые руки… Зато на спор оглушу сейчас двадцать пять бокалов пива.

— Держу пари, нет! — воскликнул Трояновский, откидываясь на спинку стула.

— Держись, юнкер! Не лопни, Рославлев! А то опять тебе баранью котлету к брюху! — восторженно завопил Вася Рапопорт.

Прохор принес пива на подносе. Рославлев откинул волосы, раздвинул ноги и начал пить.

Куприн пристальным невидящим взглядом вперился в него. Трозинер гладил Трояновского по волосам, напевая на мелодию Оффенбаха:

Ах, наш юнкер проиграл,
Проиграл, проиграл!
Ай-яй-яй, какой скандал,
Ах, скандал! Да!..

Рославлев, охая и повторяя: «Кишочки болят», — приканчивал двадцать третью кружку. Вася Рапопорт возгласами подбадривал его. «Где я? — с тоской подумал Куприн. — Что они тут делают? И Маныча где-то потеряли… Лиза! Лиза! Лиза! — Билась кровь в запястьях, под левой лопаткой, в висках. — Все погибло! Назад пути нет. Но и Лизы нет тоже!»

Куприн вскочил на стол и принялся топтать по нему, разбивая крепкими ногами рюмочки, стаканчики, бутылочки из-под коньяку. Друзья, сидя на стульях, хлопали в ладоши, подпевая джигу. Рославлев хотел было тоже встать, приподнялся, но повалился всеми своими девятью пудами вместе со стулом на

пол. Куприну вдруг представилось, что он в Даниловском танцует на елке, а навстречу идет Батюшков.

— Федя! — прорыдал он. — Мой единственный друг!

Батюшков помог ему слезть со стола.

— Саша, я нашел Елизавету Морицовну. Она работает в отдаленном госпитале, в отделении заразных больных…

Куприн, медленно трезвея, слушал его. Младенцем ревел завалившийся под стол Рославлев.

— Я постарался объяснить ей, — продолжал Батюшков, — что твои разрыв с Марией Карловной окончателен, что ты погибаешь и что только она может тебя спасти.

— Да-да, спасти… — механически повторил Куприн. — Спасать — ее призвание!

— Саша, она согласна. Но ее твердое условие: ты тотчас же перестаешь пить и отправляешься лечиться в Гельсингфорс…

19 марта 1907 года Куприн с Елизаветой Морицовной выехали в Финляндию.

7

Счастье, всеохватывающее бурное чувство, близость любимой и любящей женщины. Но покой не приходил. Теперь, когда Куприн ясно понимал, что закладываются основы простого и прочного быта, семьи, особенно остро ощущались отсутствие очага, дома. Куприн мечется по России, ненадолго останавливаясь то в Гурзуфе, то в Гатчине, то в Ессентуках, куда его загоняет ревматизм, то снова в Финляндии, то задерживается в Житомире, где в это время была его любимая сестра Зинаида Ивановна Нат. В этот сравнительно короткий период кочевья, переездов, нахлынувших забот он пишет много и вдохновенно: «Суламифь», «Изумруд», начало «Листригонов», первая часть «Ямы»…

Над «Ямой» он работал в Житомире, создавал картины «дна», стремился привлечь внимание общественности к проституции как тяжкому социальному явлению, а на его взгляд, более страшному, чем мор или война.

Но литературные страсти, общественные столкновения докатывались и до тихого Житомира, выбивая впечатлительного Куприна из рабочего настроения, понуждая волноваться, сопереживать и злиться на себя от сознания бессилия изменить что-либо.

Из газет он узнал об очередном разразившемся литературном скандале, жертвой которого стал его хороший знакомый, прозаик и драматург Евгений Иванович Чириков.

Суть была в следующем.

У известного петербургского артиста Н. Ходотова в присутствии большой группы литераторов и журналистов читалась новая пьеса Шолома Аша «Белая кость». Сам Ш. Аш, еще недавно воспевавший в своих рассказах силу и жизненность социальных «низов» местечка и обличавший бессилие и клерикальную реакционность «верхов», в годы общественной реакции все более обращался к идеализации национально-религиозных традиций, истории Израиля, а затем (по словам советского критика И. Нусинова) стал создавать произведения, насыщенные «националистической апологетикой библейской красы и средневековой героики народа-богоносца». Драма «Белая кость» явилась переломной в этой эволюции, обнаружив в себе идеализацию патриархального прошлого и многовековых устоев зажиточной торгово-мещанской среды.

Мнения слушателей разделились. Часть литераторов недоумевала, почему Ш. Аш в своей пьесе идеализировал заядлую мещанку-хищницу Розу; другие — журналисты, критики и писатели, в том числе и модернистского толка, обычно отрицавшие реализм и презрительно третировавшие «бытовиков», всячески превозносили драму Ш. Аша и его героиню.

В ответ на критику автор пьесы сказал искреннюю и горячую речь, суть которой неожиданно для присутствующих свелась к тому, что русский человек вообще не способен понять его пьесы и чтобы Роза предстала перед слушателями в истинном свете, как героиня фантастического склада, спасающая аристократическую кровь своих предков, необходимо либо самому быть евреем, либо по крайней мере прожить среди этого народа пять тысяч лет. Ошеломленное таким доводом собрание молчало, никто Шолому Ашу не возразил.

Только Чириков поднялся и, отдав должное художественным достоинствам произведения, все же заметил:

— Если, по вашему мнению, мы не способны понять вашу пьесу, то отсюда следует и обратное: тогда и вы не способны понимать нас, наш быт, психологию, характер…

Затем Чириков говорил о том, что национальность и быт действительно всегда неразрывно связаны между собой, но высказал сожаление, что в некоторой части интеллигенции вопрос о национальности превалирует над всеми прочими.

— Это началось, — заявил он, — со времени отделения Бунда от единой социал-демократической партии, что когда-то на меня,

русского интеллигента, вскормленного идеалами братства и равенства, произвело весьма огорчительное впечатление. И когда мне, русскому, противопоставляют лозунг «Мы — евреи», в таком случае мне позволительно ответить: «А я — русский…» Да, я русский! Не из «Союза русского народа», а просто русский.

Услышав тихий, но явственный ропот, Чириков закончил:

— Впрочем, как вам будет угодно… — и махнул рукой.

Эти слова, высказанные в узком кругу профессиональных литераторов, тем не менее послужили предлогом для шумной и бранчливой кампании, которую открыла петербургская просионистская газета «Фраинд» и которую подхватили и некоторые другие органы печати, включая популярное «Русское слово». Чириков был назван ярым антисемитом, ему голословно приписали неизвестно кем придуманные высказывания о «захвате русской литературы», угрозы вроде того, что «мы вам покажем», «мы будем бороться против вас» и т. д.

Без сомнения, о чем пострадавший, конечно, не знал, все это было инспирировано сионистскими кругами, которым была нужна идейная платформа для переманивания на свою сторону еврейской интеллигенции, и прежде всего той, которая тянулась к социал-демократии, любым путем, вплоть до клеветы, шантажа, дезинформации.

Деятельность сионистов уже в 1900-е годы несла реакционный характер, ибо противоречила классовым интересам трудящихся и была направлена на всемерную защиту власти и имущества крупной еврейской буржуазии и клерикалов, капитализма в целом. В. И. Ленин, вскрывший антинаучную и реакционную сущность идеологии и политики сионизма, указывал, что «сионистская идея — совершенно ложная и реакционная по своей сущности»3. Идеологи сионизма в России опирались уже в ту пору на мощный пропагандистский аппарат и стремились использовать в своих целях любой, даже второстепенный, довод. Не оказался исключением и «инцидент Чириков — Ш. Аш».

Напрасно пытался Чириков со страниц газеты «Новая Русь» отвести наветы, напрасно повторял, что не говорил «ни о каком захвате русской литературы», «ибо русскую литературу с такими колоссами, как Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Лев Толстой, Чехов, никто захватить не может» и такой чести он оказать никому не волен. Напрасно с коллективным протестом против искажения речи Чирикова выступили присутствовавшие при чтении пьесы А. Санин, С. Найденов, А. Рославлев, К. Арабажин, Дм. Цензор, сам хозяин — Н. Ходотов и другие. Газетные страсти разгорались, направляемые какой-то

невидимой, опытной и достаточно могучей рукой.

Этот, казалось бы, незначительный эпизод глубоко взволновал и Куприна. В его душе давно уже копился протест против узкого фанатического национализма в любых его проявлениях — от черносотенного «Союза русского народа» и до сионистских идей. Особенное несогласие и даже возмущение вызвали у него фельетоны Владимира Жаботинского, посвятившего «чириковскому инциденту» четыре выступления.

В. Жаботинский — один из самых крупных идеологов сионизма в России, который пытался в 1900-е и 1910-е годы использовать в своих целях любые силы, начиная от «Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России» (Бунда) и кончая Петлюрой, а еще позднее выказал себя заклятым врагом палестинцев и, по определению современного фашиствующего сиониста Кахане, «легендарным создателем еврейского легиона». Не скрывая своих расистских убеждений, В. Жаботинский печатно приветствовал погромы и антисемитизм как прекрасный «повод для сионистской агитации». Он пропагандировал необходимость презрительной отчужденности еврея, «гостя на чужой земле», к другим народам. В статье «О евреях в русской литературе» Жаботинский писал: «… при нынешнем моем положении воздаю кесарево кесареви, а божие держу при себе. Исповедуя лояльный космополитизм, и ни на сантиметр больше».

Смысл и суть фельетонов В. Жаботинского о «чириковском инциденте» сводится к тому, что в глубинах русского общества и русского народа якобы таится если не антисемитизм, то «асемитизм», что вся русская литература в лице ее великих представителей, художественного таланта которых он, Жаботинский, не склонен умалять, — от Гоголя, Пушкина, Достоевского, Тургенева, Некрасова, Лескова, Чехова и т. п. — якобы несет в себе семена «национальной исключительности» и с глубоким презрением касается всего, что связано с «нерусским»… В итоге В. Жаботинский обращается к нерусским народностям России и призывает их к «фактическому разрыву с великорусской культурой».

Статьи В. Жаботинского заставили Куприна задуматься над тем, мимо чего он ранее проходил, мирясь как с чем-то неизбежным, от века существующим. И когда в Житомире он получил письмо от «тишайшего» Батюшкова, который горячо принял сторону Е. Чирикова, все давно копившееся прорвалось в ответном послании к другу.

Творчество Куприна, как и его взгляды, всегда отличали широта, демократичность, подлинный интернационализм. С любовью и теплотой описывает он в своих произведениях людей

самых разных национальностей — русских, украинцев, татар, евреев, черемисов, греков, японцев, французов и не раз с гордостью повторяет слова о текущей в его жилах «бешеной» татарской крови князей Кулунчаковых. Именно он, русский писатель Куприн, в опровержение националистических высказываний Шолома Аша о «герметичности», глубоко проник в быт и характер еврейского народа. Но тот же Куприн увидел и опасность узкого религиозного фанатизма и сионизма, исповедуемых многими и многими буржуазными идеологами и насаждавшихся ими.

И когда он писал свое ответное послание Батюшкову — послание страстное, с перехлестами, даже несправедливыми крайностями и грубостями, срывавшимися под горячую руку, то стремился защитить родную культуру, русскую литературу и русский язык, который «даже от нас, вскормленных им, требует теперь самого бережного и любовного отношения».

Куприну претили защитники узконациональных, особо понятых интересов еще и потому, что они ставились «куда выше народных, мужичьих». А ведь сколько несправедливости, социального зла, притеснения творилось вокруг! Целые сословия, классы, народности нуждались в помощи и защите писателя — «заступника народного». Но кому-то понадобилось сосредоточить всеобщее внимание прессы, общества, либеральной интеллигенции на частном споре двух литераторов, придав ему неоправданно обобщающий характер.

Гнев гражданина, боль интернационалиста и гуманиста видны за строками этого письма, клеймящего бесчеловечную политику царизма по отношению к бесправному крестьянству, к подневольным народам и нациям. Однако порою и сам Куприн невольно подпадает под воздействие сионистской пропаганды, готовый видеть в еврейском народе нечто обособленное, противостоящее всем остальным нациям. В его письме Батюшкову попадаются прямые заимствования и раскавыченные цитаты из фельетонов В. Жаботинского. И конечно, обобщения Куприна никак не могут быть приняты сегодня, когда несостоятельность претензий сионизма стала окончательно очевидной.

Горячо и страстно объясняется он в своей сыновней любви к России. Русские, отмечает он, так уж созданы от природы, что умеют болеть чужой болью как своей. Они сострадают Польше и отдают за нее жизнь, борются за еврейское равноправие, волнуются за Болгарию, идут волонтерами к Гарибальди и отправятся, если будет случай, даже к восставшим ботокудам. И никто, по его мнению, не способен так великодушно, так скромно, так бескорыстно и так искренне бороться за счастье

будущего человечества, как русские. Не оттого ли, спрашивает Куприн, русской революции так боится обретшая мещанскую конституцию Европа с немецким и французским буржуем во главе.

Тверже, чем в собственный завтрашний день, верит Куприн в великое мировое предназначение своей страны. И оттого призывает с особым тщанием хранить чистоту ее культуры, литературы, языка. Хранить от спешки, от халтуры, от ловкой посредственности, игры на злободневном «моменте» при полном равнодушии к специфике и душе породившего эту литературу народа. Он с ужасом говорит о том, что в прелестный русский язык вносятся сотни немецких, французских, польских, торгово-условных, телеграфно-нелепых и противных слов, что критика обретает припадочную истеричность и пристрастность, что беззастенчивые бульварные проныры журналисты полезли в постель, в нужник, в столовую, в ванную к писателям.

Иными словами, в русской литературе появилось многочисленное племя беззастенчивых дельцов, которым нет дела до каких-либо идеалов, но которые рассматривают ее как одну из форм коммерции. Против них Куприн возвышает свой голос и в публичных лекциях, и в многочисленных интервью. Не будучи теоретиком словесного искусства, но оставаясь подлинным и чутким художником, Куприн не раз темпераментно и горячо говорил о первородстве литературного таланта, о крепкой связи его с родиной и землей.

«Какое это большое счастье для писателя, если его самые первые, а значит, и самые яркие впечатления бытия, эти богатые запасы на всю грядущую жизнь, украшены неразрывной настоящей близостью к милой, родной земле, к реке, к яблокам, к хлебам, к тихим весенним зорям, к ярким летним грозам, снежным первопуткам, собакам, лошадям, пчелам, грибам, землянике, смолистому бору, к троицыным березкам, к простому, меткому и живописному цельному языку, — писал он в одной из статей десятых годов. — Все это похоже на здоровое целебное молоко самой матери-земли. И не этому ли чудодейственному крепкому напитку в значительной степени обязаны красотой своих талантов и Толстой, и Тургенев, и Гончаров, и даже Чехов, видевший в детстве южные степи, а из настоящих писателей — Бунин?». Выделяя подлинных художников и относя к ним Короленко, Горького, Бунина, Шмелева, Серафимовича, он говорил в одном из своих выступлений: «Но кроме этих художников, преданных быту и старым реалистическим традициям, есть еще огромная группа писателей, которые пишут, не задумываясь над тем, для чего они пишут. Из их лагеря вышли

нелепые девизы: «Искусство для искусства», «Смерть быту» и прочее. Это значит, что они знают, быть может, как писать и что писать, но им совершенно неведомо то внутреннее сияние, то «во имя», которым светилась вся русская литература, начиная с Пушкина».

Это «во имя» оставалось подлинной путеводной звездой в творчестве самого Куприна, к чему бы он ни обращался — к жизни маленького одесского кабачка, где вдохновенно играет Сашка-музыкант на скрипке, или к трогательному чувству маленькой красивой Суламифи к поэтичному и мудрому Соломону, или к судьбе несчастных четырнадцати «падших» женщин, выведенных им в романе «Яма».

Работу над «Ямой» Куприн продолжил в Одессе, куда переехал с женой и годовалой дочерью Ксенией осенью 1909 года.

Он давно уже и нежно любил этот шумный, многоязычный город, едва ли не красивейший в России. Любил его громадный, один из самых крупных портов мира, куда заходили и темно-ржавые гигантские броненосцы, и желтотрубые пароходы Добровольного флота, перевозящие на Дальний Восток грузы и тысячи каторжан, и прелестные издали двух- и трехмачтовые итальянские шхуны, и диковинные таинственные суда с непонятным грузом и тряпкой вместо флага… Любил грандиозную гранитную лестницу, спускавшуюся к морю и увенчанную бронзовым «дюком» — славным губернатором Одессы герцогом Ришелье. Любил розовый воздушный дворец Воронцова, буйство белой акации весной на Французском бульваре, величественный памятник Екатерине Великой, вызолоченный, ювелирной лепки Оперный театр, тяжеловесную биржу, где бился хозяйственный пульс страны, кипела деловая жизнь…

Любили в Одессе и Куприна. По его приезде один из пылких поклонников писателя, еврей-маклер, бесплатно предоставил в его распоряжение дачу на Большом Фонтане. Это был огромный дом со множеством комнат и светелкой наверху, где Куприн устроил кабинет. Впрочем, дачный сезон уже заканчивался, соседние дома пустовали, и Лиза пугалась по ночам. Куприн успокаивал ее, находя самые веские аргументы.

— Сюзинка! — лукавил он. — Здесь идеальные условия для работы. Представь, что мы снимем квартиру в центре города. Тотчас же начнется паломничество начинающих литераторов, нанесут рукописей… Добро бы только отнимали время. Да нет! Еще выслушают беспристрастный отзыв и тебя же обругают… А на меня как раз напал сейчас писучий период.

Елизавета Морицовна вздыхала и, ничего не возражая,

уходила в детскую: маленькая Ксюша болела животом.

Куприн подымался в свою светелку. Хотя работа шла медленно, через силу, он позволял себе лишь редкие выезды в город.

Изо всех многочисленных увеселительных заведений, которыми была столь богата тогдашняя Одесса, всего более по сердцу Куприну давно уже пришелся невзрачный кабачок «Гамбринус», прославленный им в знаменитом рассказе. Но завсегдатаи пивной, чокаясь с Куприным кружкой, не ведали не только о том, что их любимое заведение с замечательной точностью описано этим низеньким квадратным силачом в пестрой татарской тюбетейке на голове, стриженной под ежик, но даже и о том, что силач этот — известный всей читающей России писатель.

О несправедливости такой судьбы горячо толковал Куприну одесский корреспондент «Русского слова» Гриша Горелик, высокий, изящный, в прекрасно сшитой тройке. Своим видом, одеждой, подчеркнуто аристократическими манерами и большой богемской булавкой в галстуке, сверкавшей лучше настоящего бриллианта, он являл собой разительный контраст и с обстановкой «Гамбринуса»: сочащаяся со стен вода, пол, густо посыпанный опилками, тяжелые дубовые бочки вместо столов, а вместо стульев бочоночки, — с простецкими посетителями пивной и с самим Куприным: всклокоченные короткая каштановая бородка и мягкие усы, потертый пиджачок.

— Что вы находите занятного, Александр Иванович, в этом вертепе? — говорил он Куприну, изящно оттопырив мизинец и разглядывая пиво на свет. — Рассказ вы написали-таки, да, замечательный, но ведь нового вам здесь уже ничего не покажут. Поедемте в «Лондонскую» или в «Аркадию». Там шикарно, там сейчас все сливки интеллигентной Одессы. А тут? Пропахшие макрелью рыбаки да портовые воры…

Куприн необидно засмеялся и погрузил губы в пивную пену.

— Черт бы побрал, Гриша, твою интеллигенцию, — не сразу ответил он. — Поскреби любого интеллигента, и перед тобой окажется трусливый обыватель, который читает чужие мысли, повторяет чужие мысли и живет чужими мыслями…

— Но все-таки пишете-то вы для этих обывателей, — не без яда заметил Горелик.

— Ты прав! — хлопнул его Куприн по плечу. — Но люблю куда больше вот этих людей. — Он обвел низкую залу рукой. — Все они молоды, здоровы, пропитаны крепким запахом моря. Все знают тяжесть труда, любят прелесть и ужас ежедневного риска, ценят выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость

крепкого слова… Вон погляди, какой великолепный экземпляр человеческой породы появился в зале… Постой, да он вместе с моим приятелем — антрепренером Сашей Диабе!

Пара направилась к их бочке. Диабе, смазливый, кругленький, в бархатном жилете, сказал:

— Александр Иванович! Это Иван Заикин. — Потом жест в сторону сидящих: — Журналист Горелик. — И с поклоном: — Писатель Куприн…

При последних словах по толстому, как бы ленивому, с нафабренными усами лицу атлета прошло оживление. Заикин повернулся к Горелику, явно принимая его за писателя Куприна. Диабе легонько подтолкнул его: не тот. Заикин был разочарован. Вот если бы писателем оказался аристократического вида Горелик, то другое дело. А этот квадратненький совсем не походит на знаменитость: и одежонка на нем простенькая, и сам простоват с виду.

— Слышал про вас, — проговорил борец больше из вежливости, устраиваясь на неудобном для его гигантского тела бочоночке. — А вы много написали книжек?

Куприн оглядел его, прищурив маленькие смеющиеся глазки.

— Разве вы не читаете книг?

— Да нет, милый, некогда было учиться, — вздохнул Заикин.

— Жаль. Такой ядреный образец человеческой породы, и вдруг безграмотный, — ответил Куприн. — А вот я вас прекрасно знаю. Много раз видел. Как вы в цирках носили пароходные якоря, как держали на плечах тавровые балки. — Он сдвинул на затылок пеструю тюбетейку, припоминая: — Или был еще номер «Бегство разбойника Чуркина из железной клетки в исполнении волжского богатыря Заикина… Эту клетку он разломает и выйдет на волю. Тому, кто еще сумеет разогнуть решетку, будет выдана премия»…

Заикин, расплываясь на маленьком бочоночке, просиял:

— Этот номер мне подсказал сам Алексей Максимович Горький. Вишь, милый, тогда была революция, и ломание кандалов и клетки народ принимал горячо…

Через полчаса, когда Горелик и Диабе откланялись, Куприн и Заикин были уже на «ты» и говорили как добрые старые друзья…

— Поехали завтра на аэродром? — предложил, расставаясь, Куприн. — Будет летать Уточкин.

— Поедем, Лексантра Иваныч, — с готовностью согласился Заикин. — Уточкина я знаю. Артист!

Впрочем, Уточкина знала вся Одесса. Когда он ехал по городу на своем спортивном «пежо», уличные мальчишки, высшая степень популярности, бежали за ним и дразнились: «Уточкин,

рыжий пес». Он был действительно рыж, этот светлоресницый, синеглазый человек, в котором чувствовалась звериная ловкость, сила и находчивость. Это ему Куприн вверил свою жизнь, когда 13 сентября 1909 года вместе с редактором «Одесских новостей» Хейфицем и Гореликом совершил полет на воздушном шаре. Уточкин перепробовал почти все виды спорта, но, достигнув в каждом из них верха, тотчас же переходил к другому: велосипед, гоночный автомобиль, спортивный парусник, боксерский ринг, аэростат и, наконец, аэроплан.

Когда в многотысячной толпе они наблюдали за изящным, мастерским полетом Уточкина, Заикин со свойственной упрямым волжанам внезапной решительностью сказал:

— Я тоже буду летать!

Куприн мгновенно отозвался:

— Иван Михайлов! Беру с тебя слово, что первый, кого ты поднимешь из пассажиров, буду я!

Их уже окружили знакомые — рыбаки с Большого Фонтана, борцы — Ярославцев и негр Мурзук, репортеры, журналисты, забыв на какое-то время, что в небе кружит «фарман» Уточкина.

— Ну что ж, — добродушно пробасил Заикин, — обещаю!..

8

Было очень холодно, и дул норд-вест. Для облегчения веса Куприну пришлось снять пальто н заменить его газетной бумагой вроде манишки. Кто-то из толпы предложил меховую шапку с наушниками, кто-то пришпилил английской булавкой газетную манишку к жилету, кто-то завязал Куприну под подбородком наушники шапки, и они с Заикиным пошли к самолету.

— Лексантра Иванович, а может, не полетим? — вдруг сказал с беспокойством Заикин. — Не стоит рисковать тебе жизнью. Аппарат мой несовершенный… Да и беспокоюсь, дяди мы с тобой тяжеловесные, по семи пудов каждый. Аэроплан не рассчитан на такой груз…

— Я готов, Ваня, — коротко ответил Куприн.

Заикин обернулся к мотористу-французу:

— Жорж! Подлей бензину и масла с таким расчетом, чтобы полетать час-два, до самого темна…

Боже мой! Когда Куприн видел «фарман» раньше, в тихий солнечный день парящим высоко в воздухе, тот выглядел маленькой, легонькой, грациозной стрекозой. А теперь вблизи

аппарат оказался бессмысленным нагромождением желтых планок и плоскостей, перевитых проволокой. Кое-как усевшись, Куприн обнаружил Заикина где-то ниже себя на таком же детском креслице.

Упрямый неграмотный великан добился своего: он уже совершил несколько полетов над Одессой и теперь мечтал показать свое искусство Куприну. Заиграла музыка. «Не испытывает страха только труп», — вспомнил Куприн слова одного из самых отважных русских генералов, когда аэроплан покатился по земле, подпрыгивая вверх метров на пять и снова жестко стукаясь колесами. Наконец встречный воздух поднял «фарман», назад побежали трибуны аэродрома, каменные стены, поля, деревья, фабричные трубы.

Сильный ветер с моря заваливал аппарат, не позволяя набрать высоту. Чувство страха давно покинуло Куприна, все внизу казалось таким смешным и маленьким, точно в сказке. Он не знал того, что Заикин изо всех сил старается выровнять машину, боясь, как бы «фарман», снижаясь, не зацепился за трубу или крышу здания.

Аэроплан повернул влево, и ветер, который прежде был помощником, заставил натужно чихать пятидесятисильный мотор «гном». «Фарман» клюнул носом. Первое время Куприн видел Заикина немножко ниже своей головы. Вдруг голова пилота оказалась почти у купринских колен. Со странным равнодушным любопытством наблюдал Куприн, что их несет на еврейское кладбище, где на тесном пространстве скопилось тысяч до трех народа.

Только позднее Куприн узнал, что Заикин, сохранивший полное хладнокровие, успел рассчитать, что лучше пожертвовать аэропланом и двумя человеческими жизнями, чем произвести панику и, может быть, стать виновником многих жертв. Он очень круто повернул влево, и желтый «фарман» врезался левым крылом в землю, метрах в двадцати от публики.

Треск, звон, крики ужаса.

Куприн крепко держался за вертикальные деревянные столбы, но его выбросило, как мячик, метров на десять. Рядом под обломками аэроплана неподвижно лежал Заикин.

— Убились! Разбились! — неслось из толпы.

В горячке катастрофы не чувствуя боли, Куприн вскочил на ноги и бросился к Заикину:

— Старик! Что ты? Жив?

Вероятно, тот был без сознания секунды три-четыре, потому что не сразу ответил. Но первые слова Заикина были:

— Мотор цел?

Куприн помог ему подняться. Знакомые и незнакомые лица окружили их, повели. Сидя за чаем, Заикин плакал. Куприн старался утешить его как мог, понимая, что виноват в случившемся. Аппарат летел низко, так как вес Заикина и Куприна оказался слишком тяжелым для маломощного «фармана».

Миллионеры братья Пташниковы, желавшие нажиться на удивительной дерзости безграмотного, но отважного, умного и горячего человека, потребовали провести расследование причин катастрофы. Заикину угрожала многотысячная неустойка. Его авиационная карьера на этом лопнула. Самого Заикина с переломом ноги отвезли в больницу; Куприн отделался синяками да повреждением коленной чашечки.

Приятели — Горелик, Диабе и сам великий Уточкин потащили Куприна в ресторан. Елизавета Морицовна лежала в шоке: ей сообщили, что желтый «фарман» рассыпался на куски, но о счастливом исходе не сказал никто.

Уточкин за красным вином пылко ораторствовал:

— Кажется, я всегда тосковал по ощущению, составляющему теперь мою принадлежность — принадлежность счастливца, проникшего в воздух. Мне часто приходилось летать во сне, и сон был упоителен. Но ведь действительность силой и яркостью переживаний превосходит фантастичность сновидений. Александр Иванович! Нет в мире красок, способных передать полет. Безудержность упоения! Восторг! Земля, мой враг, уже в десяти саженях подо мной!

Куприн хмыкнул. Уточкин покосился на его забинтованное колено и так же пылко продолжал:

— Со стороны говорят: «Это опасно». Так что же? Разве вы не уйдете в вечность? Будем же жить, овладеем природой, перестанем бояться полного слияния с миром потому, что это может случиться немного раньше. Всех зову с собою в мое новое прекрасное царство!..

Куприн отшучивался:

— Когда желтый самолет рассыпался на мелкие части по зеленому полю, это было похоже на яичницу с луком… — Потом, посерьезнев, добавил: — Но в твое прекрасное царство, Сергей Исаевич, я больше не полезу… Не по мне оно!

Слова своего Куприн не сдержал и в сентябре 1916 года летал уже на военном «Фармане-парассоле» с летчиком Коноваловым. В том же году в воздушной катастрофе погиб Уточкин…

В Одессу приехали Бунин и художник Нилус.

Бунин со своей женой Верой Николаевной жил у приятеля, смотрителя одесского музея Куровского. В отличие от Куприна он отдавал литературному труду строго определенные часы. Раз и навсегда заведенный, торжественный распорядок царил в бунинской семье, где бы он ни останавливался — в Ефремове ли Тульской губернии, у брата Евгения, в Москве ли, на Поварской — у старшего, Юлия, в деревне Глотове, в Питере, в Одессе.

Странно шла у Куприна с Буниным дружба в течение целых десятилетий: то бывал он нежен, любовно называл Бунина Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый. Натура Бунина и притягивала и отталкивала его: полная противоположность, антипод и как художник — золотая сухость, далекая купринскому теплому мастерству. Куприн порою болезненно ощущал бунинское превосходство, ценил его замечательный русский язык, огромную жизненную наблюдательность и восторженный культ красоты…

В одесской квартире Куровских, в маленькой столовой Куприна встречала Вера Николаевна, светлая, русоволосая, с большими «леонардовскими» глазами, до самозабвения влюбленная в своего Яна.

Бунин заканчивал в кабинете рассказ. Вера Николаевна предлагала чай с кренделечками и сейчас же начинала говорить о том, как много и хорошо работает Ян, какой он талантливый и как мало получает денег в сравнении, например, с присяжными поверенными.

— Иной адвокат накрутит, наговорит со слезами на глазах, и ему заплатят за это пятьдесят тысяч. А заплакать ему ничего не стоит, — иронизировала она. — Ян же едва-едва на одном крепком чаю, пренебрегая здоровьем, выписывает в месяц три печатных листа и получает за лист всего двести пятьдесят рублей. А надолго ли его хватит с такой работой?..

Куприну становилось не по себе, он отшучивался, тоскливо, как большой зверь в клетке, оглядывался вокруг. Вот его взгляд упал на большую фотографию молодой Веры Муромцевой, когда она была бунинской невестой.

— А вы помните, Вера, — прервал он, уже улыбаясь, ее сетования, — как я повенчал вас в церковном браке с Иваном?

Вера Николаевна расцвела.

— Еще бы! Как не помнить моего шафера!

— И ведь в роли певчего нигде не оступился. Я же когда-то в глухом полесском селе был псаломщиком…

Появился Нилус. Лицо у него широкое, калмыцкое, всегда

загорелое, как у капитана дальнего плавания. С его приходом окончательно воцарилась та простецкая атмосфера, которую только и любил Куприн.

— Нет, что ни говорите, а Одесса уже поднадоела, — возгласил Нилус так громко, что Вера Николаевна невольно поднесла указательный палец к губам. — Мне уже не хватает здесь натуры… Не Айвазовский же я в конце концов, чтобы рисовать эту воду квадратными верстами.

— Так вот, Петр Александрович, — отозвался Куприн. — Я и предлагаю: двинем к Батюшкову в Даниловское… Какой простор! Какие поля, леса кругом! Сколько живописного материала!

Испросив разрешения у Веры Николаевны, Нилус набил табаком коротенькую трубочку, раскурил ее, посверкивая маленькими зоркими глазами.

— Меня ты уже убедил, — неторопливо ответил он. — Но надо же спросить и Ивана.

Вошел наконец Бунин, сухой, строгий, устало потирая лоб и глаза. Рассеянно поздоровавшись, сел к столу и, ссутулясь, принялся мешать ложечкой чай.

— Так и не нашел концовки, — тихо, словно сам себе сказал он. — Она, конечно, отдается проезжему прасолу, но затем уводит его лошадей и впадает в безумие… А вы о чем тут витийствовали? О твоем новом романе, Саша? Я слышал бас Петра…

— Завидую я, как ты работаешь, Иван, — выпалил Куприн. — К столу я себя притягиваю за волосы и с отвращением докапываю «Яму». Тяжеловато мое отхожее занятие. Хочу писать еще. Но черт побери! Прямо против моего окна на соседней даче привязаны на цепи два огромных пса. У нас тоже две собаки сидят на цепи и две свободны. И вот с утра между ними и другими начинается самая площадная ругань, в пяти аршинах от меня…

— Раньше, помнится, ты не был так требователен, — улыбнулся короткой улыбкой Бунин. — Помнишь, как ты здесь, в Одессе, в разбитых штиблетах писал «Ночную смену»?

— Помню! И никогда не забуду! — сухим порохом вспыхнул Куприн. — Как ты отослал «Ночную смену» в «Русское богатство». Как добыл в «Одесских новостях» четвертную — аванс под какой-то мой дрянной рассказишко. Как я ожидал тебя на улице. Как потом помчались сперва за штиблетами, а потом на лихаче к морю, в «Аркадию»… Сколько лет прошло? Пятнадцать?

— Только четырнадцать, — поправил его Бунин.

Куприн полушутливо пробормотал:

— Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого! Прошу

только, поедем со мной в Даниловское к Батюшкову.

— Признаюсь, твои рассказы о Даниловском меня умиляют. — Бунин покрутил бородку. — Но я не могу, как ты, так вот, внезапно сняться и полететь через всю Россию. Да и похожа ли реальность на тот рай, который ты нам расписал?

— Я еще недостаточно нахвалил его, — горячо сказал Куприн. — Не поедешь, пожалеешь. Вот увидишь, я еще напишу о Даниловском такой же цикл, как «Листригоны». Надо торопиться, спешить… — Он ощутил волну непритворной грусти, внезапно, разом окатившей его, и вовсе уж сумрачно закончил: — Ах, в августе мне уже сорок. Конец всем земным радостям, но и конец вину и всем безобразиям!..

Отступление четвертое ЗАГАДКА ХУДОЖНИКА

В обширном литературном наследии Куприна то оригинальное, что принес с собой писатель, по мнению современников, лежит на поверхности. «Его всегда спасает инстинкт природного здорового дарования… Неисправимый органический оптимист, особенное жизнерадостное здоровье, физиологическое равновесие очень трезвого и очень одаренного человека, который любит жизнь и умеет находиться с ней в дружеских отношениях…» — такие характеристики современной Куприну критики, бесспорно, имели под собой немалые основания. Симпатии Куприна на стороне не испорченных цивилизацией людей, живущих среди величественной и «дикой» природы.

Через все творчество Куприна проходит гимн природе, «натуральной» красоте и естественности. Отсюда его тяга к цельным, простым и сильным натурам. Борец Арбузов, спокойный и добрый гигант(«В цирке»); бесстрашный конокрад Бузыга, у которого «все ребра срослись до самого пупа» («Конокрады»); отважный атаман рыбачьего баркаса Коля Костанди, «настоящий соленый грек, отличный моряк и большой пьяница» («Листригоны», 1907—1911). Писатель откровенно любуется этими отважными людьми, как любуется он серебристо-стальным красавцем, четырехлетним жеребцом Изумрудом, у которого ноги и тело «безупречные, совершенных форм».

Этот культ внешней физической красоты становится для Куприна средством обличения той недостойной действительности, в которой красота гибнет. Умирает после состязания атлет Арбузов, само совершенство телесной гармонии. Отравлен замечательный рысак Изумруд. Унижена и сломлена красавица Шербачева, до полусмерти избитая извергом мужем. И все же, несмотря на обилие драматических ситуаций, в купринских произведениях бьют ключом жизненные соки, преобладают радостные, оптимистические тона. Куприн радуется бытию детски-непосредственно, как кадет на каникулах.

Таким же здоровым жизнелюбом, что и в творчестве, предстает и в своей личной жизни этот крепкий, приземистый человек со сломанным носом, узенькими зоркими серо-синими глазками на лице, которое не кажется таким круглым из-за небольшой каштановой бородки.

В молодости необычайно сильный физически, Куприн с

особой страстью отдается всему, что связано с испытанием крепости собственных мускулов, воли, что сопряжено с азартом и риском. Он словно стремится растратить запас не израсходованных в пору его бедного детства жизненных сил. Организует в Киеве атлетическое общество. Сорока трех лет вдруг начинает учиться стильному плаванию у мирового рекордсмена Л. Романенко. Вместе с Сергеем Уточкиным поднимается на воздушном шаре. Опускается в водолазном костюме на морское дно. Летит с Иваном Заикиным на самолете «фарман». Следя за его увлечениями, популярный в те годы юмористический журнал «Сатирикон» увещевал Куприна:

Лети, с орлами споря,
На шаре в небеса;
Надев резину, моря
Исследуй чудеса;
За Дантом вслед в античной
Исподней побывай,
Но все ж о горемычной
Земле не забывай!

Но есть что-то лихорадочное в поспешной смене всех его увлечений — французской борьбой и погружением в скафандре под воду, охотой и стилем кроль, тяжелой атлетикой и свободным воздухоплаванием. Есть что-то напряжённое в этом стремительном растрачивании сил и нервов в спорте, так же как и в кутежах, которые захватывают писателя и которым он отдается с той же широтой и беззаботностью. Словно в Куприне жило два человека, малопохожих друг на друга, а современники, поддавшись впечатлению одной, наиболее явной стороны его личности, оставили о нем неполную истину. Лишь наиболее близкие писателю люди, вроде Ф. Д. Батюшкова, сумели разглядеть, что «в ком была какая-то трещина, что-то наболевшее, давнее, накопившееся в результате разных превратностей в жизни…».

Если же мы обратимся к творчеству Куприна, то здесь бросается в глаза знаменательная аномалия. Те сильные, здоровые жизнелюбы, к которым как будто бы он был так близок по характеру своей личности, в его произведениях оттеснены на задний план. Преимущественное же внимание уделено героям, имеюшим с ним мало общего. Вот они перед нами — персонажи, которым Куприн доверяет все свои самые заветные мысли, сокровенные мечты, потаенные радости и страдания: подпоручик Козловский, чувствительный, сотрясающийся от рыданий, «точно

плачущая женщина», при виде истязуемого солдата-татарина; инженер Бобров, наделенный «нежной, почти женственной натурой» («Молох»); «стыдливый… очень чувствительный» Лапшин («Прапорщик армейский»); «добрый», но «слабый» Иван Тимофеевич («Олеся»); «чистый», «милый», но «слабый» и даже «жалкий» подпоручик Ромашов («Поединок»).

Где уж тут «неисправимый оптимизм», «неистребимый дикарь», «особенное жизнерадостное здоровье»!

В каждом из этих героев повторяются сходные черты: душевная чистота, мечтательность, человеколюбие, пылкое воображение, соединенное с полнейшей непрактичностью и безволием. Но, пожалуй, яснее всего раскрываются они, освещенные любовным чувством. Все они относятся к женщине с сыновней чистотой и благоговением. «Я обожал ее, но никогда не смел и слогом заикнуться о своем чувстве. Это казалось мне святотатством», — признается герой рассказа «Святая любовь».

Устами армейского ницшеанца Назанского («Поединок») в одном из его бурных монологов Куприн прямо идеализирует безнадежное платоническое чувство: «...сколько разнообразного счастья и очаровательных мучений заключается в... безнадежной любви? Когда я был помоложе, во мне жила одна греза: влюбиться в недосягаемую, необыкновенную женщину, такую, знаете ли, с которой у меня никогда и ничего не может быть общего. Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей». Не так ли и сам Куприн уже в старости, в эмиграции в течение ряда лет 13 января — в канун старого русского Нового года — уходил в маленькое бистро и там один, сидя за бутылкой вина, писал нежно- и почтительно-любовное письмо к женщине, которую очень мало знал, но которую любил скрытой любовью. Потребность в идеальном, очищенном от всего житейского романтическом чувстве жила в нем до конца дней.

Любовь до самоуничижения и даже до самоуничтожения, готовность погибнуть во имя любимой женщины — тема эта, затронутая неуверенной рукой в раннем рассказе «Странный случай». Стремясь воспеть красоту высокого, но заведомо безответного чувства, на которое «способен, быть может, один из тысячи», Куприн, однако, наделяет этим чувством крошечного чиновника Желткова. Его любовь к княгине Вере Шеиной безответна, а сама история, рассказанная Куприным, приобретает отсвет мелодрамы. Пусть так, но она продолжает волновать сотни тысяч людей, и сегодня оплакивающих невыдуманными слезами желтковскую судьбу. Недаром произведения Куприна привлекают мировой кинематограф — от созданного по мотивам «Олеси» французского фильма «Колдунья» до наших «Поединка» и

«Гранатового браслета».

Романтическое поклонение женщине, рыцарское служение ей противостояли в произведениях Куприна циничному глумлению над чувством, живописанию разврата, который под видом освобождения от мещанских условностей проповедовали в 1910-е годы Арцыбашев или Анатолий Каменский. Но в целомудрии купринских героев есть что-то надрывное, а в их отношении к женщине поражает одна странность. «Роман наш, — сообщает подруге хищная кокетка Кат («Прапорщик армейский»), — вышел очень простым и в то же время оригинальным. Оригинален он потому, что в нем мужчина и женщина поменялись своими постоянными ролями. Я нападала, он защищался». Поменялись ролями и умная, расчетливая Шурочка Николаева с «чистым и добрым» Ромашовым («Поединок»), и энергичная, волевая «полесская колдунья» с «добрым, но только слабым» Иваном Тимофеевичем («Олеся»).

Недооценка себя, неверие в свое право на обладание любимой женщиной, судорожное желание замкнуться, уйти в себя — эти черты дорисовывают купринского центрального героя с чуткой и хрупкой душой, попавшего в жестокий мир. Своей беззащитной ранимостью, своей способностью болезненно-остро переживать любую несправедливость, тонкостью душевной организации они напоминают нам не жизнерадостного, грубовато-здорового «взрослого» Куприна в традиционном описании современников, а чуткого к страданиям, мечтательного Куприна-ребенка, заточенного в мрачные казарменные стены.

Пройдя еще в детстве через ряд разнообразных жизненных испытаний, принужденный приспособиться к жестокой среде Сиротского училища, кадетского корпуса, юнкерского училища, — Куприн сберег в душе неспособность причинять боль, сохранил в чистоте бескомпромиссный гуманизм. Силач, кутила, жизнелюбец — это, очевидно, было лишь полправды (недаром, читая «Поединок», Лев Толстой обронил фразу: «Куприн в слабого Ромашова вложил свои чувства»). Ее дополняет обостренная жалость к людям, давшая такие поразительные страницы, как встреча Ромашова в «Поединке» с затравленным и больным солдатом Хлебниковым.

И тот же, активный и ненавязчивый, гуманизм ярко окрашивает все произведения о детях, приходит на помощь их горю.

Купринский гуманизм выступает могучим, живительным началом всего творчества писателя. Он ощущается в произведениях о цирке. Он учит видеть в человеке человека, продолжая тем самым высокую традицию русского реализма XIX

века, традицию Л. Толстого и А. Чехова.

Добрый талант Куприна постоянно напоминает об этой главной обязанности искусства, подчиняя ей все свои средства выражения. В пору, когда уже входил в силу равнодушный к человеку модернизм, занятый не переживаниями души, а волнениями тела, Куприн мог показаться слишком традиционным и «старомодным». Куда ему было угнаться за мастерами литературных мистификаций, за разрекламировавшими себя «новаторами», делавшими только первые, но уже опустошительные набеги в пределы русской словесности.

Даровитейший художник, он обладал многообразием стилевых манер, следуя при этом какой-нибудь уже проложенной традиции. Так, рассказ «Мирное житие» близок чеховскому «Человеку в футляре», «Собачье счастье» заставляет вспомнить аллегорические произведения М. Горького, а эпиграф к «Изумруду» («Посвящаю памяти несравненного пегого рысака Холстомера») уже указывает на знаменитую повесть Л. Н. Толстого.

Прослеживая творчество Куприна хронологически, видишь, как постепенно все увереннее и резче становятся художественные штрихи, как отступают банальности и мелодраматические издержка. В его произведениях все отчетливее становится приверженность писателя к отложившимся напластованиям быта. Литературному дару писателя было в высшей степени свойственно подробное изображение устойчивого, прочно сложившегося уклада — военного, заводского, рыбацкого, циркового, чиновничьего или национального быта — русского, украинского, еврейского, белорусского, греческого. Купринский стиль формируется отличным образом от чеховского или, скажем, бунинского (где так много значит метафора, неожиданное уподобление). Он накапливает множество бытовых черточек в той величественной картине повседневности, какая складывается в результате.

Наблюдательность Куприна чаще всего чужда щедрой метафоризации. Там, где Бунин напишет: «Чайки, как яичная скорлупа», «море пахло арбузом» и т. д. Куприн скажет просто: «Среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек». В его прозе мы почти не найдем далеких уподоблений, но эта частная безобразность (при безукоризненной точности языка) не мешает созданию итогового образа, в данном случае образа огромного морского порта в «Гамбринусе».

Великолепно мастерство Куприна-портретиста, оставившего великое множество незабываемых, даже в беглом изображении, человеческих характеров — уродливого, как гигантская пиявка,

сладострастного миллионщика Квашнина и легкий, почти бесплотный образ когда-то любимой женщины, вновь бессмертно воскресшей в ее семнадцатилетней дочери.

Ничто не ускользает от зоркого купринского взгляда — он казнит пошлость, глупость, претенциозность, где бы они ни появлялись. Например, в провинциальном семействе Зиненок («Молох»), где перед гостями выступают поочередно пятеро дочерей пронырливого завскладом — Мака, Бета, Шурочка, Нина и Ка-ся: «Каждой из них в семье было отведено свое амплуа. Мака, девица с рыбьим профилем, пользовалась репутацией ангельского характера... Бета считалась умницей, носила пенсне и, как говорили, хотела когда-то поступить на курсы. Когда разговор переходил на одну из классических тем: «Кто выше, Лермонтов или Пушкин?» или «Способствует ли природа смягчению нравов?» — Бету выдвигали вперед, как боевого слона... Самой младшей, Касе, исполнилось недавно четырнадцать лет, но этот феноменальный ребенок перерос на целую голову свою мать, далеко превзойдя своих сестер могучей рельефностью форм... Это разделение семейных прелестей хорошо было известно на заводе» и т. д.

Опять-таки вспоминаешь об одном из учителей Куприна — Чехове и его описание семейства Туркиных в «Ионыче», где у «каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант». Иногда же небольшой мимолетный штрих, подмеченный Куприным, производит эффект электрического разряда. В «Поединке» Ромашов получает письмо от пошлой и вздорной любовницы госпожи Петерсон, как водится, со стихами и — даже! — очерченным квадратиком, уведомляющим: «Я здесь поцеловала». Читая «Поединок», сам Толстой в этом месте не выдержал и остановился: «Даже изжога берет».

Подобно большинству своих современников, писателей-реалистов XX века — Бунину, Л. Андрееву, Телешову, Сергееву-Ценскому, Куприн явился мастером «малых форм» прозы — рассказа, короткой повести, оставив нам классические образцы этих жанров. Исключение — обширная повесть «Яма» (1909—1915) при всей ее социально-художественной силе в изображении «белых рабынь», мира проституции, страдает явно рыхлостью, несовершенством композиции.

Как писателя, Куприна всегда отличало исключительное духовное здоровье, вкус к быту, языку, верность реалистическим заветам. Часто, ведя художественный поиск, он отправляется от факта, который сам по себе незначителен, от «случая из жизни», анекдота и т. д. Но, обрастая великолепными подробностями, запоминающимися мелочами, каждый факт приобретает

дополнительную глубину и емкость.

В эту пору окончательно складывается и художественное кредо Куприна, его понимание словесного искусства как одного из труднейших при кажущейся легкости и доступности овладения им. Его всегда сердила развязность критики, с легкостью необыкновенной вершившей свой поспешный суд над произведением, в которое вложено было много сил, страсти, нервов, наблюдений и тщательной работы над словом. И всегда возмущало, когда далекие от литературы люди позволяли себе рассуждать о ней с таким апломбом, словно в самом деле проникли в ее тайны. Не отсюда ли, не от кажущейся легкости написания романа или рассказа, и обилие, обвал посредственных, бездарных книг?

Однажды, краснея от стыда за собеседника, Куприн долго слушал, как известный композитор раздавал оценки произведениям мировой литературы и поучал писателя. Не сказав ему в ответ ни слова, Куприн только подумал: «А что, если бы я заговорил с такой же наглостью о контрапункте, генерал-басе, разрешений септаккорда и т. д.; или я пришел бы ни с того ни с сего к меднику и начал бы обучать его всем приемам лужения, не имея об этом никакого понятия, или сказал бы опытному садоводу, как нужно обращаться с розами, жасминами, сиренью и артишоками».

И при всей своей нелюбви к рецептам Куприн, понимавший, что литература, если она подлинная, — это всегда открытие, составил в назидание начинающим свод самого необходимого, как бы писательский катехизис. Он и обозначил его так: «Десять «заповедей» для писателя-реалиста». Небесполезно будет привести этот купринский «катехизис» целиком.

«**Первое**: Если хочешь что-нибудь изобразить… сначала представь себе это совершенно ясно: запах, вкус, положение фигуры, выражение лица. Никогда не пиши: «какой-то странный цвет» или «он как-то неловко выкрикнул». Опиши цвет совершенно точно, как ты его видишь. Изобрази позу или голос совершенно отчетливо, чтобы их точно так же отчетливо видел и слышал читатель. Найди образные, незатасканные слова, лучше всего неожиданные. Дай сочное восприятие виденного тобою, а если не умеешь видеть сам, отложи перо.

Второе: В описаниях помни, что так называемые «картины природы» в рассказе видит действующее лицо: ребенок, старик, солдат, сапожник. Каждый из них видит по-своему. Не пиши: «мальчик» в страхе убежал, а в это время огонь полыхнул из окна и синими струйками побежал по крыше».

Кто видел? Мальчик видит пожар так, а пожарные иначе.

Если описываешь от своего лица, покажи это свое лицо, свой темперамент, настроение, обстоятельства жизни. Словом, ничего «внешнего», что не было бы пропущено «сквозь призму» твоей индивидуальной души или кого-нибудь другого. Мы не знаем такой «природы» самой по себе, без человека.

Третье: Изгони шаблонные выражения: «С быстротой молнии мысль промчалась в его голове…», «Он прижался лбом к холодному стеклу…», «Пожал плечами…», «Улица прямая как стрела…», «Мороз пробежал по спине…», «Захватило дыхание…», «Пришел в бешенство…» Даже не пиши: «поцеловал», а изобрази самый поцелуй. Не пиши: «заплакал», а покажи те изменения в лице, в действиях, которые рисуют нам зрелище «плаканья». Всегда живописуй, а не веди полицейского протокола.

Четвертое: Красочные сравнения должны быть точны. Улица не должна у тебя «смеяться». Изображай гром, как Чехов, — словно кто прошелся босыми ногами по крыше. Полная и нетрудная наглядность. Ничего лишнего.

Пятое: Передавая *чужую* речь, схватывай в ней характерное: пропуски букв, построение фразы. Изучай, прислушивайся, как говорят. Живописуй образ речью самого говорящего. Это одна из важнейших красок… для уха.

Шестое: Не бойся старых сюжетов, но подходи к ним совершенно по-новому, неожиданно. Показывай людей и вещи по-своему, ты — писатель. Не бойся себя *настоящего*, будь искренен, ничего не выдумывай, а подавай, как слышишь и видишь…

Седьмое: Никогда не выкладывай в рассказе твоих намерений в самом начале. Представь дело так, чтобы читатель ни за что не догадался, как распутывается событие. Запутывай и запутывай, забирай читателя в руки: что, мол, попался? и с тобой будет то же. Не давай ему отдохнуть ни на минуту. Пиши так, чтобы он не видел выхода; а начнешь выводить из лабиринта, делай это добросовестно, правдиво, убедительно. Хочешь оставить в тупике, разрисуй тупик вовсю, чтобы горло сжалось. И подай так, чтобы он видел, что сам виноват. Когда пишешь, не щади ни себя (пусть думают, что про себя пишешь), ни читателя. Но не смотри на него сверху, а дай понять, что ты и сам есть или был такой.

Восьмое: Обдумай материал: что показать сначала, что после. Заранее выведи нужных впоследствии лиц, покажи предметы, которые понадобятся в действии. Описываешь квартиру — составь ее план, а то, смотри, запутаешься сам.

Девятое: Знай, *что*, собственно, хочешь сказать, что любишь, а что ненавидишь. Выноси в себе сюжет, сживись с ним. Тогда лишь приступай к способу изложения. Пиши так, чтобы было

видно, что ты знаешь свой предмет основательно. Пишешь о сапожнике, чтоб сразу было видно, что ты знаешь, в сапожном деле не новичок. Ходи и смотри, вживайся, слушай, сам прими участие. *Из головы* никогда не пиши.

Десятое: Работай! Не жалей зачеркивать, потрудись «в поте лица». Болей своим писанием, беспощадно критикуя, не читай недоделанного друзьям и бойся их похвалы, не советуйся ни с кем. А главное, работай, живя. Ты — репортер жизни. Иди в похоронное бюро, поступи факельщиком, переживи с рыбаками шторм на оторвавшейся льдине, суйся решительно всюду, броди, побывай рыбой, женщиной, роди, если можешь, влезь в самую гущу жизни. Забудь на время себя. Брось квартиру, если она у тебя есть хороша, все брось на любимое писательское дело… Кончил переживать сюжет, борись за перо, и тут не давай себе покоя, пока не добьешься, чего надо. Добивайся упорно, беспощадно».

Нетрудно увидеть, что почти все в этом литературном «катехизисе» — результат собственного огромного опыта, в том числе и неизбежных заблуждений и оплошностей молодости, первых шагов, когда трафареты и штампы, мелодраматизм, красивости преследовали писателя. Теперь это уже признанный мастер с любовной готовностью делящийся своими секретами со всяким, кто хочет взяться за перо и попробовать свои силы.

Понятно, Куприн никогда не имел склонности к теоретизированию, его темпераментному и неусидчивому характеру претила всяческая отвлеченность, философическое мудрствование. Писатель милостию божией, он не стремился разрешать в своих произведениях «мировые загадки», которые мучили многих его современников. Как точно сказал современный критик, «метафизические проблемы и не влекли к себе Куприна, и он просто скучал бы в том мире, куда было устремлено воображение художников одного с ним поколения — Бунина с его «Господином из Сан-Франциско», Рахманинова с его «Колоколами», Андреева о его загадками души…».

Глава пятая ЗЕЛЕНЫЙ ДОМИК

1

Измотанный шумной и бестолковой жизнью, собственной писательской общительностью, кутежами, литературной славой, Куприн жаждал теперь только одного: покоя. Сорок лет — порог, переступив который пора подытоживать содеянное и строже относиться к себе. Он еще не старик, нет, и сейчас Куприн чувствовал себя способным на любую молодеческую дерзость — от невинного кадетского озорства до кулачной схватки. Но он уже и не тот Куприн, бешеный темперамент которого питал сенсациями бульварных журналистов. Пора было искать пристанище, в котором можно бы спокойно и безопасно работать, жить нехитрыми, но милыми сердцу семейными радостями. Балаклавский рай был слишком далеко, да и не находил в нем Куприн той русской прелести — лес, речка, пойменный луг, тишина, готовность души к созерцанию, — которую всегда так ценил. Спору нет, красиво, даже роскошно, но не Россия.

И он стал подумывать о собственном домике в окрестностях столицы.

Гатчина, маленький дачный городок под Петербургом, давно уже привлекал Куприна тишиной, зеленью, памятью о сумасбродном императоре Павле I, обилием исторических реликтов, — дворец, построенный Ринальди, Приоратский дворец, павильоны Орла и Венеры на острове Любви, Дворцовый и Приоратский парки, Зверинец… Наконец, привлекал тем, что именно в Гатчине была первая в России профессиональная школа авиаторов.

Здесь каждая улица была обсажена двумя рядами старых густых берез, а длинная тенистая Багавутская улица, пролегавшая через весь фасад, даже четырьмя. Весною вся Гатчина нежно зеленела первыми блестящими листочками сквозных берез и пахла терпким веселым смолистым духом. Осенью же она одевалась в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва благоухала, как крепкое старое драгоценное вино. А буйное цветение сирени, подобного которому Куприн не видел нигде в России? В красно-фиолетовых и лимонных волнах утопали маленькие разноцветные деревянные дома и домишки Большой Гатчины и Малой, Большой Загвоздки, Малой, Зверинца и Приората и в особенности

дворцового парка и его окрестностей…

В Гатчине жил давний приятель Куприна, талантливый художник-карикатурист Павел Егорович Щербов. Он построил себе особняк в скандинавском стиле с фундаментом из огромных диких валунов финляндского гранита.

Наезжая в Гатчину, Куприн стал подыскивать для покупки усадебку и вскоре узнал, что некий подполковник Эвальд продает дом на Елизаветинской улице.

— Представляешь, Лизанька, — радовался он по-детски, — у нас будет дом на улице, которая названа в твою честь!..

Домик был уютный, зеленый, в пять комнат, с большой террасой, окруженный тополями, с небольшим садиком и даже с огромным псом Малышом, которого Эвальд оставил в наследство новым хозяевам. Куприн и его маленькая дочка скоро завоевали полное доверие собаки. Вообще же в гатчинском зеленом домике было множество животных: собаки, кошки, обезьяна; во дворе в деревянных и каменных пристройках — лошади, козы, медвежонок, куры, гуси. Но главным, самым дорогим для Куприна был сад.

Теперь его потянуло к земле особенно крепко, сильнее, чем тогда, в Балаклаве. Быть может, это и было сигналом близящейся старости: «Из земли вышел и в землю вернешься…» Непоседа, выпивоха, кутила, насмешник, спортсмен, бешеный огурец, он долгими днями сидел на маленьком участке: никому не доверял возиться и копаться, сам сажал, сортировал, благоустраивал свой маленький сад.

В каждый вершок был вложен огромный, но благословенный труд. Здесь росли яблони-десятилетки поздних сортов, плоды которых, правда, никогда не дозревали: их срывали и прятали до Рождества; крупная пышная темне-красная клубника «виктория»; парниковые дыни-канталупы «Женни Линд». Перед домом Куприн разбил цветник, который благоухал на всю Елизаветинскую улицу.

А каким раем оказалась Гатчина для маленькой Ксении — мир животных и растений, прогулки с отцом по парку Приорат, ужение рыбы и плавание на маленькой утлой лодчонке «плюмажем»… Куприн любил дочь своеобразной, «купринской» любовью. Он ненавидел всякое сюсюканье и «цацканье». Дети, даже самые маленькие, были для него существами с очень сложным, глубоким и ранимым естеством. Входить в их мир легкомысленно, по-шутовски и лицемерно он считал преступлением. Именно в таком подходе Куприн видел главную причину исконного разлада между детьми и взрослыми.

Когда Ксения призналась, что старая нянька учит ее молиться

богу, он не стал долго раздумывать и посоветовал дочери обращать свои молитвы к таким предметам, как солнце, огонь, луна, большое дерево.

— Утром встанешь, посмотри в окно на солнце, похлопай ему в ладоши и крикни: «Здравствуй, бог!» Вот и будет вся твоя молитва…

Елизавета Морицовна возражала против такого «язычества», но Куприн объяснял ей:

— По-моему, уж если молиться, так чему-нибудь видимому, осязаемому. А что такое «бог Саваоф»? Мстительный, злокозненный и таинственный старикашка, который так и норовит сделать людям какую-нибудь пакость!.. Девочка нечаянно порезала палец, ей больно, а вы говорите: «Это тебя бог наказал за то, что шалишь!» Сделали из бога какое-то пугало для детей вроде трубочиста или городового…

— Ах, Саша, — вздыхала Елизавета Морицовна, любуясь мужем и пугаясь за него, — накажет тебя бог за такие слова! Разве можно внушать подобное ребенку?..

— Как раз ребенку и надо говорить то, что можешь сказать только самому себе, — отзывался Куприн и мечтательно продолжал: — Если бы мои скромные жизненные потребности были совершенно обеспечены, я писал бы одни хрестоматии и рассказы для детей. И писал бы их, терпеливо переписывая и переделывая по двадцать раз, доводя до возможного совершенства.

В Гатчине Куприн снова стал много и систематически работать. Летом уходил в сад, в самый тенистый уголок, где густо росли тополя, елки, рябина, сирень. В центре маленькой площадки стоял врытый в землю стол из толстого сруба и полукруглая скамья. Там, запасшись холодным квасом, он часами просиживал со своим стенографом Комаровым, а в дождливую погоду они устраивались на веранде. Куприн работал над второй частью «Ямы». В это время все в доме замирало, кажется, даже собаки переставали лаять…

Зимой Куприн запирался в своем кабинете с лиловыми занавесками и обилием цветов на подоконниках. На столе из белого ясеня с тяжелыми верхними досками простой плотницкой работы — старая фарфоровая чернильница, стопка книг, приготовленных для чтения, и справа фотографический портрет с размашистой надписью внизу: «Александру Ивановичу Куприну — Лев Толстой». На стенах кабинета офорты и акварели, подарки знакомых художников. Среди них картина-карикатура Щербова «Базар XIX века», где были тонко и метко шаржированы виднейшие деятели русского искусства — В. Стасов, С. Дягилев,

Ф. Малявин, И. Репин…

В углу кабинета украшенный резьбой оливковый ящик, где собраны переводы «Поединка» на испанский, польский, итальянский, чешский, французский, японский, немецкий — всего около двадцати томиков. В специальном ящике «человеческие документы» — письма читателей, на которые Куприн аккуратно отвечает. Убранство кабинета дополняет большой темно-красный хоросанский ковер, разостланный на полу.

Куприн ходит взад и вперед по диагонали, быстро диктуя Комарову фразу за фразой. Сам он не особенно любит писать, говоря, что у него мысль обгоняет перо. Стенограф сидит спиной к писателю, чтобы не отвлекаться. Вот Куприн задумался над фразой, которая не клеится. Удар каблука о пол. Это означает, что пока не нужно записывать. Он произносит вслух один вариант фразы за другим. Наконец нужные слова найдены и расположены так, что создают искомый художественный эффект. Куприн с довольным лицом ударяет два раза в ладоши, и Комаров продолжает писать.

После расшифровки стенограммы Куприн часами сидит над рукописью, правит, шлифует, а иногда и совершенно заново переписывает целые страницы. И снова работа со стенографом…

Порою, диктуя текст, Куприн замечал, что его маленькая дочка, готовая зареветь от скуки, слоняется по квартире. Он тотчас бросал диктовать, подходил к ней и притворно-плаксиво начинал:

— Аксинья! Скучно мне! Никто со мной не игра-а-а! Хожу я, как брошенная соба-а-а!

И тогда, проникнувшись к отцу жалостью, Ксения начинала сама придумывать для него игры, втягивалась в них, и обоим становилось весело.

Зимой, встав затемно, Куприн отправлялся на лыжную прогулку, затем с большим аппетитом завтракал, тем более что перед маринованным «самосборным» грибом выпивал большую рюмку «травничка». После завтрака чтение газет, журналов, корреспонденции. Поработав над рукописью, Куприн отправляется с деревянной лопатой чистить от снега дорожки в сад и кормить крошками пернатую братию, которая прекрасно знает, что в один и тот же час, к определенному месту приходит коренастый человек в шапке с наушниками и в валенках.

Зимний день короток. Обед Куприных кончается, когда за окном сгустились сумерки. Хозяин отбирает у няни Саши, красивой дородной одесситки, кочергу и принимается сам, священнодействуя, затапливать печь.

Он боготворит огонь с детской поры, с Вдовьего дома на Кудринах. Подолгу остановившимся взглядом глядит он в одну точку, на золотую и рубиновую россыпь углей, источающих волны жара. На душе благостно и томно, образы прошлого синими тенями пробегают над припорошенными золой головешками, подбираются из лилового мрака за окнами, обступают Куприна.

В эти минуты легко, без понуждения приходит то, что называется возвышенно и книжно вдохновением, разновременные впечатления теснятся в дремлющем сознании — 46-й Днепровский пехотный полк, глухая провинция и безответно влюбленный горбатый телеграфист Саша Врублевский; чары белой акации на юге; святочная история, рассказанная неким знаменитым адвокатом; увиденная Куприным в Житомире, где писалась первая часть «Ямы», гибель дерзкого петуха; собачья жизнь околоточного надзирателя Ветчины, который мечтает с сыном-гимназистом о несбыточных путешествиях; зеленый рыхлый забор купринского детства, где растут лопухи и глухая крапива; дерзкий поступок дьякона Олимпия, провозгласившего «Многая лета» отлученному от церкви Льву Толстому и навеянный обликом протодьякона Гатчинского собора Амвросия… Так рождаются один за другим рассказы «Телеграфист», «Белая акация», «Начальница тяги», «Чужой петух», «Путешественники», «Травка», «Медведи», «Слоновья прогулка», «Анафема»…

Спору нет, большею частью то были коротенькие вещицы, часто не удовлетворявшие самого писателя. «Скучно мне писать мелочишки», — сетовал он. К тому же Куприн мало давал отстаиваться впечатлениям, порою торопился передать их бумаге в ущерб глубине воплощения. Сам он постоянно мечтал о большом полотне, возвращался ко второй части «Ямы», но поджимали долги. За дачу, купленную в кредит, приходилось выплачивать до 1915 года. Вот и оставалось работать на потоке, «из-под рук», получая от издателей деньги за еще не написанные произведения. Да и убежищем от друзей, знакомых, прихлебателей Гатчина Куприну служила недолго.

Стали появляться жданные и нежданные — артисты цирка, клоуны, борцы, авиаторы, спортсмены, писатели, журналисты и просто бродяги. «На людях тяжело, а одному и вовсе крышка, — объяснял Елизавете Морицовне, едва сводившей концы с концами, хозяин зеленого гатчинского домика, наказывая купить к обеду снова шестнадцать фунтов мяса. — Один живет только паук, а Куприн — человек веселый, и каждый гость ниспослан богом…»

26 августа весело и шумно отмечался день рождения Куприна.

Гости начинали съезжаться рано, к завтраку. В прихожей, почти не умолкая, трещал звонок. Сам хозяин встречал гостей, с неистощимой выдумкой изобретая каждому особое приветствие.

У калитки появляются две исполинские фигуры — знаменитые борцы Иван Заикин и Вахтуров.

— Молоток! — кричит Куприн домашним.

Этот инструмент нужен для того, чтобы открыть вторую половинку двери. Заикин еще может пролезть в одну, а Вахтуров никак — это уже проверено. Два великана входят в квартиру с неловкой грацией слонов, боясь что-нибудь опрокинуть или поломать.

К приезду критика Измайлова, бывшего семинариста и настойчивого собирателя бурсацкого фольклора, Куприн наскоро организует маленький хор, и Александра Алексеевича еще на пороге встречают старым семинарским запевом «на седьмой глас»:

Сидяху на яблоне, да
Питахуся сливами, да
Ишел мужик с вилами, да
Он меня бия-я-яху,
Я же вопия-я-яху:
Постой, дяденька, не бей,
Дам тебе пару голубей!
Слава силе твоей, госпо-о-ди-и!

Цирковой артист Жакомино появляется одетый нянькой с запеленатым ребеночком на руках. Клоун искусно подражает крику младенца. Но при виде хозяина он вдруг делает неосторожное движение, «ребенок» падает на пол, бумажные пеленки развертываются, и в них толстый батон колбасы, настоящей итальянской «салями», приготовленной мамашей Жакомино.

Писатель А. Н. Будищев, гатчинец, пришел с шампанским и своими стихами, посвященными виновнику торжества.

— Нет, я не согласен с рифмой «Куприна» и «откупорена», — говорит хозяин, выслушав стихи с бокалом в руках. — Я Куприн, и забывать об этом никому не советую. Я устал повторять, что

фамилия моя произносится с ударением на последнем слоге, так как происходит от названия дрянной речонки в Тамбовской губернии — Купры…

Появляется сосед и друг Куприна Павел Егорович Щербов, смуглый, с длинной редкой ассирийской бородой, в просторной синей блузе. Он приносит свой плакатный портрет, сделанный для табачной фабрики Шапшал, под названием «дядя Михей»: бородатый мрачный мужчина в широкополой шляпе извергает из трубки вулканные клубы дыма.

Среди гостей и внук декабриста, отставной гусар Минай Бестужев-Рюмин. От былой красоты остались только черные печальные глаза и длинные тонкие пальцы рук.

— Мина! — взволнованно говорит Куприн, крепко целуя его. — Как я рад, что ты вспомнил меня! Садись за столы, мой друг!

Приезжает молодой журналист и поэт Коля Вержбицкий, любимец Куприна и частый гость в зеленом домике. Хозяин молча залезает всей пятерней в его вьющиеся ржаные кудри и стискивает их до боли.

Когда в дверях появляется высокая фигура Федора Дмитриевича Батюшкова, Куприн широко обнимает его и под руку вводит в столовую, где у камина уже приготовлено почетное место для самого близкого друга.

На богато сервированном столе среди бутылок различной формы и цвета, среди зелени, закусок — гигантский эмалированный таз с черной икрой, из которого торчат деревянные ложки.

— Не стесняйтесь, налегайте, — видя недоуменные взгляды гостей, предлагает Куприн и поясняет, обращаясь к Заикину: — Наш дружок прислал… Ваня Поддубный… из Царицына… Три пуда.

Заикин, весьма осмотрительно усевшийся на хлипкий венский стульчик на тонких ножках, в ответ только сопит, смотрит любовно на Куприна и поднимает в немом приветствии тонкий стакан смирновской водки.

После первых пожеланий и тостов Куприн просит:

— Дядя Яша! Мою любимую…

Яков Адольфович Бронштейн, инженер, меценат артистической молодежи суворинского театра, перевел на французский язык и посвятил Куприну свой перевод солдатской песни «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет!». Хохот поднимается за столом, когда он залихватски исполняет ее:

Россиньёль, россиньёль,
Птит'уазо,

Лё канарие
Шант си трист, си трист!
Эн… Дё… Эн… Дё…
Иль нья па де маль! Лё канарие
Шант си трист, си трист!..

— Джакомо! — зовет Куприн клоуна.

Когда тот поднимает голову, через весь стол летит пустая тарелка, которую Жакомино ловит и возвращает назад. Куприн принимает ее с ловкостью профессионального жонглера.

— Браво, Александр Иванович! — взрываются аплодисментами гости.

— Ну что вы! — смущается Куприн. — Я только подражаю чистоте броска нашего Джакомо.

Именинник мил, весел, остроумен. Он ничего не «изрекает», не возвещает непререкаемым тоном, не одергивает младших. Вержбицкий спрашивает у Куприна, при каких обстоятельствах появился у него портрет Льва Толстого.

— Эту фотографию мне доставил литератор Сергеенко, — объясняет Куприн. — Подарок был сделан по инициативе самого Льва Николаевича, причем великий писатель просил передать поклон и совет: «Пишите по-своему». Совет этот принять к неуклонному исполнению мне было нетрудно. Ведь я ни к одной писательской группе не примыкаю…

Куприн рассказал, что видел Толстого только однажды, мельком. Потом получил приглашение приехать в Ясную Поляну, два раза отправлялся, но доехать не мог.

— Почему же? — удивляются гости.

— Страшно было! — Куприн развел руками и растерянно улыбнулся. — Нет, ей-богу, мне казалось, что старик посмотрит на меня своими колючими глазами и сразу все увидит. А мне сделается стыдно и страшно…

У всех еще жива в памяти смерть Толстого, болезненно и остро пережитая Куприным.

— Так я с ним верхом и не поездил… — задумчиво говорит он. — Но зато в тот самый час, когда Старик умирал на станции, я в Одессе перечитывал «Казаков» и плакал — плакал от умиления и благодарности…

— Вот они, тернии литературной деятельности и славы, — вступает в разговор Измайлов. — Когда Толстой скончался, прикрываясь его авторитетом, критики начали сводить личные счеты, а пресса подняла какофонию, от которой за версту разило саморекламой.

— Я бы заставил для литераторов ввести обязательную дисциплину — уроки нравственности, — поддерживает его Батюшков, помогая словам плавным, изящным движением руки. — Чтобы ежегодно сдавали экзамен, и самой строгой комиссии.

— Да, в профессии литератора много отвратительного, — соглашается Куприн. — Сколько мусора и человеческой грязи пропускаешь через себя! Чего стоят разбойники издатели! Эти хищные вороны, прожорливые и ненасытные! Они торопят нашу бедную фантазию, чтобы туже набить себе карманы. А бульварные строчилы, вроде Фомы Райляна или гнусного Оскара Норвежского, которые полезли в спальню, в ванную, в нужник к писателю! Ах, будь проклят тот день, когда я впервые увидел в печати свой рассказ! — с полушутливым трагизмом восклицает он. — Почему мой ротный командир, капитан Фофанов только посадил меня под арест, а не выпорол за это! Нет горше хлеба на свете! Почему я ушел из армии? Ведь перед самым уходом мне была обещана должность батальонного адъютанта. А вы знаете, друзья, что такое адъютант в пехоте? Это офицер, получающий в свое распоряжение верховую лошадь! — Куприн щурит свои маленькие серо-синие глазки. — Нет, любая другая профессия была бы, право, спокойнее и чище, чем литературная. И почему я не поступил в бранд-майоры, когда еще был молод? Почему я не остался у инженера Тимаховича продавать ватерклозеты?..

Между тем из кухни, откуда все сильнее доносился раздражающий обоняние запах гуся, запекаемого каким-то особенным образом в тесте, вышла Елизавета Морицовна и знаком позвала мужа. Монолог был оборван на самом интересном месте.

Воротился за стол Куприн с печальным лицом.

— Эх, стар становлюсь, — сказал он, качая головой.

Оказывается, кухарка занозила палец, Куприн хотел зубами, как это он обычно делал, вытащить занозу и не смог.

— Первый признак надвигающейся старости, — заявил он. — Зубы перестают осязать. Раньше я эту операцию производил великолепно…

В гостиной вернулись к литературным темам.

— Я не советую никому писать о том, что вы никогда не видели и не испытали, — говорит Куприн, обращаясь к молодым — Вержбицкому и Ялгубцеву. — Это всегда будет неубедительно, потому что убедительность создается подробностями, деталями. Однако как трудно находить эти детали! Иногда они у тебя перед самым носом, но ты их не видишь. Вот-вот! Надо научиться не только смотреть, но и видеть. Возьмите «Анну Каренину» — в этом огромном романе вы найдете не более двух десятков хорошо

подсмотренных автором и на всю жизнь запоминающихся подробностей. Вроде, например, таких: там, где говорится про Анну: «Было что-то ужасное и жестокое в ее прелести»; или «Вронский чувствовал, что ему, так же, как лошади, хочется двигаться, кусаться, ему было и страшно и весело». Купец у Толстого крестится, «словно боится выронить что-то»… Только в одном случае Толстой не подыскал эпитета, — он пишет в той же «Анне Карениной»: «Чувства давили ее какой-то тяжестью». Вы понимаете — «какой-то». Ведь это ровно ничего не говорит!..

Вержбицкий сказал, что прочел где-то, будто Шиллер мог писать только тогда, когда на столе у него лежали гнилые яблоки.

— К сожалению, это не единственный случай, когда историки до смешного большое значение придают некоторым профессиональным навыкам писателей, — возразил Куприн. — Важно самому руководить собой, своим творчеством, даже своим воображением. Вы читали фантастические романы Соломина? — обратился он к гостям.

— Если нет, то потеряли немного. Так этот Соломин рассказывал мне, что ложится спать, положив себе на голову резиновый пузырь с горячей водой. Ему начинают сниться кошмары, жена его будит, и Соломин торопливо записывает свои ужасные сны, чтобы потом использовать их как мотивы для очередной главы романа. К чему эти грелки, когда можно развить у себя нормальное, здоровое воображение!

Он помолчал и добавил, словно обращаясь уже только к самому себе:

— Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой… Я хотел бы пожить внутренней жизнью каждого человека, которого встречаю!

3

По Елизаветинской улице мимо зеленого домика Куприных шли процессии на гатчинское кладбище. Довольно часто это были проводы убившегося летчика. Тогда звуки траурного бетховенского марша заглушались ревом аэропланов: в воздух поднималась вся летучая эскадра и кружила над кладбищем. Вместо памятника на могиле устанавливался пропеллер, а в круглом отверстии для винта помещалась фотография погибшего. Воспитанники военно-авиационной Гатчинской школы Гатаюн платили жизнью за то, что стремились завоевать небо.

Первые русские летчики! Они завораживали воображение Куприна, всегда ценившего превыше всего отвагу, смелость, дерзкий молодой порыв, и он нашел им определение, простое и точное, — «люди-птицы».

«Да, это новая, совсем новая странная порода людей, появившаяся на свет божий почти вчера, почти на наших глазах, — писал он в очерке, посвященном пилоту Н. К. Коновалову. — Мы, современники, перевалившие через четвертый десяток лет, были свидетелями многих чудес. При нас засияло на улицах электричество, заговорил телефон, запел фонограф и задвигались на экране оживленные фигуры, забегали трамваи и автомобили; радиотелеграф понес на сотни верст человеческую мысль, подводные лодки осуществили дерзкую мечту Жюля Верна… И вот мы уже перестали удивляться большинству открытий. Щелкая медным выключателем, мы в тот момент, когда комната озаряется ровным ярким сиянием, уже не говорим себе с радостной гордостью: «Да будет свет!» И любой петербургский коммерсант, слыша голос своего доверенного, говорящего из Москвы, кощунственно восклицает: «Прошу погромче. Сегодня телефон чертовски скверно работает!»

Но авиация никогда не перестает занимать, восхищать и снова удивлять свободные умы. Вот они высоко в воздухе проплывают над нами с поражающим гулом, волшебные плащи Мерлина, сундуки-самолеты, летающие ковры, воздушные корабли, ручные орлы, огромные сверкающие чешуей драконы — самая смелая сказка человечества, многотысячелетняя его греза, символ свободы духа и победы над темной тягостью земли! Само небо становится ближе, точно нисходит к тебе, когда, подняв кверху голову, следишь за вольным летом прозрачного аэроплана в голубой лазури».

Друг Уточкина и Заикина, сам поднимавшийся в воздух, Куприн скоро перезнакомился со всеми летчиками-гатчинцами — Юрковым, Коноваловым, Ткачевым, Северским-Прокофьевым, Росинским, Данилевским. Он наблюдал концовку беспосадочного перелета Киев — Гатчина, который совершил в 1914 году еще мало ему известный поручик Нестеров.

Здесь закладывалось будущее русской авиации, и, когда началась германская война, отсюда вышло множество героев, прославивших свое Отечество.

Куприн восхищался Нестеровым, впервые сделавшим мертвую петлю, а затем пошедшим на таран; капитаном Казаковым, сбившим шестнадцать немецких аппаратов; ротмистром Юрковым, который в самом начале войны приземлился на вражеской территории и, выдав себя за

немецкого летчика, раздобыл необходимые сведения; но особенно близкие отношения сложились у него с семьей авиаторов Прокофьевых, где было три летчика — отец и два его сына.

«Папуля» Николай Прокофьев, под именем Северского игравший в оперетте, а затем в эмиграции снимавшийся в кино, летал на тяжелом боевом «фармане». Старший сын Жорж, лично перепробовавший все системы летательных машин, был знаменит как виртуоз по высшему пилотажу. Младший, Александр — военно-морской летчик, уже сбивший несколько германских машин и награжденный георгиевским темляком на кортике. Его удивительной судьбе Куприн посвятил рассказ — один из немногих, где отражена германская война, — «Сашка и Яшка».

При неудачной посадке после взрыва бомбы Александр Прокофьев потерял ногу. Но, выйдя из госпиталя, продолжал летать и с деревяшкой. Да как летать! Свободная душа человека-птицы преодолела невозможное и вернула инвалиду способность аса. Он расстрелял в упор мощный немецкий «альбатрос» в двухчасовом воздушном бою, за который был награжден золотым оружием, а затем сбил еще два германских аппарата в Моонзундском наступлении. Он сам стал живым амулетом для солдат-артиллеристов Церельского укрепления.

Критикуя ложную романтизацию войны, слащавое изображение подвигов, Куприн стремился показать, говоря его собственными словами, что герои — это «самые обыкновенные, бесхитростные люди, вовсе не думающие о своем геройстве и идущие на подвиг не во имя подвига, а во имя долга, обязательства защитить русскую землю, родину».

4

Как и большинство русских литераторов и деятелей искусства, Куприн воспринял войну 1914 года как войну безусловно освободительную, справедливую. 7 сентября на страницах газеты «Биржевые ведомости» он выступил вместе с Ф. К. Сологубом, Т. Л. Щепкиной-Куперник, Д. Н. Овсянико-Куликовским, Ф. Д. Батюшковым, И. Е. Репиным, Ф. И. Шаляпиным и другими, открывая своей статьей анкету о войне. Волна казенного патриотизма обошла очень немногих, захватив, как видно, и Куприна, но — любопытно — его больше интересует не сама по себе война как таковая, а то, что будет, должно быть *после* — то преображенное человечество, та преображенная

Россия, которая, по его мысли, возникнет на обломках прежней, старой.

«Нынешнюю войну я считаю войной, которая освободит все народы как от взаимной вражды, так и — слава богу! — от «политики», — горячо утверждает он. — Поэтому при всем ужасе, с каким душа чувствует и кровь, и насилие, я считаю, что война христианская в самом глубоком смысле слова. Может быть, за нею уже видны пределы другого существования, к которому устремилась вековая мечта лучших умов человечества. Вот почему, выражаясь словом, какое я не очень люблю, эта война так и популярна, — я хотел бы этим сказать, — вот почему она находит такой единодушный отклик у самых разных людей, у самых разных народов, наполняет великолепной отвагой маленькую Бельгию, устраивает неожиданные союзы, заставляет Англию протянуть нам руку и т. п.

Весь мир почувствовал, что идет конец раздорам, что если теперь не осуществить начал любви и братства, то их не осуществить, быть может, никогда. Быть участником такой войны должен всякий. Это — долг, это — обязанность, это — радость и счастье».

И Куприн стремится стать участником войны. В конце сентябри, желая оказаться поближе к фронту, он выезжает в Вильно, а вскоре снова надевает мундир поручика. Один из номеров петроградской газеты «Новь» открылся большой фотографией, под которой значилось: «А. И. Куприн, призванный в действующую армию». Мундир сидит на нем кургузо, Куприн полноват, страдает одышкой и склерозом. Но настроение у него бодрое, радостное. Накупил уставов, собрал все циркуляры и теперь мечтает попасть со своей дружиной «в дело». Правда, осуществиться этой мечте не удалось. Сорокачетырехлетнего писателя направляют в Финляндию обучать новобранцев.

13 ноября 1914 года родные, друзья, представители прессы провожали Куприна на место его службы.

— Я совсем не ожидал, — заявил он корреспонденту газеты «Новь», — что меня так взволнует и оживит простое, казалось бы, привычное дело надеть мундир. Однако я пережил такое же волнение, как когда-то давно, перед производством в офицеры. Я вновь переживаю давно давно прошедшее и чувствую себя бодрым и веселым…

Бодростью и оптимизмом были пронизаны и письма Куприна домашним из Финляндии, и только Елизавета Морицовна читала между строк, как медленно, но неуклонно менялось настроение ее мужа, как им овладевали уныние и разочарование. Это было еще разочарование в своих физических возможностях: могучий

организм Куприна начал заметно сдавать, сказывались последствия бесшабашных лет, гульбы, азартного стремления добиться исполнения всех желаний.

Он вернулся в Гатчину весной 1915 года, похудевший, даже помолодевший, но растерянный, недоумевающий, почти пристыженный. Вечером в уютном зеленом домике за чаем рассказывал своей ненаглядной жене:

— Сюзинка, как я огорчен! Оказался вовсе не годным к военной службе… Сначала все шло хорошо, но потом стал уставать. В строю ходить с солдатами еще могу, но уже перебежки делать невозможно… Задыхаюсь. Да и нервы стали сдавать… Хочу что-нибудь сделать и забываю или делаю совершенно другое. Освидетельствовали меня н признали не способным и к строевой и ко всякой прочей службе… Простой бумажки составить не могу. Надо мной, веришь, и то смеялись, говорили, что после «Сатирикона» самое смешное — мои рапорты…

Елизавета Морицовна, жалея мужа, в душе радовалась тому, что счастливая звезда вернула его в Гатчину, и успокаивала:

— Зато теперь ты будешь всегда с нами, со мной и Куськой. И со своим садом.

Близилась весна. Куприн целыми днями сидел на солнце, болезненно-счастливо ощущая пробуждение природы. Сладкая лень овладевала им: так бы и сидел, ничего не делая, а лишь наблюдал, как оживает все вокруг. Подойдет старенький садовник, постоит, помолчит, а потом скажет:

— А сегодня, Александр Иванович, тополь рубашку стал менять.

И так сердечно радуется, что Куприн невольно заражается его чувством: «До чего хорошо весной дома, в саду!..»

Наезжавшим в Гатчину корреспондентам Куприн говорил о том, что нашел армию сильно переменившейся к лучшему.

— Как иногда встречаешь после многолетнего перерыва человека, которого помнил еще ребенком, и не веришь своим глазам, что он так вырос, так и на службе я не узнал ни солдат, ни офицеров, — рассказывал он журналисту из «Биржевых ведомостей». — Где же образы моего «Поединка»? Все выросли, стали неузнаваемы. В армию вошла новая, сильная струя, которая связала солдата с офицером. Общее чувство долга, общая опасность и общие неудобства соединили их. Таким образом, то, чего добивались много лет — слияния общества с народом, — теперь совершилось.

— Надолго ли?

— Я думаю, навсегда. По крайней мере, хочу в это верить. Пережитое должно навсегда связать интеллигенцию с народом.

Хотя предугадывать будущее я боюсь…

— Правда ли, — спрашивал корреспондент, — что на днях выходит третья часть «Ямы»?

— Да! Но, к сожалению, относительно «Ямы» я вам ничего нового не скажу, — недовольный своим детищем, говорил Куприн. — Во всяком случае, я твердо верю, что сделал свое дело. Проституция — это еще более страшное явление, чем война или мор. Война пройдет, но проституция живет веками. Когда Лев Толстой прочитал «Яму», он сказал: «Грязно это». Возможно, что это грязь, но надо же очиститься от нее. И если бы сам Толстой написал с гениальностью великого художника о проституции, он бы сделал великое дело. К нему прислушались бы более, чем ко мне. К сожалению, мое перо слабо, я только пытался правильно осветить жизнь проституток и показать людям, что нельзя к ним относиться так, как относились до сих пор. И они люди…

Интервью заканчивалось неизбежным вопросом:

— Над чем вы работаете теперь?

— Абсолютно ни над чем, — невесело пояснял Куприн. — В Финляндии я писал рассказ «Драгунская молитва»… Не думайте, что я там пишу что-нибудь о психологии солдат на войне. Нет, там больше говорится о кавалерийских лошадях. Писать военные рассказы я не считаю возможным, не побывав на позициях. Как можно писать о буре в море, если сам никогда не видел не только легкого волнения, но даже самого моря? На войне я не бывал, и потому мне совершенно чужда психология сражающихся солдат…

Он задумывался, как бы прикидывая, на что еще может быть годен, и с надеждой говорил:

— Вот поправлю свое здоровье и поеду на фронт корреспондентом. Уверен, что это даст мне многое…

5

В ответ на призывы помочь стране в трудную годину германской войны Куприн решил устроить в своем домике скромный, на десять коек, госпиталь.

В большой комнате, служившей гостиной и столовой, поставили койки, а в соседней, маленькой, была размещена перевязочная. Елизавета Морицовна вновь, как и десять лет назад, облачилась в костюм сестры милосердия, маленькую форму сшили и шестилетней Ксении. В купринский госпиталь направляли только легкораненых, и Ксения рассказывала

солдатам сказки, играла с ними в шашки…

Маленький лазарет всегда был полон, хотя состав его, понятно, менялся. Солдаты большею частью были люди душевные, удалые и милые. Все заботы о себе они принимали с покровительственным добродушием старших братьев. Тон установился серьезный и деловой; в отношениях суровая и тонкая деликатность. Только в минуты прощания, перед возвращением на фронт, в грубой простоте раскрывались на минутку тепло и светло человеческие сердца. Да еще в легких мелочах сказывалась скрытая, не болтливая дружба.

Куприн поражался природной мудрости, даже врожденной интеллигентности многих из этих простых оторванных от земли крестьян. Откуда эта тонкость в восприятии искусства, слова? Как они слушали Гоголя, когда его читал Куприн! И с какой глубиной чувствовали красоту русской песни, восстановленной в строжайших формах, очищенной от небрежности и плохого вкуса, с исполнении уже завоевавшего популярность квартета Н. Н. Кедрова, приглашенного в лазарет.

Гатчинский комендант, старый, но крепкий кирасирский генерал Дрозд-Бонячевский, несколько свысока даривший Куприна своей дружбой, наведывался в зеленый домик инспектировать новый госпиталь.

Как большинство старых русских генералов, он был не без странностей: говорил врастяжку, хрипловатым баском и величественно, не договаривая последних слогов — «за-моча-а-а…», «прекра-а-а…», «превосхо-о-о…». Его генеральской слабостью было живописать акварелью. В свободные минуты он собственноручно раскрашивал комнатные стенные шпалеры в своем старинном просторном деревянном особняке, над которым развевался штандарт синих кирасир, пейзажами — где дорожка в хвойном лесу, где березовая беседка. Чисто по-детски радовался всякой похвале и печалился только о том, что ему не давались человеческие лица.

Приезжая к Куприну, генерал неизменно интересовался тем, что читают солдаты. Одобрял суворинское «Новое время» и «Колокол». Не терпел кадетской «Речи» и «Биржевых ведомостей».

— Слишком либера-а-а… — пояснял он хозяину. — И надеюсь также, что сочинений Куприна вы им читать не даете. Сам я этого писателя очень уважа-а-а, но согласитесь с тем, что для рядовых солдат чересчур, скажем, преждевре-е-е…

Солдаты встречали генерала положенной уставной игрой, и он, чрезвычайно довольный, возвращался к своей акварели.

В мае пятнадцатого года на Варшавском пути чья-то злая и опытная рука подожгла огромный поезд, груженный

артиллерийскими снарядами. Снаряды рвались не сразу, вагонами, а часто-часто, один за другим, и музыка эта продолжалась без перерыва с трех утра и до семи вечера. До купринского домика долетала шрапнельная начинка и развороченные шрапнелью стаканы уже на излете.

На глазах семьи один стакан фунтов в десять пробил насквозь железный тамбур над сенями, другой сшиб трубу с прачечной, третий снес с замечательной ловкостью верхушку старой березы. Шрапнельная дробь все время, как град, стучала по крыше. Куприн с маленькой Аксиньей насобирал потом полное лукошко этих веских свинцовых шариков величиной с вишню.

Человеческая жертва была только одна: убило какую-то старушку на Люцевской улице.

В тот день сладу не было с ранеными. Они рвались вон из лазарета, в халатах, в туфлях, без шапок, как были.

— Сестра! Родная! Да пустите же нас. Ведь надо же расчепить поезд! — требовали они у Елизаветы Морицовны. — Ведь страшного ничего. Пустое дело!

Но маленькая хозяйка лазарета сдерживала их порыв крепкими невидимыми вожжами. Состав расцепил тринадцатилетний мальчуган, сын стрелочника. Он спас от взрыва девять двойных платформ, груженных снарядами для тяжелых орудий.

Куприну навсегда запомнились дорогие сердцу, чудесные солдаты: Николаенко, Балан, Дисненко, Тузов, Субуханкулов, Курицын, Буров… Позднее, в калейдоскопе страшных, кровавых событий, он не раз повторял их имена, гадая, где-то они, что с ними?

Госпиталь в зеленом домике пробыл недолго и к 1916 году закончил свое существование.

6

Куда пропало былое оживление, недавний душевный подъем, радостная вера в освободительную войну, которая преобразит и самое Россию? Куприн почасту хандрил, несмотря на все старания Елизаветы Морицовны держать его «в форме», неохотно и изредка садился за свой белый рабочий стол. Обстановка на фронте и внутри страны, надвигающаяся разруха, брожение в армии и в тылу — все это навевало невеселые размышления. Его отрадой и отдохновением оставался сад, где он проводил

большую часть дня.

Весна 1916 года выдалась капризной, переменчивой, температура воздуха скакала, теплые погожие дни внезапно сменялись пронизывающе холодными. Навестившему его давнему приятелю — журналисту Васе Регинину Куприн жаловался:

— Не климат, а какое-то петроградское недоразумение. Вот тепло-тепло сейчас, а пойдет ладожский лед или вопреки всем ожиданиям завернет северный ветер, и все труды по парниковым и прочим насаждениям насмарку. И так обидно, что лелеемая нами радость одухотворенного труда исчезнет. А ладожского льда я положительно не выношу: подумай только, на расстоянии почти пятидесяти верст от Петрограда, в Гатчине, лежащей значительно выше столицы, делается нестерпимо холодно.

Он встретил Регинина около парников, тщательно укрытых поверх рам матами, и долго не мог расстаться с дорогой ему темой.

— Я лично люблю русскую здоровую зиму, не могу выносить петроградской специфической зимы. На меня она действует угнетающе… — твердил он, когда шел с Регининым к дому.

— А как же творчество, писания? — поинтересовался тот по своей профессиональной репортерской привычке.

Куприн замахал руками.

— Отдаваться личному творчеству, художественной работе, передаче образов на бумагу? Тут я совсем беспомощен зимой. Веришь, приходится все переживать только в себе, таить даже в те минуты, когда мучительно хочется перенести все это в действительность, поскорее написать… Зато с первым весенним солнцем я оживаю, ощущаю прилив сил, дремавших за долгую зиму…

В большой комнате, после эвакуации госпиталя снова вернувшей свой первоначальный вид, Елизавета Морицовна накрыла скромный стол.

Перехватив взгляд Регинина, Куприн понимающе покачал головой:

— Поневоле вспомнишь сытые довоенные дни, наши обильные застолья и веселые разговоры. Как все переменилось! Даже мой любимый гатчинский уголок — ресторанчик старика Веревкина, где он по моему рецепту варил раков с чесноком, и тот приказал долго жить.

— Зато Питер по-прежнему празднует вечера всеми своими ресторанами, шантанами, кинематографами, — усмехнулся Регинин. — «Единственная и неподражаемая» Настя Полякова в цыганских концертах! Драма «Кровавая роса» в «Пикадилли»! «Подобный дьяволу» в «Молнии»! «Жрица святой любви» в

«Рампе»! «Первоклассная образцовая» программа в «Вилле Родэ»!.. Словно не было и нет этой треклятой войны.

— Да, о войне говорить мучительно, но не говорить о ней нельзя. Ну что ж, поднимем настроение этим мутным, но, безусловно, благородным напитком, — предложил Куприн, разливая по рюмкам и в самом деле не совсем прозрачную жидкость. — Как и вся страна, я перешел на спирт и самогон. Выпьем за Россию!

— За Россию! — повторил Регинин, ловко опорожнял рюмку с сивухой и, не закусив, спросил: — Как вы считаете, Александр Иванович, что ждет нас?

— Я скверный предсказатель, — вздохнул Куприн. — Но, кажется, самое трудное еще впереди. Я почувствовал это особенно остро, когда выехал в глубинку.

— Читал о вашей работе во Всероссийском земском союзе, о поездке в Киев…

Куприн засмеялся добродушно и невесело.

— Я, Васенька, оказался кругом нуль. Негоден как к строевой, так и к канцелярской службе. Уж настолько привык жить в фантастической области вымысла, жить без всякой отчетности, без всякого контроля, кроме отеческого попечения бдительной полиции, что Земгор мигом выявил полную мою неспособность к регулярной усидчивой кабинетной работе.

— Расскажите про Киев, — попросил Регинин. — Ведь там прошла ваша молодость, в том числе и литературная…

Куприн покосился на потучневшего Васю. Ничего не осталось от стройного живоглазого гимназистика Рапопорта десятилетней давности, влюблявшегося подряд во всех молодых дам и девушек, которому в Балаклаве старый заслуженный адмирал после исполнения мадригала его дочке разбил гитару о голову. О время, время!

— Если бы хоть кто-нибудь следовал заветам практической мудрости, как умна и ладна была бы жизнь! — воскликнул он, разливая пахучий напиток в рюмки. — Но — увы! — все соглашаются с их шаблонной справедливостью, верят им в теории, но поступают наперекор. И чаще всего сами советчики…

Они чокнулись, заели самогон отварными сморчками, собранными Куприным с Ксенией.

— Так и я, — продолжал Александр Иванович, — давно и часто повторял вовсе не новое изречение: «Не возвращайся никогда после многолетнего промежутка в те места, где прошла твоя ранняя молодость с ее мятежностью, ошибками, увлечениями, нуждой, падением, надеждами и мечтами. Со всем, что было так волшебно окрашено собственной жаждой

впечатлений и упругой кошачьей живучестью. Я сам испытал в Киеве всю тяжесть и всю ноющую печаль такого возвращения. Вот местный фельетонист. Я долго не могу признать его, хотя мы вместе с ним начинали есть горький литературный хлеб. Он — от злободневных стишков, я — от судебного и думского репортажа. Тогда это был высокий черноглазый меланхоличный брюнет, у которого курчавые волосы на голове торчали врозь крутыми штопорами. Теперь он маленький толстяк, окончательно плешивый, седобородый и в очках. Или эта дама в красном тяжелом капоте, мать четверых детей, в том числе одного боевого прапорщика, ожидающая пятого, оплывшая, эгоистичная в своем святом материнстве, тяжелая, распустившаяся, равнодушная. Неужели она была когда-то нашей тонкой, изящной, грациозной, нежной принцессой Грезой, в которую безнадежно и поголовно было влюблено все наше поколение? И узнаешь ли в важном, суровом прокуроре, каменно глядящем тебе в переносицу невидящим взором, прежнего беззаботного студента — милого Ваську Арапа, исполнявшего так неподражаемо танец людоедов с острова Фиджи вокруг жареного миссионера?..

Когда Куприн умолк, грустно уставившись на пустую рюмку, Регинин восхищенно воскликнул:

— Писать вам надо, Александр Иванович! Вас недаром так любит читатель и ждет именно от вас нового слова.

— Писать? О чем? — медленно сказал Куприн. — Сейчас все живут войной. Но на фронте мне не пришлось побывать. То не случалось оказии, то не было свободного автомобиля. Да все равно из мимолетных картин, из беглых расспросов, из отрывочных рассказов ведь никак не уловишь даже и тени того великого, страшного и простого, что совершается на войне.

— А ваши давние замыслы?

— Их очень много. И, видно, поэтому все движется вперед черепашьим шагом. То начинаю отделывать давно задуманную повесть из жизни монашеской братии «Желтый монастырь», то пишу продолжение старой повести «На переломе» «Юнкера» о моей юнкерской жизни с ее парадной и внутренней стороной, с тихой радостью первой любви и встреч на танцевальных вечерах со своими симпатиями. Но сам пойми, как можно стройно и спокойно отдаваться художественному творчеству, когда гремят страшные раскаты мировой войны!..

Провожая Регинина до вокзального павильона тихой и обезлюдевшей Гатчиной, густыми березовыми аллеями, садами сирени, буйствовавшей за палисадниками, Куприн, волнуясь, говорил:

— Ведь кончится же когда-нибудь эта страшная война,

размеров и ужасов которой не могло предвидеть самое жаркое человеческое воображение. Но даже в случае победы — а мы хотим, можем и должны победить! — все-таки Россия, вынесшая разрушительное бремя, долгое время будет походить на муравейник, по которому прошли тяжелые колеса телеги. Тогда потребуется многолетнее всеобщее, упорное и напряженное строительство. Понадобится твердая вера в собственные силы, чтобы не пасть духом и не опустить руки. Нельзя не верить стране! Или мы платонически, точно из театрального зала, точно «понарошку», умилялись терпению, уму, безграничной стойкости русского солдата, восхищались русским рабочим?..

Он приостановился, поднял голову к бездонному беспокойному небу, в глубинах которого тихим комариным звоном напомнил о себе русский военный аэроплан.

— Как сладко мечтать о временах, — сказал Куприн, не отрывая взгляда от летящего аппарата, — когда грамотная, свободная, трезвая и по-человечески сытая Россия покроется сетью железных дорог, когда выйдут из недр земных неисчислимые природные богатства, когда наполнятся до краев Волга и Днепр, обводнятся сухие равнины, облесятся песчаные пустыри, утучнится тощая почва! Когда великая страна займет со спокойным достоинством то настоящее место на земном шаре, которое ей по силе и по духу подобает!..

7

Центр столицы, ее самые респектабельные улицы и площади были запружены бесконечными толпами. На Невском, Литейном, Марсовом поле знамена, оркестры, крики, речи, смех, слезы радости. Роту солдат, побывавших в боях и увешанных крестами, встречают восторженными возгласами, вверх летят шапки, кто-то за неимением другого запускает калошу. Новый взрыв восторга: в толпе узнают старых народовольцев, политкаторжан, вышедших с огромными красными бантами: Брешко-Брешковскую, Засулич, Морозова… Река хоругвей, расплываясь алыми пятнами, теряется в перспективе прямых петербургских улиц, кажется, смывая и унося за ненадобностью прочь бронзовых государей — Петра Великого, Екатерину Вторую, Николая Первого, Александра Третьего…

Стотысячные толпы солдат, рабочих, крестьян, служащих праздничной чередой текли мимо Куприна. Петроград отмечал

падение самодержавия.

— Свершилось… — шептал со слезами Куприн, вглядываясь в незнакомые возбужденные лица, ловя обрывки революционных песен, приветствий, возгласов. — Наконец-то!..

Февральская революция 1917 года застала его в Гельсингфорсе, откуда он немедленно выехал в Питер. В потрясших страну событиях Куприн увидел подтверждение своим мечтаниям о будущей свободной и сильной России. С самых первых «дней свобод» он становится темпераментным газетчиком-публицистом, а вскоре вместе с критиком П. Пильским берется редактировать эсеровскую газету «Свободная Россия». Одной из главных партий, претендующих на то, чтобы после февраля управлять страной — социалистам-революционерам было лестно и выгодно заполучить золотое перо Куприна.

Он пишет в эту пору много и легко в зеленом гатчинском домике и в петроградском редакторском кабинете. Настоящее кажется ему простым и ясным: Россия добилась чаемых свобод, и теперь только надо сохранить завоеванное, отстоять от врага государственные границы, чтобы заняться затем мирным строительством.

Теперь как никогда ясно сказывается политическое простодушие Куприна, его расплывчатый и отвлеченный демократизм. И в злободневных откликах на события в стране — заметках «Пестрая книга», которые он регулярно публикует в газете, и в крупных очерках вроде напечатанного в двух номерах восторженного панегирика А. Ф. Керенскому «Сердце народное», и в скрытой и явной полемике с большевиками — всюду он выступает в качестве публициста, за внешней «беспартийностью» которого легко угадывается иная, чисто классовая мелкобуржуазная основа.

Куприн высоко ценит нравственный и духовный подвиг великого русского народа, его героическую историю и свободолюбивые традиции. Он исполнен глубокой веры в светлое будущее России. Из-под его пера выходят пламенные строки, обжигающие своим патриотическим, гражданственным накалом. «Нет, не осуждена на бесславное разрушение страна, которая вынесла на своих плечах более того, что отмерено судьбою всем другим народам, — пишет он, — вынесла татарское иго, московскую византийщину, пугачевщину, крепостное бесправие, ужасы аракчеевщины и николаевщины, тягости непрестанных и бесцельных войн, начатых по почину политических шулеров или по капризу славолюбивых деспотов — вынесла это непосильное бремя и все-таки под налетом рабства сохранила живучесть, упорство и доброту души. Угнетаемый народ никогда не уставал

протестовать. Лучшие, наиболее сильные люди из темной массы снизу шли в подвижники, шли в разбойничьи шайки. Гонимые старообрядцы сплотились в могучее, сильное, несокрушимое ядро. Два перста протопопа Аввакума, поднятые вверх из пламени костра — вот он — бунт русского духа. В Сибирь ссылало правительство и гнали помещики все страстное и живое из народа, не мирящееся с колодками закона и безумным произволом власти — и вот вам теперешние сибиряки, сыновья и внуки ссыльнопоселенцев — этот суровый, кряжистый, сильный, смелый, свободолюбивый народ, владеющий сказочно богатым краем.

А разве, спрессованная бессмысленным грузом самодержавия, не протестовала русская интеллигенция? Не та интеллигенция, какою ее себе представлял скверной памяти бывший околоточный надзиратель, который отечески распекал нашумевшего обывателя: «А еще интеллигентный человек, в крахмале и при цепочке, и брюки навыпуск!» А истинные печальники и великомученики страны, ее совесть и мозг и нервы. Вспомните декабристов, петрашевцев, народовольцев, переберите в уме весь кровавый синдик наших современников, борцов, сознательно погибших на наших глазах за святое и сладкое слово — свобода. Посмотрите: весь цвет и свет России, целые ряды ее молодых поколений, ее лучшие умы и чистейшие души прошли сквозь тяжкое горнило каторги, ссылки, жандармских застенков, одиночек — прошли и вышли оттуда, сохранив твердую веру в человечество и горячую любовь к человеку. Вспомните и нашу многострадальную литературу, этот термометр угнетенного общественного самосознания. Она задыхалась, принужденная к молчанию, надолго совсем замолкала, временами жалко мелела, но никогда и никто не мог поставить ее на колени и приказать говорить холопским языком…»

Но разруха, страшная разруха, надвигающаяся на страну, пугает и ужасает Куприна. Это навязчивое словцо встречало его повсюду: он натыкался на него в газетах, манифестах и приказах, в вагонных разговорах и семейной болтовне. Разруха уже стучалась в калитку зеленого гатчинского домика: деньги ничего не стоили, скромные драгоценности Елизаветы Морицовны — брошка, серьги, три кольца, брелок и цепочка — были в ломбарде. Хорошо еще, друзья не забывали Куприна. Как-то появился незнакомец, гнавший перед собой потощавшую корову. На недоуменные вопросы он ответил, что это Ванечка Заикин купил корову для Куприных и послал ее через всю Россию…

Зловещие симптомы разрухи Куприн видит повсюду — и в длинных очередях за хлебом, и в разложении петроградского

гарнизона, обратившего казармы «в ночлежку и в игорный вертеп», и в шумной деятельности анархиста Мамонта Дальского, артиста с большим драматическим дарованием и с «темпераментом Везувия», совратившего и поведшего за собой, за своими бредовыми идеями горсточку безусой зеленой молодежи, и в начавшемся неуклонном развале русской армии, которой Куприн по-прежнему горячо желает победы…

Не понимая, что народ устал от войны, не хочет и не может ее продолжать, он резко осуждает участившиеся случаи дезертирства, братания с немцами, отказа воевать. Особенно болезненно воспринял Куприн весть о том, что в числе полков, расформированных приказом военного министра за массовую неявку личного состава, оказался и 46-й пехотный Днепровский, в котором он начинал свою офицерскую службу.

Насколько отошел Куприн от собственных прежних взглядов на армию и ее роль в обществе, некогда высказанных в «Поединке»! Он убежден в благотворных переменах, якобы произошедших за двадцать лет как в русской армии вообще, так и в «родном» полку: «Уходили один за другим древние закоренелые мордобойцы, бурбоны, трынчики и питухи с образованием шморгонской академии. Офицерский состав обновлялся воспитанной, вежливой, гуманной молодежью. Прививалась забота офицера о солдате и доверие солдата к офицеру. Право, эти этапы казались мне чудесными».

С самого начала войны Куприн следил за судьбой 46-го пехотного полка и радовался его успехам: «Он участвовал в быстром натиске на Львов и Перемышль и в том легендарном безоружном, но безропотном отступлении, которое было вызвано предательством, продажностью, интригами и постыдным равнодушием власти. И вот теперь этот же полк выступил на позиции всего лишь в половинном составе. Где же причина такому позору? Живая страна может пережить все: чуму, голод, землетрясение, опустошительную войну, кровавую революцию, — и все-таки остаться живой. Но разложилась армия — умерла страна».

Куприн полемизирует с теми, кто желает поражения России в войне, не жалея крепких слов и именуя своих противников «историческими болтунами, трибунными паяцами, честолюбивыми мизантропами, сумасшедшими алхимиками». За военным крахом ему видится только полное разрушение, развал, пыль, мусор, обломки, щебень, а в итоге пустое дикое место, не поддающееся ни лопате, ни сохе. Идеи большевизма как таковые привлекают, даже восхищают Куприна, но кажутся ему несвоевременными, утопическими. «Пусть учение Ленина в своей

идеологии высоко, — писал он. — Но оно отворяет широко двери русскому бунту — бессмысленному и беспощадному».

Его тревожит историческое будущее России, которое, это Куприн понимает прекрасно, творится в 1917 году, в поворотные дни надежд, сомнений и испытаний.

Отступление пятое НА ИЗЛЕТЕ

В течение первого десятилетия 900-х годов талант Куприна достигает своего зенита. В 1909 году писатель получил за три тома художественной прозы академическую Пушкинскую премию, поделив ее с Буниным. В разборе его произведений, написанием почетным академиком К. К. Арсеньевым, говорилось, что Куприн является «бесспорно, одним из самых выдающихся наших молодых беллетристов. Свободный от крайностей, в которые впадают многие из его сверстников, он остается верен лучшим традициям нашей литературы… Талант А. И. Куприна нуждается не в поощрении, а в признании. Рассказы, представленные им на суд академии, дают ему несомненное право на полную Пушкинскую премию». В 1912 году в издательстве А. Ф. Маркса выходит собрание его сочинений в приложении к популярному журналу «Нива». В противовес все сильнее свирепствовавшей моде декаданса талант Куприна и в эту пору остается реалистическим, в высшей степени «земным» художническим даром.

Однако годы общественной реакции не прошли бесследно для писателя. После разгрома революции 1905-1907 годов у него заметно падает интерес к политической жизни страны. Не было и прежней близости к М. Горькому. Свои новые произведения Куприн помещает не в сборниках «Знания», а в «модных» альманахах — арцыбашевской «Жизни», символистском «Шиповнике», сборнике московского книгоиздательства писателей «Земля». Если говорить об известности Куприна-писателя, то она в эти годы все продолжает расти, достигая своей высшей точки. По существу же, в его творчестве 1910-х годов уже заметны тревожные симптомы кризиса.

Купринские произведения этих лет отличаются крайней неравноценностью. После проникнутого ярким гуманизмом «Гамбринуса» и поэтичной «Суламифи» он выступает с рассказом «Морская болезнь», несколько необычная для Куприна по экзотичности материала (действие ее происходит сначала в Лондоне, а затем в Южной Америке, на вершине потухшего вулкана), в которой звучит отчаяние перед всемогущей властью капитализма, неверие в будущее человечества.

Гениальный ученый лорд Чальсбери, изобретший способ концентрации солнечной энергии, обреченно говорит в финале: «Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире — капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколения сказочных

полишинелей-миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно. И моя идея продлить солнечную жизнь земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы…» В эту пору пробуждается в Куприне сомнение в возможности социального переустройства общества.

Атмосфера, в которой жил Куприн в эти годы, как мы помним, также мало способствовала кропотливому литературному труду. К популярному писателю льнули подозрительные личности, репортеры желтой прессы, ресторанные завсегдатаи, которые были не прочь погреть руки у той свечи, на которой Куприн жег свой талант.

Литературному творчеству мешала и постоянная нехватка денег. Растут долги. «Я очень беден теперь и подрабатываю кустарным промыслом, — сообщал Куприн 20 апреля 1910 года Батюшкову. — За эти дни я написал 1) «В трамвае» (500 строк) для «Утра России»; 2) «Искушение» (600 стр.) для «Русского слова»; 3) «По-семейному» для корреспонд. бюро (300 стр.); 4) «Скэтингринк» для журнала Татаринова того же имени (300 стр.); 5) «Они будут…» для «Русского слова» (300 стр.); 6) «Леночка» для «Одесских новостей» (600 стр.); 7) статью о Твене (100 стр.) и 8) статью о П. Нилусе (о книге) 20 стр… На что мне жить? Я уже все заложил. Поневоле пишу что попало и где попало. Надо есть!» Как видно, Куприну на вершине своей литературной славы поневоле приходилось возвращаться к блиц-методам чернорабочей журналистики времен неустроенной киевской жизни. В таких условиях работал он и над созданием «Ямы».

Повесть писалась с длительными перерывами, вызываемыми и материальными затруднениями, и временным охлаждением писателя к своему детищу. Первая ее книга появилась в 1909 году, закончилась же публикация «Ямы» шесть лет спустя, в разгар первой мировой войны.

Куприн решил раскрыть мрачный, мало освещенный литературой мир — мир публичных притонов, изнанку большого города. Повесть пробуждала сочувствие к положению «белых рабынь», заточенных в доме терпимости и подвергавшихся каждодневным унижениям. Однако истинные причины векового зла — проституции, по мнению Куприна, надо искать в фактах биологических, а не социальных. В «падших» женщинах он видит прежде всего жертвы общественного темперамента.

Ни гуманистическая и одновременно обличительная устремленность повести, ни выпуклые характеристики многочисленных персонажей — хозяйки «заведения», матерой

торговки «живым товаром» Анны Марковны, ее экономки Эммы, зверски жестокого и алчного околоточного Кербеша или девиц — Паши, Тамары, Соньки Руль, Мани Маленькой и т. д., ни живая центральная фигура правдолюба журналиста Платонова, которому Куприн доверил собственные мысли о положении женщины в буржуазном обществе, — ничто но могло восполнить основного недостатка «Ямы» — ее натуралистичности, журналистской очерковости в обработке огромного жизненного материала.

Противоречивость творчества Куприна 1910-х годов отражала растерянность писателя, его неуверенность и непонимание происходящих событий. Это еще раз подтвердилось в пору русско-германской войны, а затем Февральской революции 1917 года. Куприн пишет ряд статей, художественное же его творчество почти иссякает вовсе. Причем в немногочисленных его произведениях этих лет знакомые по прежнему творчеству темы утрачивают социальную остроту. Таков, к примеру, большой рассказ «Каждое желание» (названный позднее «Звезда Соломона», 1917). Фантастические ситуации, в которые попадает крошечный канцелярский служащий Иван Степанович Цвет, вызывают у него одно желание: вернуться в свою комнату-гроб, к своей жалкой должности, к своему уютному прозябанию. В этой «гоголевской» история о союзе чиновника с чертом ощутима измельченность помыслов «маленького человека».

Так в кризисную для Куприна пору завершается главный, предреволюционный период его писательской деятельности, в который были созданы все самые значительные его произведения.

Глава шестая РОССТАНИ

1

По заснеженному, испуганно-притихшему Невскому шли веселые квадратные матросы в бушлатах, перепоясанных крест-накрест пулеметными лентами, шли женщины из пригородов и окраин с чувашскими и чухонскими лицами, шли суровые латышские стрелки со сталью в глазах, шли остроскулые путиловские рабочие, неловко, но твердо держа винтовки, шли мужики, солдаты в разных, каких попало шинелях и с разным оружием — кто с саблей, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса. Теперь хозяевами того колоссального наследства, что звалось Россией, были они…

После переезда Советского правительства во главе с Лениным в Москву жизнь в Питере стала заметно мельче, провинциальной. Огромный имперский город, в который два столетия весь народ вкладывал разум, талант и силу, вместе с утратой статуса столицы невидимо, но неуклонно терял значение и духовного центра. Жизнь непрерывной струйкой вытекала из него. На юге России оказались Аверченко, Волошин, Вертинский, Плевицкая, Тэффи, в Финляндии — Репин, Леонид Андреев, в Швеции — Рахманинов, в Америке — Анна Павлова, в Москву выехали Маяковский, Бунин, А. Толстой…

Классовый сдвиг, вызванный Октябрем, непримиримым расколом прошелся по телу России, разорвав, разъяв ее на куски. В Питере множились заговоры, гремели револьверы террористов. Реакция под разными личинами поднимала голову, стремясь любой ценой остановить ход истории. Это понуждало закрывать оппозиционные буржуазные газеты, оставляя лишь несколько наиболее умеренных, появлявшихся на короткое время под разными названиями — «Эра», «Эхо», «Петроградский листок», «Молва», «Вечернее слово». Замирала театральная жизнь. Погасли нарядные витрины магазинов и ресторанные вывески.

С особой, обостренной болезненностью восприняла суровые революционные события русская интеллигенция. Колебался Горький; в редактируемой им газете «Новая жизнь» велась полемика с большевиками. В литературной среде тем, кто сотрудничал с новой властью, не подавали руки, от них отворачивались на улице. Зинаида Гиппиус, непримиримая к большевистской власти, мрачно острила: «Говорят, к Блоку

вселили в квартиру красногвардейцев. Хорошо бы — двенадцать!..» Пролетарская революция предложила такие испытания, которых не выдержали многие интеллигенты. Их идеальным, романтическим представлениям о России был нанесен непоправимый удар.

Как Дон-Кихоту Дульцинея,
Была Россия нам мила.
Открылась правда: — Дульцинея,
Ты умерла? «Нет, не жила…»
Смеется грубая Альдонса:
«Прими такой, какая есть…»

Скотницей Альдонсой, грубой и прозаической, обернулась Федору Сологубу Россия, мечта донкихотствующего интеллигента. Смятенной, растерянной русской интеллигенции, так жаждавшей прихода подлинно народной революции и испугавшейся ее грозного лика, посвятил знаменитую «Инвективу» Валерий Брюсов:

И вот свершилось. Рок принял грезы,
Вновь показал свою превратность:
Из круга жизни, из мира прозы
Мы вброшены в невероятность!

Нам слышны громы: то — вековые
Устои рушатся в провалы;
Над снежной ширью былой России
Рассвет сияет небывалый…

Что ж не спешите вы в вихрь событий —
Упиться бурей, грозно-странной?
И что ж в былое с тоской глядите,
Как в некий мир обетованный?

Иль вам, фантастам, иль вам, эстетам,
Мечта была мила как дальность?
И только в книгах да в лад с поэтом
Любили вы оригинальность?

Испытания начинались с быта. Зима 1918 года принесла голод, холод, сыпняк. Петроградские квартиры, лишенные электричества и воды, походили более на пещеры. В бывшей

столице теперь оставалось менее половины населения. Но еще хуже было маленькой Гатчине, наводненной беженцами, солдатами, рабочими, мобилизованными на строительство оборонительных сооружений. Совет гатчинской коммуны выбивался из сил, но не мог решить и малой толики поставленных жизнью задач.

Куприн не падал духом. Чтобы как-то прокормить семью, он вместе с художником Щербовым и некоторыми другими гатчинцами организовал подобие огородной артели. Совместно они добывали семена, обрабатывали землю, сажали на месте цветников картошку. На творчество уже не хватало сил. Да и что мог сказать сейчас Куприн русскому читателю? Лишь изредка появлялись его статьи и очерки в петроградских газетах — летучие и беглые отклики на злобу дня. В них отражается противоречивая позиция писателя, не приемлющего многого в новой действительности.

Еще в рассказе 1906 года «Тост» Куприн приветствовал будущее свободное общество «гордых, смелых, равных, веселых» людей, сбросивших цепи угнетения, перестроивших мир, относя это общество к 2906 году. Когда же на его глазах были заложены основы нового строя, Куприн оказался в положении колеблющегося и выжидающего «товарища-интеллигента».

С болью и грустью наблюдал он, как замирала в Гатчине жизнь, как пустели улицы, как приходили в упадок дворцы, несмотря на старания назначенного большевиками комиссаром музея И. П. Кабина. Он ревниво относился ко всему, что было связано с любимым городом, даже если речь шла о великом князе Михаиле Александровиче, морганатическая жена которого Брасова проживала в Гатчине. О личности великого князя Куприн много слышал от француженки Барле, которая обучала языку его дочь Ксению и детей Михаила Александровича.

Относясь с явной, откровенной антипатией к фамилии Романовых, считая, что они мстительны, властолюбивы, неблагородны, двуличны, жестоки, трусливы и вероломны, Куприн выделял Михаила Александровича, видя в нем человека простецкого, чистого и честного, восхищаясь его твердым отказом принять российский престол после отречения Николая II: «Я последую воле народа…» И когда он услышал, будто революционные власти притесняют Михаила Александровича, то выступил в его защиту на страницах газеты «Молва».

Статья «Михаил Александрович» для той поры выглядела настолько странно, нелепо даже для уцелевшей буржуазной печати, что редакторы «Молвы» — Муйжель и Василевский-Небуква сочли необходимым сопроводить ее припиской:

«Помещая эту статью А. И. Куприна, редакция оставляет ее на ответственности высокоталантливого автора».

2

Вечера Куприн коротал за преферансом с гатчинскими обывателями — настоятелем кладбищенской церкви, неким отставным полковником и толстеньким инженером-электриком. Елизавета Морицовна не одобряла его увлечения картами, но гостей встречала любезно. Тайным знаком приглашения преферансистов служил пиратский флаг, который Куприн вывешивал на помойке, возвышавшейся как холм.

В тот июньский вечер он угостил партнеров крошечной порцией ректифицированного разбавленного спирта, который выменивал у местного аптекаря Файнштейна, и, как обычно, предложил:

— Чтоб укрепить наш альянс, сыграем, братья, в преферанс.

В самый разгар картежа, когда неосторожный батюшка оказался, как говорится, в полной коробке и все ожидали от него одно из любимых присловий — «Стала она призадумывать себя» — он вдруг стал бледнеть, не отводя глаз от двери в переднюю. Все невольно повернули головы в этом же направлении. Там стояла перепуганная и тоже бледная кухарка Катерина Матвеевна, а за ее спиной тускло поблескивали лезвия штыков, смутно шевелились толпившиеся в передней люди. Появился однорукий долговязый комиссар в поношенном черном пиджаке и, протянув почтовый листок, сказал:

— По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произвести в этой квартире обыск…

Пока комиссар в сопровождении Елизаветы Морицовны обследовал комнаты, Куприн предложил было партнерам закончить пульку. Но те зашипели:

— Какая уж тут пулька! Вы лучше спрячьте поскорее карты, пока не поздно. Сами знаете, как на это теперь смотрят… Да и вообще тут для нас в чужам пиру похмелье. Ну мы понимаем, вы писатель, вы там могли что-нибудь такое написать. А за что же нас-то арестовали?

Минут через двадцать комиссар вслед за внешне спокойней Елизаветой Морицовной вошел в гостиную. Партнёры Куприна были немедленно и очень вежливо отпущены по домам. Правда, по торопливости ни один из них не попрощался с хозяевами.

Большевики оказались людьми гораздо более светскими. Комиссар даже попросил позволения сесть для составления протокола. Он начал было делать подробную опись груды писем, деловых бумаг, контрактов с издательствами, записных книжек, фотографических карточек, черновиков, беглых заметок, шутливых стихов, но скоро махнул рукой и спросил:

— Нет ли у вас каких-нибудь весов?

Катерина Матвеевна, выкатывая глаза от страха, принесла медные, кухонные, с плоской круглой тарелкой. Комиссар быстро взвесил реквизит и дал расписку в том, что принял вещей на девять фунтов.

— А теперь, — сказал он, — вы уж нас извините, товарищ дама, но по распоряжению революционного трибунала мы обязаны доставить вашего супруга в местный совдеп до дальнейших указаний…

На другое утро Куприн был отвезен в петроградский трибунал, который размещался во дворце великого князя Николая Николаевича Старшего.

Комендант Крандиенко был в ослепительно белой рубахе, вышитой украинским красным узором и заправленной в широкие шаровары, и с лихо загнутой матросской шапкой на кудрявой голове.

— Ага! Пожаловали в нашу гостыницю, — заговорил он с ярким украинским выговором. — Добре, добре. Тут у нас на нарах иногда ночует развеселая компания. — И внезапно, без перехода повысил голос: — Но как только надумаете бунт или побег, расстреляю к чертовой матери! — И снова спокойным тоном: — Кстати, звонила по телефону ваша супруга. Спрашивала, какие вещи вам требуется привезти.

— Папиросы, спички, четыре свечки, мыло, одеколон, десть бумаги, перья и чернила, — начал перечислять Куприн, сидя на табуретке и болтая ногой.

— А еще что?

— Красного вина, хотя бы удельного.

— Сколько? Полбутылки? Бутылку?

— Ну, бутылки две, самое большее три… Ну, еще ночное белье и постельное.

— Так и передадим. А ананасов и рябчиков не желаете ли?

Куприн понял, что Крандиенко иронизирует, и замолчал. Тот посидел еще немного, посвистал «виют витры» и ушел. Потянулось скучное время вынужденного безделья. Где-то близко за стеной наяривал без отдыха граммофон.

— Кто это забавляется? — спросил Куприн у солдата.

— Наша матросня. Делать им нечего, так они целый день

заводят эту машину.

Крандиенко вернулся, на этот раз с открытым и оживленным лицом:

— Можете выйти из этой буцыгарни и ходить, где вам угодно, по всему дворцу. Так приказал председатель трибунала. Да и правда, здесь для вас темно и еще вошей можете набраться. Идите, ну! Спать будете на коврах, я и подушку вам устрою. С семьею вам не воспрещено видеться. А теперь просю со мной уместе пообедать…

К вечеру, когда Куприн с Крандиенко мирно пили чай, приехала Елизавета Морицовна.

— Ты жив?! — вскричала она, ощупывая его лицо, и вдруг накинулась на коменданта:

— Что это за безобразие у вас творится? Я спрашиваю: как чувствует себя мой муж? А какой-то глупый осел бухнул мне в телефон: «Расстрелян к чертовой матери».

Крандиенко улыбнулся светло и широко:

— Не сэрчайте, товарищ Куприна. Це я пошутковав трошки…

Куприн отказался от предложения Крандиенко осмотреть верхние роскошные этажи дворца. Зато он охотно воспользовался его разрешением работать за огромным письменным столом посреди упраздненной приемной великого князя Николая Николаевича Старшего.

Разложив скромные письменные принадлежности, Куприн вывел на белом листе бумаги большущими буквами:

«Однорукий комендант».

Заглянув через его плечо, Крандиенко возразил:

— Та я же ж не однорукий, а зовсим с двумя руками.

— Это не про вас, — объяснил Куприн. — Про вас будет потом, а теперь очередь другого коменданта. Тут от вас, в двух шагах, Петропавловский собор. И в нем царская усыпальница. Так вот, в ограде этой усыпальницы похоронен сто лет назад герой многих славных войн, впоследствии комендант Петропавловской крепости Иван Никитич Скобелев. Был он в бесчисленных сражениях весь изувечен. Левую руку ему начисто отрубили, а на правой осталось всего два с половиною пальца. Отсюда и прозвание: «однорукий». И завещал он перед смертью, чтобы положили его за оградою усыпальницы, головою как раз к ногам великого императора Петра Первого, перед памятью которого он всю жизнь преклонялся.

Крандиенко воскликнул уверенно:

— О, це я знаю! Той Скобелев, що воевал с турком.

— Нет, больше с французами. С турками дрался уже его внук, Михаил Дмитриевич Скобелев, знаменитый «белый генерал». Обо

всех трех Скобелевых, внуке, отце и деде, на днях очень много и хорошо мне рассказывал личный ординарец Скобелева-третьего, почтенный и милый старик. Так вот, пока мне здесь делать нечего и пока память еще свежа, я хотел бы записать его слова.

Крандиенко поднялся.

— Ну да, конечно. А все-таки написали бы вы лучше за нашу великую революцию и за нашу геройскую «Аврору»…

Рано утром он разбудил Куприна со словами:

— Вставайте, товарищ. Пора умываться и чай пить. Пришло распоряжение отправить вас после обеда к следователю.

За чаем Крандиенко вел себя странно и загадочно. Он все постукивал ногтями по столу, потом мгногозначительно мычал:

— Да… Н-н-да-с… Такая-то штука… Н-н-да… Такого-то рода вещь… Да-с…

— Что это вас так тревожит, господин комендант? — не удержался Куприн.

— Нехорошее ваше положение. Можно прямо сказать, пиковое… Н-н-да…

Куприн промолчал.

— Читали сегодняшнюю газету?

— Нет еще. Не успел.

— Так вот, нате, читайте своими глазами: вчера был убит вашими контрреволюционерами, проклятыми белогвардейцами наш славный товарищ Володарский. Комиссар по делам печати. Понимаете ли? — И он произнес с глубоким нажимом: — Пе-чати!.. А это история вам не жук начихал. Н-да-с. В плохой переплет вы попали, товарищ. Не хотел бы я быть на вашем месте.

Куприн улыбнулся, но сам почувствовал, что улыбка у него вышла кривой.

— А что? Расстреляют?

— И очень просто. К чертовой матери. В четыре секунды. Не буду скрывать, товарищ: мне вас очень жалко, вы человек симпатичный. Но помочь вам, согласитесь, я ничем не могу. А потому примите мой дружеский совет. На допросе говорите следователю одну истинную правду, как попу на духу. Ничего не скрывайте и ничего не выдумывайте. Тогда, наверно, вам дадут снисхождение.

— Да за мной никакой вины нет!

Он махнул рукой.

— Э! Все так говорят…

Потом, уже на свободе, Куприн долго размышлял о сумбурной личности Крандиенко, о котором составилась репутация «зверя» скорее всего благодаря его громоподобным угрозам «расстрелять к чертовой матери в течение четырех

секунд». На самом деле человек он был очень неглупый, наблюдательный и не лишенный юмора, даже добросердечный. И все его свирепые окрики, его страшные угрозы были лишь наезженными приемами. Позднее он не раз по запискам Куприна давал свидания заключенным с их родными, разрешал передачи.

К следователю Куприна повел матрос, необычно высокий ростом и массивно широкий в плечах.

В небольшом скромном кабинете Куприна ожидал следователь. Он пошевелил бумагами и разгладил один газетный листок.

— Вот эта статья, — спросил он бесцветным голосом, — озаглавленная «Михаил Александрович», не вами ли написана?

— Мной.

— Единолично или в сотрудничестве с другими лицами?

— Одним мною.

— Что же вы хотели этой статьей сказать?

— Да ведь в статье все сказано. Вы ее, конечно, прочитали?

— Прочитал или не прочитал — это другой вопрос. Мы желали бы только знать, какие мысли или идеи хотели вы внушить широкой публике посредством вашей статьи?

— Совсем я ничего не хотел, — начал закипать Куприн. — Мне просто стало стыдно за представителей нового режима. Зачем они подвергают великого князя таким унижениям и стеснениям? Он простой и добрый человек. Он совсем не властолюбив. Наоборот, у него отвращение к власти. Он родился в царской семье, но душою и помыслами демократ. Он щедр и не может видеть нужды, чтобы не помочь ей немедленно. Без разрешения престола он женился на женщине, которую любил, и долгое время был в опале…

Куприн пересказал всю свою статью. Настала тишина. Следователь долго, очень долго глядел на него холодными, невидящими глазами.

— Итак, — равнодушно сказал, он, — из ваших слов я могу вывести только одно заключение: что вы не только ненавидите, но и презираете установленную пролетарскую рабоче-крестьянскую власть и ждете взамен ее великого князя Михаила Александровича, как бы архистратига Михаила, стоящего с огненным мечом. Не так ли?

Куприн уныло ответил:

— Да какая же здесь связь?

И опять оба скучно замолчали. Куприн обернулся к матросу. Тот сидел с кислым лицом и, щурясь, курил папиросу. Куприн вспомнил, что забыл табак внизу, и попросил покурить. Матрос охотно и предупредительно дал папиросу и зажег спичку. И еще

прибавил папиросу про запас.

Снова начался долгий разговор со следователем, и снова ничего не выходило. Наконец, тот сказал:

— Можете идти. Все равно все ваши уловки, обходы и хитрости не помогут. Правосудие доберется до ваших гнусных замыслов…

На железной, скудно освещенной лестнице матрос вдруг спросил:

— Что? Не особенно понравился вам следователь?

— А вам? — вопросом на вопрос ответил Куприн.

— Да, конечно, ишак карабахский… Да ничего, придут и настоящие работники. К нам все придут.

— Вряд ли, — усомнился Куприн.

— А не придут, сами нарожаем новых. Какие чудеса делал Петр!

— Во имя родины, — возразил Куприн. Беседа с матросом начала его интересовать. Да и не походил его конвоир на простого матроса.

— Да. Я отлично помню, — сказал матрос. — «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога: жила бы только Россия. Ея слава, честь и благоденствие». Может быть, я путаю немного текст. Во всяком случае, слова прекрасные и сказано твердо, на века. Но посудите сами, какую же непомерную тягу взвалил он на себя, чтобы чуть-чуть сдвинуть инертную, сонную Россию с мертвой точки. И притом совсем один. Но ведь поймите, товарищ. Петры Великие не повторяются, а вся сила русского Петра заключалась в том, что он был большевик, как были большевиками Иван Грозный и Павел Первый, и Марат, и Степан Разин. Большевизм — это не просто партия или политическое убеждение. Это вера и метод. Нас, большевиков, теперь, если отсеять присосавшуюся сволочь, триста тысяч, а скоро нас будет миллион. Петрова гигантская задача будет для нас детской игрой. Киндершпиль. Мы революционизируем весь земной шар, создадим единую коллективную власть, но власть не ради власти, а ради высокого счастья всех будущих поколений. При таком задании кто же будет плакать о разбитых горшках!

— Знаю, знаю, — возразил нетерпеливо Куприн. — Старая шарманка. Коммуны, фаланстерия, одинаковая пища, одинаковые платья. Надзор за человеческим приплодом. Господи, как надоели эти фантазии! Подумайте, что же станет с нашей родиной…

— Не сердитесь, — спокойно сказал матрос. — Вот вы все: родина и родина. А скажите мне, что такое родина?

— Родина? — Куприн на минутку задумался. — Родина, — это первая испытанная ласка, первая сознательная мысль,

осенившая голову, это запах воздуха, деревьев, цветов и полей, первые игры, песни и танцы. Родина — это прелесть и тайна родного языка. Это последовательные впечатления бытия: детства, отрочества, юности, молодости и зрелости. Родина как мать. Почему смертельно раненный солдат, умирая, шепчет слово «мама», то самое имя, которое он произнес впервые в жизни? А почему так радостно и гордо делается на душе, когда наблюдаешь, понимаешь и чувствуешь, как твоя родина постепенно здоровеет, богатеет и становится мощной? Нет. Я все-таки говорю не то, что нужно. Чувство родины необъяснимо. Оно шестое чувство. Детские хрестоматии учили нас, что человек обладает пятью чувствами.

— Зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом, — подсказал матрос.

— Так, ну а вот родина — это шестое чувство, и природа его так же необъяснима, как и первых пяти.

Матрос сказал искренне:

— Но вот нет, нет и нет у меня этого чувства. У пролетариата нет родины! — И добавил буднично: — Не хотите ли зайти к нам в дежурную? Граммофон послушать?

— Ну нет, наслушался его досыта. А вот не найдется ли у вас какой-нибудь книжки? Чувствую, что долго не засну — растревожил меня ваш следователь…

— Пожалуйста. У нас есть маленькая библиотечка. Книги очень хорошие: Маркс, Энгельс, Каутский, Плеханов…

— Спасибо, но эти сочинения не по мне. Слишком умно. Мне что-нибудь попроще.

— Так не могу же я вам предложить такую вещь, как «Робинзон», например.

— Ах, голубчик, эту самую книжицу мне и надо. Какая прелесть! Я ее, пожалуй, лет уже десять не перечитывал.

Матрос покачал своей массивной головой:

— Ваше дело. А то, право, взяли бы хоть Либкнехта. Он полегче будет. Ужасно мне обидно, товарищ Куприн, что вы от нашего лагеря сторонитесь. Мимо какого великого дела проходите. Работали бы с нами заодно. И честь вам бы была и слава…

Матросы сидели вокруг ревущего граммофона. Получив книжку, Куприн было собрался уходить, как кто-то поставил новую пластинку. Из медной трубы полился стройный, тягучий, нежно-носовой, давно знакомый, но позабытый мотив. Матросы начали гадать.

— Может, варган, — говорил один, — я вот такой однажды в трактире слышал.

— А может, вовсе волынка.

— Непохоже. Это, должно быть, не играют, а поют. Какие-нибудь староверы поют…

И вдруг Куприн вспомнил и сказал:

— Не играют и не поют. А это дудят владимирские рожечники.

Никто из собравшихся во Владимирской губернии не бывал и рожечников не слушал, и Куприну пришлось рассказывать:

— Лет двадцать тому назад я обмерял лесные площадки в некоторых волостях Меленковского уезда Владимирской губернии. Народ во всей губернии здоровый, крепкий и состоятельный. Большинство о крепостном праве и не слышали, происходили от государственных крестьян. Деревни их были богатые. Рогатого скота множество, да не только ярославского, но и холмогорского и даже симментальского. Выпасы огромнейшие. Заливные и пойменные леса. А про свое сено меленковские так хвастались: «Кабы наше сено да с сахаром, так и попадья бы ела…»

Матросы замолкли, завороженно слушали Куприна.

— Каждая деревня сколько скота-то выгоняла? Голов триста, четыреста, а то и пятьсот! Деревни огромные, многолюдные. Наемный пастух от общества в среднем более пятисот целковых за лето получал. Жалование прямо министерское! А расходы? На собаку, подпаска да на коровьи лекарства. Харчился же дарма: в каждой избе очередь. Летние дни долгие. Что им, пастухам, делать? Вот и плетут они лапти. Или еще от нечего делать собирают на дорогах всякие ходячие напевы для своих дудок. Ох, на проезжей части чего не наслушаешься! Идет отставной солдат на родину — поет. Ямщик катит — поет. Цыганский табор тащится — и там песни. Ребята деревенские вернутся к осени из Москвы или Питера — опять новые песни… А у пастухов-то уши привычные, захватистые. Им не в труд, а в удовольствие новый напев поймать. Были и такие молодцы, что сочиняли песни от себя, да еще умудрялись играть их на два и на три голоса…

— А струмент-то, струмент какой? — поинтересовался матрос, принявший рожечников за орган.

— Погуще и попечальней — жалейка, самый, тонкий и чистый — свирель, потом еще дудка, а самый главный — рожок. Из коровьего пустого рога его мастерили, и бывали они разной величины и разных ладов. Иной уж надо бы назвать не рожком, а рогом. На смежных пастбищах, случалось, встречались пастух с пастухом и давай играть друг перед другом на разные голоса… Кончали они свою работу посла Покрова, тогда и расчет получали. Но был у них почтенный старый обычай: прежде чем

разбрестись по домам, обязательно завернуть в богатое и большое село Меленковского уезда — Сербово в положенный пастушеский день, в который искони веков, год за годом происходило состязание между искусниками играть на рожках и жалейках. Я и сам видел этот праздник! Играют и поодиночке, и вдвоем, и втроем, и вчетвером. А старинные песни ведут все полным хором. Например: «Долина, моя долинушка, раздолье широ-о-окое». Старинчатая, славная песенка…

В своей комнате Куприн долго сидел у растворенного окна, глядел на Неву, на ее прекрасные мосты, на легкую красную громаду Зимнего дворца. В стекле он увидел отраженную большую тень и обернулся, не испытав испуга.

Это был странный матрос-гигант.

— Простите, что потревожил вас, Александр Иванович, — мягким тоном сказал он. — Я вот все думал и передумывал о вашем чувстве к родине. Что оно такое, в самом деле? Нет, я еще продумаю этот вопрос…

И до самой ночной поры они сидели молча, глядя на бессонную Неву и на засыпающий Петроград…

4 июля 1918 года в редактируемой Амфитеатровым газете «Вольность» появилась статья «Освобождение Куприна».

3

Первым печатным выступлением Куприна после четырехдневного заключения был очерк памяти видного большевика М. М. Володарского, убитого эсером, «У могилы».

В нем отразились как определенные сдвиги, произошедшие в общественной позиции Куприна, так и приверженность прежним идеям о несвоевременности грандиозной программы преображения старой России, предложенной большевиками. «Володарский, — отмечает он, — ведя войну с оппозиционной печатью, выступал ее публичным обвинителем, не ища личных выгод и не имея в виду личных целей. Он весь был во власти горевшей в нем идеи. Он знал, что противник его искуснее в бою и вооружен лучше. Но он твердо верил в то, что на его стороне — огромная и святая правда». О больных и острых вопросах Куприн высказывается искренне, прямодушно, он чист и в своих ошибках и заблуждениях. «Большевизм, — пишет он, — в обнаженной своей основе представляет бескорыстное, чистое, великое и неизбежное для человечества учение. Он вовсе не помрачается

оттого, что его мысли перешли в дело не вовремя…»

О переменах, которые происходили в сознании Куприна, говорило и его сближение с Горьким. В Петрограде голода, эпидемий, молчания, в самое трудное время Горький стал средоточием консолидирующего движения русской интеллигенции, которой было суждено стать интеллигенцией советской. На его призыв к объединению из городских нор и пещер выходили голодные и колеблющиеся ученые, вставали к своим ретортам и колбам, литераторы снова брались за перо. При созданном им Союзе деятелей художественной литературы возникало издательство «Всемирная литература». В союзе, кроме Горького, приняли участие Куприн, Блок, Шишков, Чапыгин, Муйжель.

В сыром осеннем Питере Горький чувствовал себя плохо. Он покашливал, сдвигал пестро шитую шелками тюбетейку, открывая наголо, до голубизны обритую голову. Но с Куприным сидел долго, рассуждая и прикидывая возможности нового издательства.

— Духовный голод велик, огромен, — глуховато говорил он после глубокой затяжки, — не только у той массы, что читала раньше и не получает уже несколько лет регулярного притока духовной пищи, но и развился у новой читательской массы, гораздо большей, чем прежняя…

Он раскурил новую папиросу от только что закуренной, затянулся, закашлялся, сказал сквозь кашель:

— Глядите в глубь событий, отрывайтесь от случайного, внешнего… И не обижайтесь на перегибы… Они неизбежны… Давайте работать. Будем издавать образцовые произведения конца прошлого и начала нынешнего века. Двинем ваш «Поединок»… Народу нужны и хорошие книжки, и хорошие журналы и газеты.

Куприн, повернувшись к нему всем полнеющим телом, быстро ответил:

— «Поединок» — это хорошо, но старо. А вот есть у меня, Алексей Максимович, задумка, которой я хотел бы с вами поделиться…

Это была давно занимавшая Куприна затея издавать народную газету для крестьянства под названием «Земля».

— Сейчас деревне до зарезу, больше, чем книга, нужны землемер, агроном, садовник, инженер, лесничий, сыровар, маслодел, коннозаводчик, учитель, врач, акушерка, санитар, — убежденно говорил он Горькому. — Нужно поднять сельское хозяйство и сделать его передовым и культурным. Уничтожить на селе недоверие к людям интеллигентного труда,

пропагандировать народу сельскохозяйственную технику и специальные знания. Учить бережному отношению к лесу… Да мало ли еще задач, которые сейчас жизненно насущны для русской деревни!

Остановив на Куприне потвердевший взгляд, Горький заговорил, крепко налегая на «о»:

— Хорошее дело вы задумали, Александр Иванович, хорошее… Надо бы все это изложить на бумаге и как следует обсудить. Я с удовольствием присоединю к вашему проекту и свои силы…

— Ну а что дальше? Дальше что? — нетерпеливо спросил Куприн. — Ведь это так и останется мечтаниями на бумаге.

— Есть один человек, который все понимает отлично. Так-то! — отозвался Горький и добавил мягким густым басом: — Ленин.

4

А. М. Горький — В. И. Ленину.

Декабрь 1918 года.

«Дорогой Владимир Ильич!

Очень прошу Вас принять и выслушать Александра Ивановича Куприна по лит(ературному) делу.

Привет! А. Пешков».

5

Загоревшись новой идеей, Куприн выезжает в Москву с женой и дочерью и останавливается в квартире художника-акварелиста Н. М. Гермашова. Проект газеты «Земля», отредактированный и одобренный Горьким, был выслан заранее, чтобы с ним могли ознакомиться компетентные лица. Но главное — свидание с Лениным.

В Москве Куприн очень быстро, как это он умел, подружился с журналистом Олегом Леонидовым, вместе с которым они решили добиться приема у вождя Советского государства.

— Примет ли? — сомневался мнительный Куприн.

— Попробуем, — успокаивал его Леонидов, веселый молодой газетчик, заразившийся купринским энтузиазмом.

Вместе позвонили по телефону секретарю Ленина — Фотиевой.

— Писатель Куприн и журналист Леонидов хотели бы переговорить с Владимиром Ильичом.

— Подождите.

Несколько минут волнения у трубки, и неожиданно радостный ответ:

— Завтра товарищ Ленин будет ждать вас у себя в Кремле в три часа.

После этого разговора Куприн подарил новому знакомому том своих рассказов с надписью: «Глубокоуважаемому Олегу Леонидову 25 дек. н(ового) с(тиля) 1918 г. — с искренним желанием, чтобы в «Кремлевском деле» он оказался Олегом Вещим».

Волновались оба до крайности, боясь опоздать. И все условливались, кто будет говорить.

— Из моих слов Ленин ничего не поймет, должны объяснить все вы, — убеждал он Леонидова.

Тот тоже отказывался, боясь напутать. Наконец согласились на том, что надо написать и прочесть по бумажке. Но не сумели сделать и этого, так как выходило длинно, запутанно и невразумительно.

На следующий день без десяти три они уже были в проходе башни Кутафьи и предъявили бумаги солдатскому караулу. Им сказали, что товарищ Ленин живет в комендантском крыле, и указали вход в канцелярию…

Просторный кабинет. Три черных кресла и огромный письменный стол, на котором соблюден чрезвычайный порядок. Из-за стола поднимается Ленин и делает навстречу несколько шагов. Он широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм и очень опрятный, но не щегольской белый отложной мягкий воротничок, темный узкий длинный галстук. И весь он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести.

Зрачки у Ленина точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и из них точно выскакивают синие искры. Он указывает на кресло, просит садиться, спрашивает, в чем дело. Куприн говорит, что ему известно, как дорого Ленину время, и поэтому он не будет утруждать его чтением проспекта будущей газеты. Но Ленин все-таки наскоро перебрасывает листки рукописи, низко склоняясь к ним головой. Идея газеты ему понравилась. Но он сразу от общих расплывчатых мест переходит на практические рельсы.

— Для деревни надо писать о том, как строить баню, в деревне надо пропагандировать мыло. Не забыть и об уборных. И

о вшах. И всякие статьи по сельскому хозяйству тоже не в форме абстрактных выводов, а просто, практично — применительно к данным условиям. Такую газету издавать стоит!

Ленин весь в движении, говорит быстро, помогая себе жестами. Внезапно обращается к Куприну:

— К какой фракции вы принадлежите?

— Ни к какой, — растерянно отвечает тот. — Начинаю дело по личному почину.

— Так, — говорит Ленин и отодвигает листки. — Я увижусь и переговорю с товарищами…

При всех несомненных достоинствах план газеты «Земля» страдал расплывчатостью позиций автора, пытавшегося встать «над схваткой», и выглядел во многом наивным в условиях революции и гражданской войны. И все же рассматривавший этот вопрос председатель Моссовета Л. Б. Каменев не нашел нужной меры и такта в разговоре с Куприным. В присутствии поэта Демьяна Бедного он в резкой форме раскритиковал план газеты «Земля» и предложил Куприну подвал в журнале «Красный пахарь». Куприн, сдерживая раздражение, ответил, что посоветуется с другими участниками создания проекта газеты, и позднее послал Каменеву письменный отказ. На книге, подаренной Н. М. Гермашову, он сделал надпись, в которой день визита в Моссовет назвал «самым тяжелым днем своей жизни». Вдобавок были арестованы деньги, предназначавшееся для издания «Земли». Приходилось ни с чем возвращаться домой…

И снова встречи с Горьким, который ободряет Куприна и подталкивает его к творческой работе.

У Горького Шаляпин, огромный, светло-рыжий, с простецким белобрысым лицом, с белыми ресницами и водянистыми глазами. Знаменитый певец хандрит; тяжело дышит через нос, раздувая ноздри. Куприн застает только конец разговора, очевидно, неприятного для обоих.

— Даром только птички поют… — бормочет Шаляпин. — А я пять тысяч за концерт получал, между прочим… Золотом…

— Знаешь, Федор, — сухо, негромким низким голосом отвечает Горький, — я все удивляюсь, хоть писателю сие и неприлично, как это ты ухитряешься сочетать в душе гения с обыкновенным вятским кулаком!

Лицо Шаляпина тускнеет еще больше, идет морщинами.

— Заступись хоть ты за меня, Саша, — хмуро обращается он к вошедшему Куприну. — Совсем заел меня Алексей. Два часа комиссарит. И за что? За то, что отказался выступать на бесплатном концерте…

Куприн только машет в ответ рукой и молча садится. Горький

зорко глядит то на одного, то на другого и неторопливо сводит пальцы в крепкий кулак.

— Я все думаю, Федор, — как бы не замечая настроения Шаляпина, говорит он. — Отчего бы тебе не выступить как драматическому актеру? Для народного театра. Выбери что-нибудь яркое, романтическое, да и покажи нашим академикам, как надобно играть.

Лицо Шаляпина, как в детских перекидных картинках, меняется, выражение откровенной, почти младенческой обиды уступает место недоумению, затем ожиданию. Куда это гнет его друг?

— Сыграй, например, шиллеровского Филиппа в «Дон-Карлосе». Какой характер, экий, право, человечище! А перевод попросим сделать Александра Ивановича. У него сейчас в Гатчине тихо, покойно — сиди и пиши…

Шаляпин светлеет и вдруг с ясной улыбкой обращается к Куприну:

— А помнишь, Саша, как ты меня сватал к своей гатчинской кухарке? Дородная такая, кровь с молоком…

— Конечно, — невольно улыбается в ответ Куприн. — Ты приехал — огромный, в косоворотке. Я ей и говорю: «Ну, нашел тебе жениха. Приоденься и приходи в кабинет на смотрины».

— И что же? Приворожил девушку? — смеется, поглаживая рыжеватые усы, довольный Горький.

— Куда там! — Шаляпин сложил три пальца в известную фигуру. — Саша меня спрашивает: «Нравится невеста?» Говорю: «Еще бы. Настоящая русская красавица». Тогда он кухарку спрашивает: «А тебе как женишок?» Та отвечает решительно: «Не нравится. Бритый, а я с усами хочу!»…

— Я ей, — сдерживая смех, перебивает его Куприн, — объясняю, что парень уж больно хорошо поет, да этим все уже окончательно и испортил: без усов, одет по-деревенски да еще шарманщик!

Горький хохотал, мигая слезами, затем закашлялся глубоким грудным и надрывным кашлем.

— А как же «Дон-Карлос»? — наконец спросил он.

— Что ж, Саша, давай попробуем? — Шаляпин привстал со стула, сделал неуловимое движение плечами, и вместо белобрысого вятича перед Куприным предстал раздавленный несчастной любовью, мрачный король Испании: — «Лягу один под сводом Эскуриала, где-е предков ряд лежи-ит под хладною плито-о-й… На-а-йду покой…» — пианиссимо пропел он фразу оперы Верди…

…Вернувшись в Гатчину, Куприн немедля засел за

шиллеровский текст и с помощью учителя Ксении — милейшего немца Ноенкирхена получил точный подстрочник. По мере продвижения перевода он читал отрывки семье и знакомым.

— Представляешь, Лизанька, — говорил он горячо. — Как красиво! На одной афише три имени — Шиллер, Шаляпин и Куприн!

Он даже позабыл аптекаря Файнштейна, у которого добывал медицинский спирт и вечно спорил с его сыном Яшей, пылко отстаивавшим самые крайние революционные лозунги.

Когда перевод был завершен, его просмотрел Горький, одобрил труд и сделал несколько очень дельных замечаний. Куприн принялся за доработку рукописи. Как личное несчастье воспринял он весть, что в феврале 1919 года в петроградском Большом драматическом театре состоялась премьера «Дон-Карлоса», по в чужом переводе. Грусть и равнодушие вновь объяли его.

— Я не хочу в эти тяжелые годы и мертвые дни обогнать или пересилить судьбу, — твердил он единственному другу — верной Елизавете Морицовне…

Сложившиеся десятилетиями дорогие привычные связи незаметно рвались, человеческие отношения рушились под тяжестью внешних, механических, но тем более беспощадных причин.

В один из последних приездов в Петроград на углу Садовой и Инженерной улиц Куприн столкнулся с Батюшковым. «Как изменился, как постарел! — чуть не со слезами сказал себе Куприн. — Дряхлый одр!» Разговора не получалось. Они шли молча, словно чужие.

— Ты куда, Федя? — тихо спросил Куприн.

— В Публичную библиотеку, — вяло ответил тот. — Чувствую себя еще живым только в общении с книгой…

Он остановился и взял с лотка полусгнившее яблоко.

— Зачем это? — не понял Куприн.

— Мой завтрак, — равнодушно пояснил Батюшков.

Он скончался от истощения сил в следующем, 1920 году.

6

В тот 1919 год осень на севере России была особенно хороша. Прохладная ее прелесть глубоко и сладостно-грустно чувствовалась в скромной тишине патриархальной Гатчины.

Куприн, отрезанный от Питера, от друзей-литераторов, лишенный центральных газет, подавленный событиями, смысла и значения которых он не мог постигнуть, толком и не ведал о том, что же происходило на великих просторах России. На юге России генералы Алексеев н Корнилов возглавили добровольческую армию, в стране кипела гражданская война, белое движение, широко поддержанное Антантой, огненным кольцом охватило молодую Советскую Республику.

Еще в мае на северо-западе слышалась далекая канонада. Гатчина внезапно была объявлена на военном положении, из города спешно выступила дивизионная школа. В ночь на 13 мая части генерала Родзянко прорвали фронт и начали успешное наступление вдоль железной дороги Нарва — Гатчина. Они были остановлены всего в двадцати верстах от города. Но и знай это, Куприн воспринял бы вести равнодушно, не понимая, что выбрать, к кому примкнуть: он был во власти психической апатии.

«Незаметно впадаешь в какую-то усталую сонливость, — рассуждал Куприн сам с собой, видя, как даже десятилетняя дочь, которую он звал Аксиньей, а мать — Куськой, присмирела, перестала носиться по саду и с серьезностью маленького старичка подолгу сидит на веранде. — А позавчера? Я заснул на полпути к дому. Сел на скамеечку в сквере и заснул… Что-то будет?..»

Теперь, в пору хронического недоедания, переходящего иногда в настоящий голод, Куприн постиг тщету и малое значение всех прочих вещей сравнительно с великой ценностью, простого ржаного хлеба. Без малейшего чувства сожаления следил он за тем, как в руках мешочников исчезало все нажитое — зеркала, меха, портьеры, одеяла, диваны, шкафы и прочая рухлядь.

Надо было загодя подготовиться к новым испытаниям, и он трудился с самой зимы: ходил с салазками и совочком — подбирал навоз; добывал золу и пепел из печек; всяческими правдами и неправдами раздобыл несколько горстей суперфосфата и сушеной бычьей крови; пережигал под плитой всякие косточки; лазил на гатчинскую колокольню и набирал в мешок голубиного помета, хотя сами голуби давно уже покинули голодный город.

Любимому саду пришлось потесниться: под картофель Куприн выкопал двенадцать шестилетних яблонек, уже начавших приносить плоды. Весь огород занимал теперь 250 сажен. И урожай оказался небывало обильным. Куприн собственноручно снял тридцать шесть пудов картофеля — огромных, чистых, бело-розовых клубней, вырыл много ядреной петровской репы,

египетской круглой свеклы, сельдерея, репчатого лука, грачевской моркови, чеснока.

Трудился из последних сил. Нароет ведро картофеля, отнесет для просушки на чердак. А потом сидит на крыльце, ловит разинутым ртом воздух, как рыба на берегу, глаза косят, и все идет кругом от скверного головокружения, а под подбородком надувается огромная гуля: нервы никуда не годятся. Но теперь можно было во всеоружии встретить холодную суровую зиму, не страшась дрожания рук и накатывающейся слабости. Голод уже не грозил их маленькой семье.

Разочарованный неудачей с общерусской газетой, Куприн теперь уже сам не хотел никакого выбора и покорно отдавался течению событий: будь что будет…

Доходили до Куприна слухи о возможности бежать из России различными путями. Были и счастливые примеры, и соблазны. Хватило бы и денег. Но он сам не понимал, что именно — то ли обостренная любовь и жалость к родине, «шестое чувство», то ли ненависть к массовой толкотне и страх перед нею, то ли усталость, или просто темная вера в судьбу, фатум сделали его покорным ходу случайностей.

Вечерами за кофе, сваренным из сухой морковной ботвы, с песочными пирожными из овсяной муки Куприн подолгу рассуждал о происходящем с Елизаветой Морицовной.

— Нет-нет, никуда из нашей Гатчины мы не двинемся, — твердила жена.

— Да, Лизанька, — подхватывал, горячась, Куприн, — эмигрантов можно только пожалеть. Именно: сердечно пожалеть. Вот мы — голодные, босые, голые, но на своей земле. А они? Безумцы! На кой прах нужны они в теперешнее время за границей, не имея ни малейшей «духовной опоры в своей родине! Хочется их спросить: да куда это вас, дурачков, занесли страх и мнительность?..

— Им не позавидуешь, — качала головой Елизавета Морицовна.

«Как она сжалась, уменьшилась от переживаний и недоедания», — с грустной любовью подумал Куприн и, нежно погладив ее руку, добавил:

— Мне они представляются чем-то вроде гордых нищих, запоздало плачущих по ночам о далеком, милом, невозвратном отчем доме и грызущих в отчаянии пальцы…

Между тем грозные события не обошли и маленькую Гатчину.

11 октября 1919 года армия Юденича перешла в наступление на Нарвском направлении и приближалась к Петрограду.

Куприн сразу же почувствовал тревожное шевеление в городе.

На станцию прибыл эшелон полка, набранного в Вятке, и остановился за чертой посада, в деревянных бараках. Вместе с дочкой Куприн отправился поглазеть на неожиданных гостей.

Солдаты делились с голодными гатчинцами мукой и хлебом, балагурили, пиликала гармоника. «Все на подбор такие же долговязные и плотные, такие же веселые и светло-рыжие, и с белыми ресницами, как Шаляпин», подумалось Куприну.

Два дня слышалась отдаленная канонада, но затем затихла. 15 октября, встав по обыкновению часов около семи, на рассвете, Куприн потихоньку налаживал самовар. Домашние спали. Но едва разгорелась в самоваре лучина и Куприн уже готовился наставить коленчатую трубу, как над домом ахнул плотный пушечный выстрел, от которого задребезжали стекла в окнах.

— Да, это посерьезнее недавней канонады, — пробормотал он, подымая с полу выроненную трубу.

Куприн снова наладил самовар. Но только лишь занялись и покраснели угли, как грянул второй выстрел. Весь дом проснулся. Пальба продолжалась целый день до вечера, с промежутками от пяти до пятнадцати минут. Красная Армия обстреливала Балтийскую дорогу.

Белые молчали, потому что не хотели обнаружить себя. Их разведка выяснила, что путь на Гатчину заслонен слабо. Северо-западная армия Юденича выжидала сумерек.

Не зная, куда девать так нестерпимо тянувшееся время, Куприн решил, что именно теперь необходимо вырыть из грядок оставшуюся морковь. Корни разрослись и крепко сидели в земле. Он хватался пальцами за головку, тянул, но не было сил. Но как бахнет близкий пушечный выстрел и звякнут стекла, то поневоле, с кряком Куприн выдергивал из гряды крупную, толстую красную морковину. Десятилетняя Аксинья, длинноногая, сероглазая, зараженная общим сжатым волнением, с упоением помогала отцу, бегая с игрушечным ведром из огорода на чердак и обратно. Ее перехватывала Елизавета Морицовна и тащила в дом, где уже успели забаррикадировать окна тюфяками, коврами и подушками. Но девочка опять убегала к отцу.

И вот незаметно погустел воздух, потемнело небо. Усталые пушки замолкли. Наступила тревожная тишина. Куприны сидели в столовой и при свете стеаринового огарка рассматривали от нечего делать рисунки в словаре Брокгауза и Ефрона. Аксинья в волнении вскочила с дивана:

— Папа! Мама! Пожар!

Горел гатчинский совдеп, большое старое прекрасное здание с колоннами, над которым много лет раньше развевался штандарт и где жили из года в год потомственно командиры

синих кирасир. Куприн понял, что красные покинули Гатчину.

Поутру после тревожной ночи он вышел на тихую пустынную Елизаветинскую улицу и столкнулся с соседкой старухой.

— Шведы! Шведы в город пришли! — причитала она.

За углом два белобрысых крестьянских парня в плоских французских стальных тазах и американских кожаных куртках возились с пулеметом «гочкис». Так 16 октября в Гатчину вступил головной Талабский полк генерала Глазенапа.

По городу расклеивались воззвания, в которых жителям рекомендовалось без промедления сдать оружие коменданту в помещении полиции, а бывшим офицерам явиться туда же для регистрации. Самого Куприна привели в полицейское подземелье для дачи показаний.

За письменным столом неловко восседал веснушчатый молодой хорунжий с чубом, взбитым над левым ухом. По всему чувствовалось, что он более привык держать в руке шашку, чем ручку или карандаш. В углу стоял бледный комиссар по охране Гатчинского музея Илларион Павлович Кабин, хорошо знакомый Куприну.

Убедить хорунжего в том, что Кабин ни в чем не повинен и может быть освобожден, оказалось делом несложным.

— Кто написал донос? — поинтересовался Куприн.

— Анонимка! — махнул рукой хорунжий. — Представьте, с пяти утра стали заваливать анонимными письмами. — И простодушно добавил: — Кстати, и о вас кое-что имеется. Пишут о ваших связях с большевиками. Но его превосходительство будущий генерал-губернатор Петрограда Глазенап приказал эти бумаги передать лично ему и хода им не давать…

— Очень приятно! — ответил Куприн и сжал зубы до скрежета.

В коридоре Кабин кинулся к нему и обмочил слезами его щеку:

— Я не ошибся, сославшись на вас! Вы ангел! Ах, как бы хотел я в серьезную минуту отдать за вас жизнь…

На длинной Багавутской улице, обсаженной четырьмя рядами берез, к Куприну подошел, раскинув руки для объятия, местный почтовый чиновник:

— Поздравляю, поздравляю… А кстати. Ходили уже смотреть на повешенных?

Высвобождаясь, Куприн в недоумении сказал:

— Я о них ничего не слыхал.

— Если хотите, пойдемте вместе, — не скрывая радости от предстоящего удовольствия, продолжал чиновник. — Вот тут недалеко, на проспекте. Я уже два раза ходил, но с вами за

компанию посмотрю еще…

«Да, этот человек, кажется, слыл коллекционером. Собирал красное дерево и фарфор», — почему-то вспомнилось Куприну, и он тихо, но решительно ответил:

— Я не любитель подобных зрелищ.

На этом испытания не кончились. Навстречу Куприну двигались четверо местных учителей. Лица их сияли. Они стали крепко жать ему руку, а один из них, Очкин, хотел даже облобызаться, но Куприн вовремя закашлялся, прикрыв лицо рукой.

— Какой великий день! — говорили они. — Какой светлый праздник!

Один из них воскликнул: «Христос воскрес!» А другой даже пропел фальшиво первую строчку пасхального тропаря. «Как переигрывают, как неискренни!» — с отвращением сказал себе Куприн.

Очкин слегка отвел его в сторону и заговорил многозначительно, вполголоса:

— Вот теперь я вам скажу очень важную вещь. Ведь вы и не подозревали, а между тем в списке, составленном большевиками, ваше имя было одно из первых в числе кандидатов в заложники и для показательного расстрела.

Куприн выпучил глаза:

— И вы давно об этом знали?

— Да как сказать… Месяца два.

В возмущении Куприн задохнулся:

— Как? Два месяца? И вы мне не сказали ни слова?

Тот замялся, заежился.

— Но ведь согласитесь: не мог же я? Мне эту бумагу показали под строжайшим секретом.

Куприн крепко взял Очкина за обшлаг пальто:

— Так на кой черт вы мне это сообщаете только теперь? Для чего?

— Ах, — испуганно забормотал Очкин, — я думал, что вам это будет приятно…

«Подлость! Человеческая подлость! — размышлял Куприн, торопясь к дому. — Сколько низменного, зверского развязала эта война! Бедная Россия… И когда все кончится, образуется, утихнет поток страданий…»

В Приоратском парке толпились обыватели. Куприн подошел к ним и невольно попятился. На жухлой листве, у большого клена, сжавшись в комочек, лежал Яша Файнштейн, убитый выстрелом в упор. «Мировая революция! Вы офицер, буржуй!» — вспомнились ему нелепые вопли несчастного Яши. В последний

момент никто из казнивших не принял в расчет того, что Яша Файнштейн еще год назад сидел в психиатрической лечебнице у доктора Кащенко в Сиворцах…

Дома Куприна ожидал вызов в штаб юго-западной армии.

7

Елизавета Морицовна, вздыхая, отыскала старый мундир Куприна и нашила на рукав добровольческий угол. В четвертый раз он надел погоны поручика: до этого была ополченческая дружина, Земгор, авиационная школа. Выбор был сделан за него, и выбор бесповоротный. После встречи с генералами П. Н. Красновым и Глазенапом Куприн дал согласие редактировать газету северо-западной армии «Приневский край».

Белые силы выглядели внушительно. На гатчинском вокзале стояли пять привезенных на платформах танков — ромбические ржаво-серые сколопендры. Подтягивались отставшие полки, формировались новые соединения.

— Взятие Петрограда — вопрос нескольких дней, — убежденно объявил Куприну генерал Краснов.

Но за следующей после Гатчины станцией Балтийский вокзал дорогу белым преградил бронепоезд «Ленин».

— Он уже не раз встречался в наступлении, когда мы приближались к железнодорожным путям, — рассказывал в зеленом гатчинском домике Куприных офицер-доброволец. — И, надо сказать, на нем великолепная команда. Под Волосовом нам удалось взорвать виадук на его пути и в двух местах испортить рельсы. Но «Ленин» открыл сильнейший огонь — пулеметный, и артиллерийский — и спустил десантную команду. Конно-егерский полк обстреливал команду в упор, но она работала чертовски. Под огнем исправила путь, и «Ленин» ушел в Гатчину…

«Ленин»… Бронепоезд носил имя революционного вождя, на приеме у которого Куприн был менее года назад. Тогда он простодушно, мечтал о создании печатного органа, который бы объединил все здоровые общерусские силы. Наивность? Утопия? Бессмыслица?

Теперь на допотопном станке — «верблюде», как называл его Куприн, — с помощью двух наборщиков он печатал яростную антисоветскую газету, в которой твердилось о близкой победе Юденича. В каждом номере появлялись велеречивые сочинения

генерала Краснова, писавшего под псевдонимом Гр. Адъ (Град было имя его любимой лошади). «При, Невский край!..» — призывал генерал.

И белые перли, жали. Уже передовые части генерала Родзянки встали под Пулковом, уже был обстрелян у Московской заставы трамвай, уже сверкал, манил близким, золотым карбункулом купол твердыни православия — Исаакиевского собора. Но чем ближе к Петрограду подходили белые, тем яростнее становилось сопротивление. Город теперь назывался «Петроградский укрепленный район». Рабочие и Красная Армия ценой огромного напряжения остановили Юденича.

Полки таяли на глазах, терялся боевой дух, угасала вера. На солдат и офицеров огромное впечатление производила убежденность красных.

— Особенно отчаянно дрались петроградские курсанты, — сообщал Куприну капитан, знакомый еще по Гатчинской авиационной школе. — Они бросались на наши танки с голыми руками, вцеплялись в них, гибли десятками, но не отступали…

Война, которую белые вели против целого народа, была бессмысленной, обреченной. 21 октября, получив подкрепление из Москвы, 7-я и 15-я армии красных перешли в широкое контрнаступление, угрожая заключить в мешок белые части в районе Гатчины. Началась паника, неудержимый откат Юденича в сторону Ямбурга, а затем Нарвы.

Впечатлениями, горькими и страшными, Куприн был сыт по горло. Он видел зверства, кровь, мщение, подлость. Видел, как в пору голода гибли сироты в гатчинском доме призрения, отданные на произвол мужеподобной садистке; видел, как жирные пайки, посылавшиеся из Канады юго-западной армии шоколад, сливочное масло, какао, — текли мимо голодных солдатских и беженских ртов в воровские интендантские чрева; видел, как в ноябрьскую стужу примерзали к полу вагонов и умирали в муках раненые… Теперь неумолимая логика гнала его вместе с остатками разгромленного белого воинства прочь за пределы возлюбленной им России.

Куприн с трудом отыскал семью, затерявшуюся в потоке беженцев, в самом Ямбурге, где «мешочничала» голодная Елизавета Морицовна.

— Как же наши вещи? — спросила она мужа, увидев его с маленьким чемоданчиком.

— Бросил все на произвол судьбы, — ответил Куприн. — Даже двери на ключ не запер. Зачем? Все равно тот, кто захочет, взломает…

— Так-таки не взял с собой ничего?

— Томик Пушкина, фотографии Толстого и Чехова… Кое-что из белья… Даже рукописи не удалось захватить…

Сменяющими друг друга кадрами кинематографа стремительно промелькнули: короткое сотрудничество в «Приневском крае», Ямбург, Старая Нарва, Ревель…

Ворота в эмиграцию открылись Куприну через Хельсинки.

Отступление шестое КУПРИН И ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Октябрь оказался решающим фактором в обретении политической позиции русскими писателями, большинство которых (одни последовательно и целеустремленно, другие в сомнениях и мучительных колебаниях) приняли новую действительность. Остальные встретили революцию враждебно и ушли за кордон с остатками белого воинства.

К 1921 году за рубежом уже находилась большая группа русских писателей.

Разные причины толкнули их к эмиграции: одни ушли вследствие непримиримого конфликта с новым строем (Мережковский, Гиппиус, Д. В. Философов); для других, напротив, большую роль сыграл случай, стечение обстоятельств (как это было, например, с Северяниным, Куприным, Л. Андреевым, Скитальцем, Тэффи); некоторые были высланы Советским правительством по политическим мотивам.

В европейских столицах оседает значительное количество русских эмигрантов, организуются литературные центры, издательства, выходят газеты и журналы.

Большинство изданий было отмечено явной антисоветской направленностью, отличаясь друг от друга лишь в оттенках. «Можно считать число русских эмигрантов, которые рассеялись по всем заграничным странам, в полтора или в два миллиона, — говорил В. И. Ленин в речи на III конгрессе Коммунистического Интернационала в 1921 году. — Почти в каждой стране они выпускают ежедневные газеты, и все партии, помещичьи и мелкобуржуазные, не исключая и социалистов-революционеров и меньшевиков, имеют многочисленные связи с иностранными буржуазными элементами, т. е. получают достаточно денег, чтобы иметь свою печать; мы можем наблюдать за границей совместную работу всех без исключения наших прежних политических партий, и мы видим, как «свободная» русская печать за границей, начиная с социалистов-революционеров и меньшевиков и кончая реакционнейшими монархистами, защищает крупное землевладение»4.

Известную связь с новой Россией сохраняет в начале 20-х годов Берлин, где выходят просоветская газета «Новый мир» и сменовеховская «Накануне» и где ряд писателей существует на положении «полуэмигрантов». Через Берлин на родину возвратился в 1923 году А. Н. Толстой. К середине 20-х годов

центром русского зарубежья окончательно становится Париж, где сосредоточиваются наиболее значительные литературные силы.

В тенденциозном изображении эмигрантов — писателей, публицистов, критиков — Россия как некое духовное и культурное наследство сохранилась именно в эмиграции. Оказавшись за рубежом, русские писатели-эмигранты не могли не поддаться, особенно в первое десятилетие, губительной для их творчества политической тенденциозности, враждебным настроениям по отношению к молодому Советскому государству.

Однако влияние эмиграции оказалось более глубоким и опосредствованным: за рубежом русские писатели были обречены на духовное вырождение, на постепенное сужение проблематики и в своем большинстве болезненно ощутили отсутствие притока свежих, непосредственных впечатлений, оторванность от родины. «Прекрасный народ, — сказал Куприн о французах, — но не говорит по-русски, в лавочке и в пивной — всюду не по-нашему… А значит это вот что — поживешь, поживешь, да и писать перестанешь».

В этих условиях исключение составило творчество нескольких выдающихся прозаиков и поэтов, и прежде всего Бунина.

Воздействие эмиграции на Бунина также было велико, оно привнесло в его произведения чувство личной безысходности. Его рассказы 20-х годов пронизаны ощущением одиночества, полнейшей изоляции человека от ему подобных, — «Конец», «Огнь пожирающий», «Алексей Алексеевич», «Далекое» и др., что еще сильнее, чем прежде, сказалось на изображении любви-страсти, ведущей к гибели.

Подобно Бунину, автору «Жизни Арсеньева», большинство прозаиков-реалистов обращается в эмиграции к художественно-мемуарному жанру. А. Н. Толстой пишет в 1919-1920 годах в Париже «Детство Никиты», Куприн создает роман «Юнкера» и «Лето господне», Ремизов — «вспоминательные» книги «Постриженными глазами» и «В розовом блеске». Однако большинство этих примеров подтверждает и некое «высветление» прежней жизни вопреки критическим традициям собственного раннего творчества, и измельчение гуманистической и социальной проблематики.

Войдя в большую литературу как писатель остросоциальной темы, певцом старого Замоскворечья и русского благочестия становится Шмелев, эмигрантское творчество которого особенно неравноценно: рядом с поэтической повестью «История любовная» появляется двухтомное, растянутое и аляповатое произведение о религиозных исканиях «русской души» — «Пути небесные».

Горьким юмором неприютой жизни «у чужих» наполнены эмигрантские рассказы Тэффи (сборники «Зигзаг», «Ведьма», «О нежности», «Все о любви» и др.).

Не выдержали резкой перемены обстановки многие из прежних «разгребателей грязи», бичевавших пороки старой России:. Амфитеатров, Гусев-Оренбургский, Немирович-Данченко, Чириков, Юшкевич неуклонно деградировали и не создали за рубежом ничего значительного.

Судьба поэтов, оказавшихся в эмиграции, мало зависела от их прежней принадлежности к литературным направлениям. Если поэты-символисты Вяч. Иванов, Бальмонт, Гиппиус не написали чего-нибудь заметного и, слабея, постепенно угасали, то акмеист Г. Иванов, эгофутурист Игорь Северянин сумели в лучших произведениях передать чувство трагической отъединенности от Родины, драму обреченности жизни на чужбине, одиночество «европейской ночи». Глубоко лиричны и полны грустной иронии лучшие стихи зарубежной поры сатириконовца Саши Черного.

Среди русских поэтов «второго поколения» выделяются драматизмом рано погибший Б. Поплавский и поэтесса И. Кнерринг, в своей простой и чистой лирике воспевшая Россию и заявившая о необходимости вернуться на родину. В развитии русского стиха первой трети XX века особое место принадлежит Цветаевой, с ее чутким вниманием к слову и звуку. В ее стихах и поэмах ощутимо активное гуманистическое начало, поиски высокой любви. В ее поэзии, как и в публицистике, нарастают патриотические настроения.

Подводя итоги первого десятилетия эмигрантской литературы, советский критик Д. А. Горбов справедливо отмечал:

«Несмотря на наличие у многих эмигрантских писателей большого литературного мастерства, накопленного еще в дореволюционный период, — не за рубежом, а в России, — несмотря на отдельные выдающиеся произведения, созданные этими писателями в эмигрантский период, несмотря, наконец, на выдвижение некоторых новых литературных имен, — эмигрантская художественная литература в целом идет на убыль. Об этом говорит и переход отдельных крупных писателей зарубежья на сторону Советской России, и раскол наиболее непримиримых противников революции из символистского лагеря по вопросу об отношении к строительству, совершающемуся в СССР; об этом, наконец, как нельзя более ярко свидетельствует то кружение в абстракции, та роковая невозможность приблизиться к большим темам эпохи, которая накладывает отпечаток безжизненности на лучшие произведения эмигрантов»5. С этой давней (но неустаревшей) характеристикой

литературы русской эмиграции трудно не согласиться. Недаром в послесловии к книге Горбова М. Горький сказал: «И объективный тон и обоснованность суждений Д. А. Горбова лишает литераторов-эмигрантов возможности сказать, что несправедлива оценка, данная их трудам…»6. Собственно, в работах Д. А. Горбова и других советских критиков конца 20-х и начала 30-х годов уже доказан факт отсутствия эмигрантской литературы как цельного художественного явления. К концу 30-х годов ряд писателей, осознав трагичность своих заблуждений, возвратились на родину: в 1937 году приезжает Куприн, в 1939-м — Цветаева, заклеймившая варварство гитлеризма в цикле страстных стихов о Чехословакии.

Вторая мировая война, оккупация фашизмом Европы довершили угасание и без того призрачной «самостоятельной» общественно-политической жизни русской эмиграции. Прилив патриотических настроений вызвала гитлеровская агрессия против Советского Союза, за героической борьбой которого с надеждой следили Бунин, Бердяев, Ремизов. Многие русские эмигранты во Франции и других оккупированных странах вели мужественную антифашистскую деятельность. В концлагере Равенсбрюк была замучена фашистами монахиня Мария, в молодости поэтесса К. Ю. Кузьмина-Караваева. Среди первых участников французского Сопротивления, которым принадлежит самый термин «Resistance», были молодые ученые-этнографы, дети русских эмигрантов В. Вильде и А. Левицкий, казненные фашистами в 1942 году. Повинуясь голосу Родины, в ряды борцов с гитлеровцами вступали многие русские патриоты — княгиня В. Оболенская (казнена в Берлине в 1944 году), Ариадна Скрябина, дочь композитора (погибла в 1944 году), и др. В Париже в то время выходил подпольный орган «Русский патриот», преобразованный после освобождения Франции в «Советский патриот». В 1946 году многие русские эмигранты, в том числе писатели, приняли советское подданство (Ремизов, К. Грюнвальд) или возвратились на родину (Н. Рощин, А. Ладинский, Л. Любимов).

В советской литературе начиная с 20-х годов велась и ведется непримиримая борьба с белоэмигрантской идеологией. На страницах журналов «Печать и революция», «Красная новь», «Новый мир» и других со статьями и обзорами эмигрантской литературы выступали М. Горький («О белоэмигрантской литературе»), А. В. Луначарский, А. К. Воронский, Д. А. Горбов, В. П. Полонский, Н. П. Смирнов. Одновременно в начале 20-х годов центральный орган партии «Правда» неоднократно перепечатывал

зарубежные фельетоны эмигрантов (например, Тэффи), а в московских издательствах выходили новые произведения Бунина, Шмелева, Аверченко, Тэффи и других. Все лучшее из созданного русскими писателями в эмиграции постепенно становится достоянием советского читателя (соответствующие тома в собраниях сочинений Бунина и Куприна, избранные произведения Шмелева, Аверченко, Тэффи, Бальмонта, Цветаевой, Саши Черного).

Исчерпав себя вместе с уходом из жизни видных русских писателей, эмигрантская литература в настоящее время претерпела принципиальные изменения и питается в основном за счет отдельных отщепенцев, так называемых «диссидентов», которые не имеют прочных корней в русской культуре. Даже зарубежные исследователи, не принадлежащие к числу друзей советской литературы, признают: «Эмигрантская литература постепенно вымирает, а мертвая традиция вряд ли может оказать существеннее влияние на советскую литературу» (Хью Маклин).

В позднейшем творчестве Куприна отразились тенденции, общие для эмигрантской литературы.

Его общественные симпатии при всем их демократизме отличались неустойчивостью, расплывчатостью идеалов. К тому же Куприна-художника и Куприна-человека всегда отличала обостренная, необыкновенная впечатлительность, когда сиюминутное, рожденное злобой дня могло заслонить смысл и цель происходящего. А в час испытаний революции и гражданской войны он увидел вокруг себя вынужденную жестокость, обилие крови, страданий, драматических поворотов в судьбах людей. Увидел и отшатнулся. Творческий спад, вызванный эмиграцией, продолжался до середины 20-х годов. В первое время после революции появлялись (наряду с переизданиями старых произведений) лишь статьи Куприна, чернящие советскую выставку в Париже, Г. Уэллса за его правдивую книгу об СССР и т. п.

Но по мере угасания в Куприне пыла тенденциозного, пристрастного публициста в нем снова просыпался художник. Приблизительно с 1927 года, когда выходит сборник Куприна «Новые повести и рассказы», можно говорить о последней полосе его относительно напряженного художественного творчества. Вслед за этим сборником появляются книги «Купол св. Исаакия Далматского» и «Жанета». С 1928 года Куприн печатает главы из романа «Юнкера», вышедшего отдельным изданием в 1933 году.

Куприн всегда любил Россию горячо и нежно. Но только в разлуке с ней смог найти слова признания и любви. Теперь, ничем не сдерживаемые, они вылились чисто и светло в

непрестанной тоске и тяге «домой». «Есть, конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение — они и там будут писать роман за романом, — сказал он. — А мне все надо родное, всякое — хорошее, плохое — только родное». В этом, быть может, проявилась особенность художественного склада Куприна. Он накрепко, больше, нежели И. А. Бунин или И. С. Шмелев, был привязан к малым и великим сторонам русского быта, многонационального уклада великой страны.

Но теперь быт исчез. Исчезли рабочие, подневольные страшного Молоха, исчезли великолепные в труде и в разгуле крымские рыбаки, философствующие армейские поручики и замордованные рядовые. Новых людей, новой России Куприн не видит. Перед его глазами не привычный пейзаж оснеженной Москвы, не панорама дикого Полесья, а чистенький «Буа-булонский лес» или такая нарядная и такая чужая природа французского Средиземноморья… Он делает очерковые зарисовки о Париже, Югославии, юге Франции, но само «вещество» поэзии способен найти по-прежнему во впечатлениях от родной русской действительности.

Напрасно художник старается по памяти восстановить знакомый уклад и силой воображения «вдвинуть» его в чужой мир. Быт уходит, как песок сквозь пальцы. Он дробится на мелкие крупинки, на капли. Недаром цикл своих миниатюр в прозе, вошедших в сборник «Елань», писатель так и называет «рассказы в каплях».

Он помнит множество драгоценных мелочей, связанных с Родиной, помнит что «еланью» зовется «загиб в густом сосновом лесу, где свежо, зелено, весело, где ландыши, грибы, певчие птицы и белки»; что «вереей» куртинские мужики называют холм, торчащий над болотом; он помнит, как с кротким звуком «пак!» (словно «дитя в задумчивости разомкнуло уста») лопается весенней ночью набрякшая почка и как вкусен кусок черного хлеба, посыпанный крупной солью. Но эти детали подчас остаются мозаикой — каждая сама по себе, каждая отдельно.

Прежние купринские мотивы вновь звучат в его прозе. Новеллы «Ольга Сур»(1929), «Дурной каламбур» (1929), «Блондель» (193-3) как бы завершают линию прославления простых и благородных людей — борцов, клоунов, дрессировщиков, акробатов. Вослед знаменитым «Листригонам» он пишет в эмиграции рассказ «Светлана» (1934), вновь воскрешающий колоритную фигуру балаклавского рыбачьего атамана Коли Костанди. И природа в тихой красоте ее весенних ночей и вечеров, в разнообразия. повадок ее населения — зверя, птицы, вплоть до самых малых детей леса — по-прежнему вызывает в

Куприне восхищение и жадный художнический азарт.

Прославлению великого «дара любви», чистого, бескорыстного чувства (что было лейтмотивом множества прежних произведений писателя), посвящена повесть «Колесо времени». Герой ее, русский инженер Мишика (как его называет прекрасная француженка Мария), — это все тот же «проходной» персонаж творчества Куприна, добрый, вспыльчивый, слабый. Он поздний родной брат инженера Боброва, прапорщика Лапшина, подпоручика Ромашова. Но он и грубее их, «приземленное»: его жгучее, казалось бы, необыкновенное чувство лишено той одухотворенности и целомудрия, какими освятили свое отношение к любимой знакомые нам герои. Это более заурядная, плотская страсть, которая, быстро исчерпав себя, начинает тяготить героя, неспособного к длительному чувству. Недаром сам Мишика говорит о себе: «Опустела душа, и остался один телесный чехол».

Куприн — великолепный рассказчик по естественности, и гибкости интонации. Он охотно обращается к историческим анекдотам и преданиям, берет готовую канву, расцвечивая ее россыпями своего богатого языка. Так рождаются новеллы «Тень Наполеона». Однако Куприн постоянно чувствует себя заключенным в некий магический круг мелкотемья. И, подобно другим писателям русского зарубежья, он посвящает своей юности самую крупную и значительную эмигрантскую вещь — роман «Юнкера».

Это лирическая исповедь, в которой писатель передоверяет свои воспоминания, тронутые эмигрантской тоской, наивному юнкеру. Время сгладило мрачные воспоминания, и, переходя от повести «На переломе» («Кадеты») к «Юнкерам», попадаешь в совершенно другой мир, полный цвета и поэзии, где царствует жизнерадостный в своей ограниченности Александров.

Однако «Юнкера» не просто «домашняя» история Александровского училища на Знаменке, рассказанная одним из ее питомцев: это повесть о старой «удельной» Москве — Москве «сорока сороков», Иверской часовни и Екатеринского института благородных девиц, что на Царицынской площади, вся сотканная из летучих воспоминаний. Несмотря на обилие света, празднеств — «яростной тризны по уходящей зиме», великолепия бала в Екатерининском институте, — нарядного быта юнкеров-александровцев, это печальная книга. Вновь и вновь с «неописуемой, сладкой, горьковатой и нежной грустью» писатель мысленно возвращается к своей Родине.

«Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры, — писал Куприн в

очерке «Родина». — Но все точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России». Этим чувством безудержной хронической ностальгии пронизано последнее крупное произведение Куприна — повесть «Жанета».

Не задевая, «точно развертывается фильма кинематографа», проходит мимо старого профессора Симонова, когда-то знаменитого в России, а ныне ютящегося в бедной мансарде, жизнь яркого и шумного Парижа. Смешной и нелепый старик одиноко и бесцельно влачит в чужой стране остаток дней и, чтобы заполнить их пустоту, привязывается к маленькой полунищей девочке Жанете. В старике Симонове есть нечто от самого Куприна, который, оставшись вне Родины, словно оставил там свои силы: больной, забытый, слабеющий, он жил уже в великой бедности и заброшенности. Один из его друзей, писатель Н. Рощин вспоминал: «Знаменитый русский писатель жил в великой бедности, питаясь подачками от тщеславных «меценатов», жалкими грошами, которые платили хапуги-издатели за его бесценные художественные перлы, да не очень прикрытым нищенством в форме ежегодных «благотворительных» вечеров в его пользу».

Литературное наследие позднего Куприна гораздо слабее его дооктябрьского творчества. Это признавали даже враждебные голоса из лагеря эмиграции. «Как бы ни оценило потомство Куприна, — замечает Г. Струве, — его будут судить главным образом по его дореволюционным произведениям». Однако лучшие произведения писателя, созданные на чужбине, бесспорно, сохраняют свою немалую эстетическую и познавательную ценность. Характерно, что его художественное творчество почти не замутнено тенденциозностью, обычной для белой публицистики. Как художник Куприн и в эмиграции остался реалистом, пусть сильно ограниченным шорами «того берега», но верным жизненной правде.

В эмиграции Куприну суждено было прожить долгих и горьких семнадцать с лишним лет.

Глава седьмая «МНЕ НУЖНО ВСЕ РОДНОЕ…»

1

Оказавшись за рубежом, десятки и даже сотни тысяч русских эмигрантов перемещались из страны в страну, нигде не находя себе приюта — ни на Балканах, ни в Восточной Азии, ни в Центральной Европе.

Мы — осенние листья, нас бурей сорвало.
Нас все гонят и гонят ветром табуны.
Кто же нас успокоит, бесконечно усталых,
Кто укажет нам путь в это царство Весны,

— выпевал свою и общую тоску по России, кочуя по градам и весям мира, Александр Вертинский.

К середине 20-х годов, пожалуй, все самое выдающееся и предприимчивое из русской эмиграции осело во Франции. Около 150 тысяч бывших граждан Российской империи нашли в ней свое убежище, и значительное число их сосредоточилось в Париже и его окрестностях.

Внутри столицы Франции образовался русский городок. Его жители могли почти не соприкасаться с французами. По воскресеньям и праздникам они ходили в русские церкви — в центральный собор святого Александра Невского, в Сергиевское подворье на улице Кримэ, в маленькие храмы, устроенные подчас в сараях и гаражах. По утрам они читали русские газеты — «Возрождение», редактируемое П. Б. Струве, или «Последние новости» П. Н. Милюкова; они покупали провизию в русских лавчонках и там узнавали интересовавшие их новости; закусывали в русских ресторанах или дешевых столовых; посылали детей в русские школы; по вечерам они могли посещать русские концерты, слушать лекции или доклады, участвовать в собраниях всевозможных обществ и объединений. Когда они умирали, их хоронили на русском кладбище Сент Женевьев де Буа, под Парижем…

Тогда был популярен анекдот: встречаются два старых приятеля; первый спрашивает: «Ну, как тебе живется в Париже?»

— «Да ничего, — отвечает второй, — жить можно, город неплохой. Одна беда: слишком много французов…»

Однако выдумал этот анекдот, очевидно, один из немногочисленных эмигрантов со средствами или, в лучшем случае, некий бодрячок, пытавшийся с помощью острого словца уйти от реальности.

А реальностью была самая натуральная бедность.

Эмигрантами называли себя и капиталистические акулы, вроде нефтяного магната Гукасова, на чьи деньги выходила промонархическая газета «Возрождение», и не нашедшие верного выхода трудяги (несколько десятков тысяч рядовых казаков рассеялось по Европе от Белграда до Парижа). Абсолютное большинство эмигрантов стало в полном смысле слова пролетариями, могущими предложить буржуазному рынку только свои рабочие руки. К тому же в документе у них значилась дискриминационная пометка: «in patriede» — «без гражданства». Они сели за руль такси, встали к станкам заводов и фабрик. Те, кто знал французский язык, получили работу в конторах. Женщины сделались портнихами, раскрашивали шарфы, делали игрушки или существовали на случайные заработки. Но когда поджимала безработица, первыми, кого увольняли, были русские.

Политикой занималось привилегированное меньшинство (от крайних монархистов, издававших в Германии свой орган «Двуглавый орел», и до социал-революционеров), несмотря на раздиравшие их распри, единое в своем отрицании нового строя в России. Простые эмигранты предпочитали профессиональные общества, которых в Париже было около трехсот. Все эти общества устраивали заседания, обеды, «чашки чая», служили молебны и панихиды. Приходя на эти собрания, шоферы такси или рабочие завода «Рено» снова становились полковниками или мичманами флота, портнихи — институтками, скромные служащие — сенаторами или прокурорами.

Это они, сто пятьдесят тысяч русских французов, остались теперь читателями Куприна.

2

При содействии Бунина Куприны поселились в парижском квартале Пасси, почему-то облюбованном русскими эмигрантами, которые говорили: «Живем на Пассях». На улице, носящей имя опереточного композитора Жака Оффенбаха, в одном доме и на

одном этаже с Буниным была снята четырехкомнатная меблированная квартира. Одиннадцатилетнюю Ксению отдали в интернат монастыря «Дамы Провидения», женское католическое учебное заведение с собственной церковью и монастырскими правилами. Девочка жестоко страдала, видя родителей только в субботу и воскресенье: чужой язык и быт, умиленная глупость монашек, едва не средневековые нравы и суровая католическая обрядность…

Но еще более страдал, мучился сам Куприн.

Очень похудевший от пережитого — разрыва с Родиной, скитаний, бессонных ночей, он уже не походил на татарского хана времен зенита своей литературной славы и к пятидесяти годам выглядел типичным русским интеллигентом. Он чувствовал себя очень постаревшим. Правда, в его густых, коротко остриженных, причесанных на боковой пробор волосах появилось мало седины, а зубы, хотя и потемневшие от курения, были по-прежнему необычайно крепкими, без единого изъяна, чем он немало гордился. Татарскими остались лишь глаза — чуть прищуренные, с нависшими веками.

Двери купринской квартиры «на Пассях» всегда были распахнуты настежь: как и в Петербурге или в Гатчине, бесконечные гости осаждали писателя. Тут были литераторы и журналисты, театральная богема, цирковые артисты, бывшие офицеры и просто любопытствующие поглазеть на Куприна. Вся эта разношерстная, часто голодная эмигрантская братия мешала работе, досаждала набившими оскомину спорами о политике и форменным образом разоряла Куприных. Елизавета Морицовна, которая и раньше никогда не заботилась и не думала о себе, почти разучилась улыбаться.

Живший напротив, через площадку, Бунин молчаливо и вслух осуждал Куприна.

За рубежом он тоже очень переменился внешне, и внутренне. С возрастом стал красивее и как бы породистее. Ему шла седина, и то, что он сбрил усы и бороду. Появилось в его облике что-то величавое, римски-сенаторское, усилившееся с течением дальнейших лет. Он изысканно одевался и заказал себе визитные карточки с дворянским «дё». У него завязались довольно широкие знакомства с иностранцами, с французскими, немецкими, чешскими издателями и переводчиками; он наносил визиты, поставил себя в эмиграции в какое-то особое положение. Бунин хорошо знал себе цену и даже несколько преувеличивал ее. За свое сотрудничество в русских газетах получал самые большие гонорары.

— С Буниными, что ни день, труднее, — ворчал Куприн за

завтраком, оттягивая, отодвигая постылый час труда. — Я уже не могу слышать, как Вера с вечной таинственной улыбкой Моны Лизы спешит сообщить на лестнице, точно величайшую новость: «Сегодня Ян плохо спал» или: «Сегодня Ян скверно настроен».

— Кстати, Саша, — осторожно сказала Елизавета Морицовна, — Вера Николаевна только что сделала мне замечание за то, что у нас вчера опять сильно шумели… Когда гости расходились после полуночи…

Острые татарские глаза Куприна зазеленели в гневе.

— Еще бы! Это все Ванечкины штучки! Он прямо-таки изнемогает от благородства своего пятисотлетнего дворянского прошлого, и жить на одной площадке с таким, как я, плебеем ему мука.

Как меняются люди! Словно не пять, не десять, а тысячу лет назад наперекор мелким ссорам, сухим и коротким вспышкам размолвок текла их неровная, но светлая дружба. Словно бы и не Бунин писал ему, Куприну, идущие от сердца, пылкие и даже неожиданные при его сдержанной натуре слова признания: «Дорогой, милый друг, крепко целую тебя за письмо! Я тебя любил, люблю и буду любить — даже если бы тысяча черных кошек пронеслась между нами. Ты неразделим со своим талантом, а талант твой доставил мне много радостей»; «Дорогой и милый Ричард… радуюсь (и, ей-богу, не из честолюбия!) тому, что судьба связала мое имя с твоим. Поздравляю и целую от всей души! Будь здоров, расти велик — и загребай как можно больше денег, чтобы я мог поскорее войти в дом друга моего, полный, как чаша на пиру Соломона… Пожалуйста, напиши мне, — напиши, как живешь, творишь, продолжаешь ли «Яму»… (в Москве только и толков, что о «Яме»)…»

Да, но тогда, в России, иным был и сам Куприн. За ним гонялись на лихачах издатели, предлагали бешеные гонорары только за одно обещание, за одно слово, что он будет их автором. А теперь… Теперь французы не очень-то торопятся признавать Куприна. Правда, милый Анри Манго, бывший представитель парфюмерной фабрики в России, взялся переводить «Поединок» и готовится затем к переводу «Ямы», той самой нашумевшей «Ямы», которую для привлечения французских читателей он предлагает назвать «Ямой с девками»… Но как воспримет странную для чужих русскую жизнь французский читатель? Ведь «Поединок» уже выходил во Франции в 1905 году под заглавием «Маленький русский гарнизон» и не имел тогда никакого успеха у публики…

Вечером, желая загладить утренний разговор с Елизаветой Морицовной, деликатная Вера Николаевна пригласила Куприных на чай с бисквитами.

В большой темноватой столовой с бронзовой, низко висящей лампой течет разговор, такой же жидкий, как и чай. И Куприн и Бунин осторожно выбирают слова, не желая возможной пикировки, которая может перейти в ссору.

— Хорошая страна Франция, — скороговоркой бросает Куприн, отхлебывая чай с блюдечка, вприкуску. — Но не звучит русская речь. В лавочке и в пивной — всюду не по-нашему. А означает это вот что: пишешь ты, пишешь, да и писать перестанешь!

— Да, Саша, это грозит всем нам, — со своим южным «г» откликается Бунин. — И даже раньше, чем ты предполагаешь. Мне тут один молодой поэт заявил на днях, что у него недоразумение с приятелем произошло «на почве»… На почве! Бог знает как они все уже говорят по-русски! На почве растет трава, цветы. Почва бывает сухая или сырая. А у них на почве происходят недоразумения!

— Все оттого, что оторвались от России, — подхватывает Куприн.

Елизавета Морицовна светлеет: как дружески, на равных течет разговор. Словно в давние времена.

— Уже появились молодые, которые собираются писать по-французски, — желчно говорит Бунин. — Я одного распек: «Послушайте старика, бросьте эти затеи. Пишите на том языке, с которым родились и выросли!»

— Двух языков одинаково человек знать не может, — соглашается Куприн.

— Да-да! Знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок… Что, может ли он, например, подмигнуть читателю по-французски?

Бунин помолчал, перевел взгляд на темнеющий вечер за окном, где уже зажглись, мертвенным светом горели фонари, где с далеким ревом и грохотом двигались автомобили, и добавил:

— Ах! Живешь воспоминаниями, они и питают творчество. Какая-то там муть за Арбатом, вечереет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши…

Москва! Как боготворит воспоминания о ней Куприн *теперь*, здесь! Арбат, Поварская, Знаменская площадь, Садово-Кудринская и Вдовий дом… Бог ты мой! Александровское юнкерское училище на Знаменке, село Всехсвятское, где он в незабвенные, сказочно далекие времена проводил топографические съемки, Екатерининский институт благородных девиц и первый бал юнкера Куприна, всенощная и стояние в церкви на Пасху…

— Как мало мы ценили все это, как порой безобразно ругали в наших книгах, — с мрачной убежденностью сказал Куприн. —

Чернили Россию за ее азиатщину и религиозность. Россию, в которой столько милосердного и светлого!

Очевидно, Бунин не мог долго соглашаться ни с чем уже по свойствам своей натуры.

— Не знаю, — возразил он. — В русском человеке в самом деле слишком много Азии, китайщины. Все в нас мрачно. И говорить о нашей светлой религии — ложь. Ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомни эти черные образа, страшные руки, ноги… А стояние по восемь часов, а ночные службы… Нет уж, какая тут милосердность! Самая лютая Азия…

— Не согласен, Иван, — тяжелым взглядом из-под нависших век отвечает Куприн. — По-моему, ты тут, в Европах, заразился французским эгоизмом!

Бунин уже гневно вскидывает свою красивую остроугольную голову, но Вера Николаевна гасит назревающую ссору.

— Ян! Тебе вредно нервничать, — твердо говорит она. — Не забудь, что завтра тебя ждет срочная работа.

— Да-да, работа, — соглашается Бунин и сразу становится иным — собранным, строгим, уходит в себя. — Нам надо беречь друг друга для работы, для общего дела, — голос его теплеет. — Ты знаешь, Саша, я пригласил из Москвы Шмелева на отдых, на работу литературную… Он в очень тяжелом психическом состоянии… Надо его спасать…

— А разве можно выехать из Советской России? — искренне изумляется Куприн, напичканный слухами об ужасах, творящихся на оставленной Родине.

— Точно так же, как уехать туда, — ледяным тоном отрезает непримиримый Бунин. — Ведь собирается сделать это Алешка Толстой…

Вернувшись к себе, Куприн почувствовал, как боль, лишь отдаленно подсасывающая, теперь толчками начала подкатывать к сердцу. В горле стоял нерастворимый комок, слезы застилали глаза. Всю ночь он пролежал с открытыми глазами. Почасту вставал, шел к столу, зажигал лампу и, не слыша жизни неугомонной и чужой парижской улицы, писал — писал для себя, торопливо, безостановочно, стремясь выплеснуть эту боль наружу.

«Странными становятся вещи, явления и слова, если в них начнешь вникать глубоко и всматриваться настойчиво. Всегда показываются новые грани и оттенки.

Вот понятие — Родина. Каким оно может быть зверино-узеньким и до какой безмерной, всепоглощающей, самоотверженной широты может оно вырасти.

Я знал любовь к ней в самой примитивной форме — в образе

ностальгии, болезни, от которой умирают дикари и чахнут обезьяны. С трехлетнего возраста до двадцатилетнего я — москвич. Летом каждый год наша семья уезжала на дачу: в Петровский парк, в Химки, в Богородское, в Петровско-Разумовское, в Раменское, в Сокольники. И, живя в зелени, я так страстно тосковал по камням Москвы, что настоятельнейшею потребностью, — потребностью, которую безмолвно и чутко понимала моя покойная мать, — было для меня хоть раз в неделю побывать в городе, потолкаться по его жарким, пыльным улицам, понюхать его известку, горячий асфальт и малярную краску, послушать его железный и каменный грохот.

Однажды — мы тогда жили в Химках, двадцать первая верста по Николаевской железной дороге — случилось так, что в доме деньги были в обрез. Я пошел в Москву пешком, переночевал у знакомого причетника и пешком вернулся назад, совсем голодный, но с душою, насыщенной, отдохнувшей и удовлетворенной.

Но особенно жестокие размеры приняла эта яростная «тоска по месту» тогда, когда судьба швырнула меня, новоиспеченного подпоручика, в самую глушь юго-западного края. Как нестерпимо были тяжелы первые дни и педели! Чужие люди, чужие нравы и обычаи, суровый, бедный, скучный быт черноземного захолустья… А главное — и это всего острее чувствовалось — дикий, ломаный язык, возмутительная смесь языков русского, малорусского, польского и молдаванского.

Днем еще кое-как терпелось: застилалась жгучая тоска службой, необходимыми визитами, обедом и ужином в собрании. Но были мучительны ночи. Всегда снилось одно и то же: Москва, церковь Покрова на Пресне, Кудринская Садовая, Никитские Малая и Большая, Новинский бульвар…

И всегда во сне было чувство, что этого больше я никогда не увижу: конец, разлука, почти смерть. Просыпаюсь от своих рыданий. Подушка — хоть выжми… Но крепился. Никому об этой слабости не рассказывал.

Да и как было рассказывать? По долгу службы мне нередко приходилось производить дознания о случаях побега молодых солдат со службы. Вряд ли кто-нибудь из моих сослуживцев чувствовал так глубоко всю невинность их преступления против присяги. Разве и меня потянуло, хоть на минуточку, удрать в Москву, поглядеть ее, понюхать? Но я уже был во власти дисциплины. И я был начальник.

Однако эти жестокие чувства прошли. Что не проходит со временем? Потом я изъездил, обошел, обмерил почти всю среднюю Россию. Улеглось «чувство к месту».

А еще потом я побывал за границей. Оказалось, что моя ностальгия только расширилась. Была всегда нерушимая, крепкая душевная основа: «А все-таки там — дом. Захочу и поеду». Но наступил переломный момент. Большая Медведица. Вечером увидишь ее, проведешь от двух крайних правых звезд линию вверх, упрешься почти в Полярную звезду. Север. И потянет, потянет в Россию, не в Москву, а в Россию!

Запихана кое-как в чемодан всякая хурда-мурда, третий класс и… езда.

А теперь болезнь потеряла остроту и стала хронической. Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры… Но все точное понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России…»

3

Весной 1923 года Куприн встретил у Буниных Шмелева.

Небольшого роста, тонкий, худощавый, Шмелев выглядел гораздо старше своих пятидесяти лет. Глубокие складки-впадины избороздили его лицо, на котором жили, кажется, одни большие серые глаза. «Лицо мученика-старовера…» — сказал себе Куприн. Он уже знал, что Шмелев пережил страшные голодные месяцы в Крыму и, как муку, как пожизненный крест, носил в душе свое горе: в Крыму в 1920 году трагически погиб его единственный и любимый неистовой, можно сказать, материнской любовью сын Сергей.

Ранее, в 1910-е годы, Шмелев никогда не был близок Куприну. Признавая неоспоримые достоинства его повестей и рассказов — «Гражданин Уклейкин», «Человек из ресторана», «Неупиваемая чаша», — Куприн не ощущал внутренней близости Шмелева-художника. Но теперь, во время короткого общения, он остро почувствовал ту душевную приязнь, которая неожиданно, в короткий миг сближает людей.

— Вот вы и в Париже… — с необычной ласковостью в голосе говорит Шмелеву Бунин. — Оглядитесь, побольше гуляйте… Рядом Булонский лес… В кинематограф сходите с супругой… У Сены посидите…

Шмелев поглядел на него налитыми слезами глазами.

— Париж… — медленно сказал он. — Булонский лес, где совершаются прогулки, предобеденные, в экипажах… У Мопассана было… А там, в Крыму, отнимали соль, мой сосед, Безрукий, из соседней балки, съел свою рыженькую собачку…

— Полно, Иван Сергеевич, — не выдержал Куприн. — Пожалейте и себя и нас!

— Нет никакого Парижа! — почти кричал Шмелев. — Пропал Париж, вот и все! Кинематограф, вы говорите? Смотрите наши ленты! Наших лент на сотни городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных — в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах. Смотри, Европа! Все было, да на чертовой мельнице в пыль пошло!

— Поедемте-ка с нами в Грасс! — загорелся идеей Бунин. — Там природа сама располагает к работе… Это тот же Крым, только субтропический…

Неосторожное упоминание о Крыме судорогой отзывается на потемневшем от горя лице Шмелева, на глазах слезы уже готовы вот-вот брызнуть. Он низко опускает иссеченное морщинами лицо.

— Какая уж теперь работа… После смерти Сереженьки ни о чем другом и думать не могу…

— Ваня! — с мольбой перебивает его жена. — Ты же обещал мне…

— Ну будет, будет. — Шмелев постарался изобразить на лице улыбку. — Вытащили вы меня, Иван Алексеевич, в этот Париж содомский, авось в Грассе хуже не будет.

— А мы вас будем ожидать да добрым словом поминать, — с детской улыбкой взял его за руку Куприн.

— Елизавета Маврикиевна! — Почвенник-старовер Шмелев не признавал иноземных имен и не желал называть жену Куприна Морицовной. — Елизавета Маврикиевна, ловлю Александра Ивановича на слове… Вы уж, будьте ласковы, прикажите, чтобы он не поленился и огрызнулся письмецом…

В июне 1923 года Шмелевы выехали с Буниными в Прованс.

3

Грасс, свет, солнце, море… Высоко на горе скромный особняк, небольшой, типично провансальский, двухэтажный, из желтого в трещинах камня. Поразительный вид на курорт Канн, море и горы Эстерель.

После завтрака Бунин заявляет непреклонным тоном:

— Едем в Канн купаться!

Он в белой рубашке с короткими рукавами, в белых туфлях на босу ногу, стройный, быстрый.

Шмелев беспомощно смотрит на свою Олю. Скорбное лицо его, изборожденное глубокими складками, на мгновение светлеет, но тотчас в больших серых глазах гаснет огонек оживления. Он, морщась, трет правый глаз, запухший от тугого болезненного пупырышка, вскочившего на краю века, и просительно говорит:

— Вы уж нас увольте, за ради бога, Иван Алексеевич… Да и ячмень меня замучил… Спасу нет.

Но тут вступается Вера Николаевна, которая поставила себе целью хоть как-то расшевелить, растормошить, отвлечь Шмелева от навязчивых мыслей о сыне, и тот нехотя сдается.

— А против ячменя есть верное лекарство, мы его испробуем, — торжествует Бунин, удовлетворенный, что настоял на своем.

Он надевает соломенное канотье и, подавая пример, первым сбегает вниз, к небольшой грасской площадке, откуда на Канн идут автобусы. За ним никто не поспевает, хоть он и всех старше.

В пустом автобусе усаживается как начальство, это выходит без малейших усилий, само собой, всех торопит. Вертится, спешит, словно мальчишка, в маленьком автобусе:

— Ну, едем или не едем? Что там стряслось?

Автобус наконец со скрежетом трогается, пылит по приграсской долине. В раскрытые окна врывается запах лаванды, тмина, цветов, из которых приготавливают местные духи.

Пляж в Канне. Бунин, тонкий, изящный, с почти юношеским телом, сидит рядом со Шмелевым, у самой воды. Женщины поодаль рассуждают о чем-то своем. Набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у самых бунинских ног, маленьких и тоже изящных. Шмелев стыдится своего тела, худого уже по-старчески, прикрывает грудь и живот махровым полотенцем.

— Как там наш Александр Иванович, — говорит он, — Вспоминает ли о нас…

— Полагаю, вспоминает, — не без яда откликается Бунин. — Опрокидывает по обыкновению рюмку за наше с вами здоровье. Как писатель, увы, он кончается, кончится вот-вот, вы увидите.

— Господь с вами, Иван Алексеевич! — даже подымается с песка Шмелев. — И как вы можете сказать этакое о нашем русском богатыре! Это же художник с чертами гениальности!

— Если говорить честно, — уже раздражаясь, ледяным тоном отрезает Бунин, — настоящего художника в нем всегда теснил беллетрист. Ему мешал желтый талант. Сколько в его сочинениях

красивости, сентиментальности, ловко придуманного на потребу… Нет, великая русская литература кончилась на Чехове. Да и тот не удержался, унизил себя пьесами!

— История все расставит по своим местам, — примиряюще говорит Шмелев, снова усаживаясь рядом с Буниным.

Но тот уже кипит.

— История? Какое мне дело до того, что будет потом, после моей смерти! Смерть! Уничтожение всего! Вот она, рука. Видите? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, друг мой, сгниет… И ничего не поделаешь! Не могу принять, что прахом стану, не вмещаю!

Он хватает камешек, запускает в море, галька ловко скользит по поверхности, но пущена протестующе. Ответ кому-то.

«Только о себе…» — скорбно думает Шмелев и дрожащим, жалким голосом говорит:

— Вот мы тут на солнышке греемся, а в Алуште… я и на море смотреть не мог… — Он отворачивается и, сделав над собой усилие, искусственно веселым тоном восклицает: — Солнышко здесь, конечно, что надо! Эх, заведу-ка я в Грассе ферму, найму работника из казачков-кубанцев да начну для рынка русские огурцы выращивать. Весь Прованс завалю! Вот будет закуска к мару: малосольные русские огурчики…

— Мар я уважаю, — тоже примиряюще отвечает Бунин, — отличный самогон! Хороший мар всегда сапогами пахнет…

Он наклоняется к Шмелеву и внезапно коротким, быстрым толчком языка через сжатые зубы попадает слюной в больной шмелевский глаз. Шмелев зажмуривается; от неожиданности он в шоке, почти в обмороке. А Бунин успокаивающе объясняет:

— Вот это и есть самое верное средство. Меня так отец исцелял. Теперь вашему ячменю каюк!..

В Грассе их ожидают Мережковские — супружеская пара, «Мережки», как прозывались они в бунинском доме. Эмиграция уже вынужденно, бытом сближала прежде враждебные фигуры, но примирить их не могла. Отношения у Бунина с Мережковскими оставались (до разрыва с ними во время второй мировой войны) поверхностно-дружескими, с чем-то ироническим, недоверчивым с обеих сторон.

— Мережковский — книжник, кабинетное существо, а Гиппиус — выдумщица, — ворчал Бунин, узнав об их приезде. — Она ведь хочет того, чего нет на свете.

Он остановился, полузакрыв глаза и отведя в сторону руку, будто отстраняя что-то, в подражание гиппиусовской манере чтения.

«Какой актер пропал в Бунине!» — восхитился Шмелев, сразу подпавший под обаяние его таланта имитации.

Мережковский, сухонький, слегка сгорбленный, с большой бородой, ругал за обедом, как всегда, большевиков. Гиппиус, наведя на Бунина лорнетку, спросила, над чем он сейчас работает. Шмелева они, кажется, не замечали вовсе.

— Да ведь вам это, дорогая, неинтересно, — со своей обычной прямотой ответил Бунин. — Вы ведь считаете, что я не писатель, а описатель. Я, дорогая, вам этого до самой смерти не забуду!

После обеда все пошли на террасу пить чай. Шмелев, чувствуя себя совсем лишним, поднялся в мансарду. Регулярно писал он в Париж Куприну, отводя душу, заочно беседовал с дорогим ему и близким человеком.

5

Шмелев — Куприну.

«Здравствуйте, дорогой Александр Иванович! Глаз меня подкузьмил, другую неделю, как клоп, налился кровью, и я с трудом пишу на машинке, а пером или почитать не могу. Да, давно пора ехать в Париж за песнями… Но уж назвался груздем — живи в Провансе! Надо уж поглядеть, какие здесь виноградy, да и житьишко тут недорогое — ни метры этой самой, ни авты нет, — брожу — ползаю по саду, орешки собираю кедровые — самое невинное занятие. Посадил шестерку русских огурцов, жду, когда цвести станут. Кролика Ваську мне подарили — дрессирую на воле — случится — буду показывать: спички будет зажигать, огурцы есть выучу: лупить только надо!..

Были жары африканские. Сейчас — дождь, кап-кап, осенний, для груздя хорош. Ежели бы сейчас пирожка с груздем да хоть… марчиком! Мар пью, но зверский и керосином воняет. Вообще веду самый нравственный образ жизни. Писать неохота, но… надо. А теперь, с глазом, ни писать, ни читать. Стосковался по углу на Шевер, по Вас, дорогой. Да здравствует Ал(ександр) Ив(анович)! Слыхал, что «Яма» идет — мчит! Да здравствует Куприн! Конечно, тут ничего удивительного нет. Вы, слава тебе, Господи, не то видели, но радует душу, что иностранцы теперь Вас глотать будут! массой глотать! и загнете Вы роман, желаю страстно. Именно — роман! Палитрища у Вас громадная, кисть первых мастеров, от козявки до молнии в Вашей душе — всюду место, и прекрасная дрожь большого русского сердца! Дружеское мое, любовное слово да претворится в славное дело Ваше! А я

буду читать и греть душу. Искру — огонь! Славная русская литература!..

Наш душевный привет и низкий поклон Елизавете Маврикиевне. Кису поцелуйте и скажите ей, что тут нет ничего хорошего: ни винограду — кисл, ни яблок — дерево, ни арбузов — резиновые, ни дынь — как сыр. А мыло — сало. А духи — химия… Ну, крепко жму руку и обнимаю. Ваш Ив. Шмелев».

20 авг(уста) — 2 сентября 1923 г. Грасс.

6

А в это время в осеннем Париже Куприн одиноко и растерянно бродил по чужим шумным улицам, медленно двигался от Елисейских полей и Итальянского бульвара к бульвару Босежур и улочке Ренеляг, где он теперь снимал скромную квартирку. Он не умел, не мог разобраться в том, что происходило в русском зарубежье: грызня многочисленных эмигрантских партий; монархисты, кадеты, эсеры, социал-демократы, разбившиеся на несколько фракций; Милюков, Струве, Бурцев, Керенский, великий князь Николай Николаевич…

«Да, — невесело усмехнулся Куприн, — я, как муха, тону в этом политическом гоголь-моголе…»

Текла мимо, обгоняя и не задевая его, шумная и чужая жизнь. Бежали хорошенькие худенькие женщины, на ходу подмазывая мизинцем губы; служащие с незапоминающимися, стертыми лицами; африканцы с коровьими губами; подозрительные типы, не то апаши, не то коты: галстук бабочкой, узкий пиджачок, брюки по щиколотку. И безостановочно катился, катился поток автомобилей, обдавая прогорклым перегаром бензина и унося куда-то дорогих женщин в туалетах от «Мадлен и Мадлен» и «Колло», жирных буржуа, наевших животы на военных поставках…

«Толпа пестра, как наши эмигрантские политики, — рассуждал Куприн. — Но все политики сходятся на том, что падение Советской власти неизбежно, и яростно спорят между собой во имя будущего России. Какой России? Что я знаю о ней сейчас?..»

Первое время от обезумевших беженцев и через злобную эмигрантскую прессу до него докатывались самые чудовищные, фантастические слухи. «В России все сошли с ума — там голод, мор, саранча истребляет людей. Там уничтожается все старое,

дорогое нашему сердцу, заколачиваются церкви, интеллигенцию насильно заставляют заниматься черным физическим трудом, там преследуют прежнее искусство, изгоняют прошлое даже в названиях…» Как смутила, повергла в печаль Куприна весть о том, что его любимая Гатчина будто бы носит новое и ненавистное ему имя — Троцк…

Потом стали приходить иные, добрые вести. Его бывшая жена — Маша, Муся, Мария Карловна, — и их дочь Лида зовут его вернуться, обещают возможность спокойного творчества и трудовой, безбедной жизни. Кто же прав? Он видит и знает, что происходит в эмиграции. И это ужасно. Но Россия? Совсем недавно, в феврале 1923 года, он отозвался на длинное и искреннее письмо Маши — теперь уже не Куприной, а Иорданской, жены видного большевика, назначенного советским послом в Италии.

Куприн писал: «Ты совершенно права, мой ангел, Машенька: существовать в эмиграции, да еще русской, да еще второго призыва — это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц. В прежние времена, ты сама знаешь, я сторонился интеллигенции, предпочитая велосипед, рыбную ловлю, уютную беседу в маленьком кружке близких знакомых и собственные мысли наедине… Теперь же пришлось вкусить сверх меры от всех мерзостей, сплетен, грызни, притворства, подсиживания, подозрительности, мелкой мести, а главное, непродышной глупости и скуки. А литературная закулисная кухня… Боже, что это за мерзость!

А все же не поеду. Звала меня Лидуша… ты вот советуешь, тебе я всего охотнее верю. Последний был милый передатчик твоего письма. «Работать для России можно только там. Долг каждого искреннего патриота — вернуться туда». В этой фразе много верного, но все-таки это — фраза. Там теперь нужны фельдшеры, учителя, землемеры, техники и пр. и пр.

Что я умею и знаю? Правда, если бы мне дали пост заведующего лесами Советской Республики, я мог бы оказаться на месте. Но ведь не дадут?»

Последняя фраза, впрочем, была уже некоторой рисовкой, юмором, может быть, и неуместным. Нет, конечно, не только мысль о том, что теперь в новой России едва ли надобны писатели, художники, останавливает его. Вряд ли простят Куприна там за все, что им содеяно: редактор газеты северо-западной добровольческой армии, белый публицист, автор политических очерков и статей в эмигрантской прессе — «Русская газета», «Общее дело, «Возрождение», «Отечество»… Небось и там, в Москве, читали строки, вырвавшиеся в горячке из-под его

рассерженного пера. А самое главное: кто же все-таки они, большевики?

До сих пор огромное, сложное и яркое впечатление живет в нем от облика Ленина, от чтения его статей, от его идей, которые в абсолюте всегда казались Куприну чистыми и прекрасными, наконец, от встречи с ним в Кремле, так обрадовавшей и даже окрылившей Куприна. Добрые отношения были у Куприна с Луначарским, теперешним наркомом просвещения, который в своих критических работах высказал о нем и его творчестве немало точных и хороших слов. Но Зиновьев, распорядившийся об аресте Куприна в Гатчине 30 июня 1918 года? Но Каменев, который в декабре того же года решительно осудил, отмел самую идею общерусской газеты «Земля», а потом распорядился реквизировать собранные деньги на ее издание? Но властный диктатор Троцкий, в специальном поезде наезжавший в Гатчину? Их злую враждебность Куприн ощущал и тогда, когда искренне желал сотрудничать с большевиками…

Нет, в голове начинается какой-то непроходимый сумбур: не может разобраться Куприн в политических хитросплетениях, в истинном значении той или иной политической фигуры. Видно, не это его стихия. Ему надо писать рассказы и повести, а не пытаться политиканствовать. Легко сказать — писать, когда живешь в чужой стране. Милый, наивный Шмелев! Он так преувеличивает резонанс, который вызывают здесь, со Франции, купринские книги. Да, «Яма» переведена на французский и имеет некоторый успех. Какой-то предприимчивый субъект даже сделал из повести пьесу — черт знает что по своей барабанной глупости и «клюкве»! Куприн пришел на представление в театр «Гран-Гриньоль». По сцене расхаживал гигант в черной пещерной бороде до пупка, с выпученными глазами, в красной рубахе до колен, с огромным кухонным ножом за поясом и с нагайкой в руке, а на полу извивались растерзанные, вопящие, избиваемые «жертвы общественного темперамента». Когда после кровавого конца опустился занавес, Куприн с шумом вздохнул и сказал своим друзьям: «Совсем непохоже. А здорово страшно!»

Свисток паровоза возвратил Куприна к действительности: вот и, наконец, окружная железная дорога, бульвар Босежур, а за ним и его улица — Ренеляг. Куприн тяжело поднимался по лестнице перехода, брел мимо ларька, пахнущего кислым запахом капусты, тряпья и свежей типографской краски, обходил осторожно маленькое кафе мадам Бюссак, которой оставался должен ничтожную, но пока еще не выплаченную сумму. А вот и «принцесса четырех улиц» — чумазая крошка Жанета с черной челочкой и грязной мордочкой, дитя двора, полунищенка, для

которой у Куприна всегда припасен гостинец.

Он входил в маленькую квартирку — две комнатки с резными потолками и цветными витражами окон, отчего казалось, что живешь в костеле: хозяйка, гатчинская знакомая, была полька. «Работать, работать», — твердил себе Куприн, перебрасывался незначительными словами со всегда грустной Елизаветой Морицовной и шел к столу. Но и за чистым листом бумаги его не отпускали неотвязные мысли.

Для кого писать? Кому нужно то, что выходит из-под его пера *теперь*? Кто продолжит его дело? Эмиграция жила силой старого человеческого материала — заявивших о себе в России писателей, художников, композиторов. Да и то истинных талантов раз-два и обчелся… Вот Шмелев. Прекрасный художник! Может быть, это последний и единственный из русских писателей зарубежья, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка… А молодежь? Куда деваться ей? Офранцуживаться?

Куприн жадно искал теперь не только читателей, но и учеников, подмастерьев, желая передать им секреты своего литературного мастерства. Он радовался каждой, пусть даже мнимой возможности поделиться накопленным опытом: не уносить же его в могилу…

7

«Хотите писать? Я вас на это уже благословил однажды, благословляю и теперь. Что же вас больше тянет: беллетристика? критика? философия? драма? Я понимаю вашу муку над словом и боязнь потерять почву родного языка. Но, чтобы избежать того и другого, надо непременно и много говорить с людьми, знающими безукоризненно русский язык и притом не интеллигентский, который ни черта не стоит, а глубоко народный. Я сам ловил себя в Петербурге на том, что теряю вкус к слову. Месяц пребывания в Зарайском уезде (Рязанской губернии) или в Гдовском Псковской губернии, или в Кашинском Тверской освежали мой словесный запас и давали речи нужную силу, выразительность, многообразие и ловкость.

Знаете ли вы, что гранильщики драгоценных камней держат перед собой изумруд? Когда глаза устают, то дают отдыхать на изумруде. Таким изумрудом для меня были всегда две вещи: «Капитанская дочка» Пушкина и «Казаки» Толстого. Хорош для этого и «Герой нашего времени».

Память ваша о нашем коротком милом знакомстве меня очень трогает. И жаль, что мне пришлось так скоро уехать, не успев передать вам кое-что из того, что дали мне опыт и наблюдение. Представьте! Во мне до сих пор живет сожаление о том, что в ранней юности моей я не встретил друга, гораздо старше меня, не родственника, свободного душой и умом, который зорко, строго и любовно следил бы за тем, как я, молодой писатель, пробую, какая такая травка мне полезна. Таким дядькой был для Мопассана — Флобер. У меня тоже было нечто подобное, но совсем в другом роде — мой бофрер, лесничий. Он научил меня плавать и стрелять. Но ни поэзия, ни философия, ни мысли о сути жизни никогда не забредали в его голову. А я еще в Гельсингфорсе подумывал о вас, как о таком вольном ученике и молодом друге. О таких вещах люди почти никогда не думают.

Так вот; если пишете, присылайте мне. Только не бойтесь никогда суровой критики, от меня ли и от другого, кому доверитесь. Это целебные удары».

Куприн — Ф. Ф. Пульману.

31 августа 1924 года. Париж.

8

Никогда еще Куприну не работалось так трудно, так мучительно, как теперь, в эмиграции. Все было против: нищая квартирка с чужими, купленными не тобой дешевыми вещами и обстановкой, чужая речь на улице и, главное, отсутствие читателя. Того русского, привычного читателя, образ которого Куприн прекрасно представлял себе, когда садился писать. Вот он берет в руки новый купринский рассказ — адвокат в петербургской уютной квартире на Литейном, или провинциальный учитель гимназии в Гжатске в собственном небольшом коттедже, или чиновник средней руки в пятиэтажном доходном доме у Никитских ворот в Москве, или уездный землемер из-под Вологды, осевший в самой простой деревенской избе, нерегулярно выписывающий толстые столичные журналы — «Русское богатство», «Современный мир»… Их вкусы, их «диктатуру» Куприн очень точно чувствовал и на них чутко отзывался. Где-то неведомо далеко, за синими морями, за непроходимыми лесами, в сказочной дали осталось все это — Петербург, Гатчина, Москва, Даниловское, Балаклава, Наровчат…

Почти все, что делал теперь Куприн, кроме мелочишек, было замыслено или даже начато там, в России, солнечным излучением которой всегда питался его талант. Возвращаясь памятью к незабвенной Родине, писатель твердил себе и своим близким:

— Я не могу, не умею высасывать темы из пальца… Мне нужно все *родное*… Только *родное*…

Даже крупнейшая вещь эмигрантской поры — роман «Юнкера» — была начерно написана в Гатчине, но, чтобы вернуться к ней в эмиграции и ее восстановить, потребовалось более десяти лет. Осколком другого крупного произведения, над которым Куприн работал в 1916 году, — повесть о монашеской братии «Желтый монастырь», явился небольшой рассказ «Алеша». И вышедший в 1923 году в Париже рассказ «Однорукий генерал» — о Скобелеве-первом, герое войны 1812 года и деде знаменитого «белого генерала», тоже создавался в России, в Питере и Гатчине…

Порою Куприн брал старые вещи, чтобы переписать, расширить и обогатить их, но тогда из-под его уставшего и теперь медленного пера выливались лишь сетования, стенания. Так, бодрая, пронизанная горячей верой в бесконечные возможности человека история о Саше Прокофьеве, летчике, потерявшем ногу, но продолжавшем отважно воевать вместе со своим талисманом Яшкой («Сашка и Яшка»), через десять лет после ее создания, в эмигрантском Париже, получила концовку, по-новому, грустно окрашивающую все повествование:

«Все это я вспомнил, рассматривая на днях давнишние фотографии. Десять-двенадцать лет прошло от того времени, а кажется — сто или двести. Кажется, никогда этого и не было: ни славной армии, ни чудесных солдат, ни офицеров-героев, ни милой, беспечной, уютной, доброй русской жизни… Был сон… Листки старого альбома дрожат в моей руке, когда я их переворачиваю…»

Чуткая и самоотверженная Елизавета Морицовна с болью следила за тем, как гаснет в Куприне писатель. На ее хрупкие плечи легли теперь все житейские невзгоды — все муки за неоплаченные долги и добывание денег «хоть из-под земли» не только для собственной семьи, но и для нуждающихся друзей и знакомых. Видя, как тяжело Куприну писать на чужбине, как непостоянны заработки некогда знаменитого писателя, она решила заняться коммерцией. В 1926 году Елизавета Морицовна вместе с профессиональным мастером открыла переплетную мастерскую. В ее обязанности входило финансирование машин и сырья, а также сбор заказов.

Коммерческая затея отважной, но непрактичной женщины кончилась плачевно: компаньон оказался пьяницей, заказы не выполнялись в срок, и мастерскую пришлось очень скоро закрыть. Тогда, продав переплетные машины, Елизавета Морицовна сняла маленькую лавочку на улице Эдмонда Роже, где устроила книжный и писчебумажный магазинчик. Чтобы ей не ездить далеко, Куприны перебрались на эту улочку, тихую и патриархальную. Однако очень мало народу заходило за книгами, и купринская лавочка прогорала. К тому же хозяйка, слабо знавшая французский, не могла толком объяснить покупателям, порекомендовать им новинку, посоветовать, что приобрести. Французские книжки постепенно заменялись старыми русскими, и лавочка превратилась в библиотеку.

Когда аренда лавочки оказалась непосильной, стеллажи с книгами перекочевали прямо в квартиру Куприных и разместились в столовой. Расчет был нехитрый, рожденный все той же бедностью: «на Куприна» придут…

Главную смену проводила Елизавета Морицовна, в качестве второго библиотекаря привлекли молодого писателя Николая Рощина. Иногда за дело брался и сам Куприн. Вот тут-то ему приходилось туго. Куда бы еще ни шло с автографами к книгам — нет, хлынули всякие господа с потными руками, но трубным голосом и однообразными приглашениями: зайти, выпить, «поговорить». И конечно, больше, чем от желания угостить «скучающего» по водке человека, было здесь от особого, похоронно-свадебного честолюбия — похвастаться потом:

— Опять вчера с этим, с Куприным, долбанули… Здорово, черт его, пьет!..

И еще одна пришла египетская казнь — бесконечные поэты, мемуаристы, дебютанты, решившие писать, потому что больше нечего делать.

Вот, подгадав, когда Куприн в библиотеке, является господин с коричневым бабьим лицом, носом, похожим на банан, и проворными властными глазами. Из корзины в его руке свисает петрушка и плоский рыбий хвост.

— Куприн? — обращается он к хозяину.

— Да, — еще не зная, кто это, улыбается своей детской улыбкой тот, вглядываясь в незнакомое лицо.

— Очень рад! Обращаюсь к вам как офицер к офицеру. Дело табак! Крылья, как говорится, подрезаны, я решил тоже литературой подзаняться. Грамоте когда-то учился, и сам не глупее других. А вы уж, будьте добры, предисловьице!

Голос у него отрывистый и беспрекословный. Куприн беспомощно отодвигался к книжным полкам, но господин

наступал:

— Как пишут, сукины дети! Гумилев, например. Да он у меня в эскадроне служил! «Я бельгийский ему подарил пистолет…» Идиотство! Да ведь это браунинг! Дурачье! Писать надо просто и без всяких там амфибрахиев-с…

Петрушка и рыбий хвост прыгали в энергично вскидываемой корзине. Голос гремел. Куприн забился в самый угол. Рощин и Елизавета Морицовна с трудом уняли лихого кавалериста, а Куприн две недели не показывался в библиотеке.

Он молча страдал, жалея больше себя жену, которая ночами перешивала любимой дочери платья, поднимала петли на чулках. Куська, Аксинья, Ксения все более отдалялась, уходила в свой мир: манекенщица, киноактриса. Куприн еще по-отцовски хорохорился, мечтая «пристроить» ее, подыскать «приличную» партию, и с горькой иронией говорил жене:

— Да, но где взять ей американца? Французы женятся лишь на приданом, а все эмигрантские женихи — голодранцы!

Хорошенькая, еще более милая своей стеснительностью, невинностью, девушка совершенно неожиданно для себя была принята в знаменитый в ту пору дом моделей Поля Пуаре. Она научилась медленно, с деланным высокомерием ходить по «языку» — демонстрационному помосту, отступать, поворачиваться, с быстротой молнии переодеваться за кулисами. Научилась, как говорят профессиональные манекенщицы, «делать лицо», — искусно пользоваться косметикой, накладывать нужные тона…

Куприн бессильно сердился:

— Научилась, дурочка, краситься! И ничем ее не убедишь, что к ее хотя и тонкой, но очень русской лупетке это вовсе не идет.

Труд манекенщицы тогда на Западе оплачивался очень скудно, но было одно достоинство: разрешалось взять на вечер какой-нибудь сказочный туалет. Однажды дом моделей одолжил русской Золушке золотое платье и золотую «сортье де баль» — накидку, обшитую зелеными страусовыми перьями. На приеме, куда она была приглашена, Золушку в сказочном наряде и с детским личиком встретил Принц — очень известный во Франции режиссер Марсель Лербье. Он предложил Ксении Куприной сделать кинопробу, которая оказалась удачной. У Лербье она снялась в пяти фильмах: «Дьявол в сердце», «Тайна желтой комнаты», «Духи дамы в черном», «Императорская дорога», «Авантюрист».

Теперь вечерами за ней приезжали веселые, беззаботные компании в дорогих автомашинах. А дома частенько был

выключен газ и электричество за неуплату. Почти все гонорары уходили на престижные туалеты.

Постепенно имя Ксении Куприной стало довольно популярным, особенно среди русских французов. По стране шли фильмы с ее участием — «Последняя ночь», «Лоретта», «Женский клуб». Хорошенькой актрисой любовался, уже в голливудском фильме, Бунин в тот самый день, когда в Грассе пришло известие, что он получил Нобелевскую премию в области литературы…

Однажды Куприна подвозил на такси до дому редактор еженедельника «Иллюстрированная Россия», где он подрабатывал. Услышав знакомую фамилию, русский шофер спросил:

— Вы не отец ли знаменитой Кисы Куприной?

Вернувшись домой, Куприн горько сказал жене:

— До чего дожил… Стал всего лишь отцом «знаменитой дочери»…

9

Куприн терял друзей.

Кажется, совсем недавно ходил он на репетицию веселой комедии Алексея Толстого «Любовь — Книга Золотая», постановку которой на французском языке подготовил режиссер Жан Копо в своем театре «Старая голубятня». Русский XVIII век, в причудливом смешении задубелого помещичьего самодурства и утонченной столичной галантности, ожил на парижской сцене. Репетиция шла в костюмах и с декорациями, сам Копо из партера своим мощным басом вносил поправки. Императрица Екатерина и ее протеже юная княгиня очаровательно носили фижмы. Княжеский шут Решето, загримированный чуточку под автора, хохотал за кулисами подлинным толстовским смехом, единственным и великолепным. Декорации Сергея Судейкина были, как всегда, прекрасны и исполнены веселого фарса в русском национальном стиле.

8 марта 1922 года состоялась премьера, на которую собралась преимущественно русская публика — из «верхов» эмиграции, «блазированная», пресыщенная всеми зрелищами — от боя быков до фокстрота. Здесь каждый считал себя неопровержимой энциклопедией наук, искусств и специальных знаний и позволял себе снисходительно-высокомерные замечания. Куприн сердился, слушая реплики, будто в пьесе неточен русский помещичий быт,

что непонятны характеры и психология, что пьеса, вообще говоря, безнравственна. И еще многое, в таком же роде.

Он решил откликнуться на постановку статьей, защитить первородный талант Толстого от сытой глупости и рассказать о прелести самой пьесы. Прежде всего он отвел несправедливые упреки. «Но Толстой, — отмечал Куприн, — совсем и не думал писать ни бытовой комедии, ни исторических картин, ни психологической пьесы. Он, этот лукавый богатырь Алеша Попович, умно обошел со свойственным ему верным инстинктом такта все неимоверные трудности, которые ему предстояли бы, если бы он решил всерьез зачерпнуть нравы, язык и чувства тогдашней эпохи. Он написал самую легкую, самую беззаботную пьеску, одинаково приятную, занимательную и веселую как в чтении, так и на сцене… В веселую, шумную, пеструю комедию Екатерина одна вносит мимолетную, легкую печаль, дающую под конец всей пьесы какой-то едва уловимый, прелестный, горьковатый аромат».

Через год с небольшим Алексей Толстой вернулся в Советскую Россию. Куприн слышал, что его талант на Родине расцвел и заиграл новыми красками. Не в «Старой голубятне», а во Второй студии Московского Художественного театра на родном русском языке шла теперь комедия «Любовь — Книга Золотая»…

Долгая дружба связывала Куприна с поэтом-сатириком Сашей Черным.

Он следил за его первыми шагами в литературе, радовался его успехам еще в далекие 1910-е годы. «Величайшей заслугой «Сатирикона», — вспоминал Куприн, — было привлечение Саши Черного в редакционную семью. Вот где талантливый, но еще застенчивый новичок из волынской газеты приобрел в несколько недель и громадную аудиторию, и широкий размах в творчестве, и благородное признание публики, всегда руководимой своим безошибочным инстинктом и своим верным вкусом. Она с бережной любовью поняла, что в ее душевный обиход вошел милый поэт, совсем своеобразный, полный доброго восхищения жизнью, людьми, травами и животными, тот ласковый и скромный рыцарь, в щите которого, заменяя герольда, смеется юмор и сверкает капелька слезы. И дружески интимной, точно родной, стала сразу читателям его простая подпись под прелестными юморесками — Саша Черный…»

В свой черед, поэт благоговел перед Куприным. Он описал шумную и гостеприимную гатчинскую жизнь «зеленого домика» в стихотворении «Пасха в Гатчине»:

Из мглы всплывает ярко
Далекая весна:
Тишь гатчинского парка
И домик Куприна.
Пасхальная неделя,
Беспечных дней кольцо,
Зеленый пух апреля,
Скрипучее крыльцо…
Нас встретил дом уютом
Веселых голосов
И пушечным салютом
Двух сенбернарских псов.
Хозяин в тюбетейке,
Приземистый, как дуб,
Подводит нас к индейке,
Склонившей набок чуб…

В далеком мареве растаяли незабвенные времена гатчинского веселья. Саша Черный в 1919 году очутился в Ковно, в Литве, потом уехал в Берлин, где сотрудничала журнале «Жар-птица». Когда же он в 1924 году появился в Париже, то Куприн внутренне ахнул: время — неумолимый парикмахер. В Петербурге Куприн дружил с настоящим брюнетом с блестящими черными непослушными волосами, а теперь перед ним стоял воистину Саша Белый, украшенный серебряной сединой. Он тогда сказал Куприну с покорной улыбкой:

— Какой же я теперь Саша Черный? Придется себя называть поневоле уже не Сашей, а Александром Черным…

В 1924 году, когда в Париже отмечалось 35-летие творчества Куприна, Саша Черный откликнулся на юбилей проникновенным словом:

«…Александр Иванович Куприн — одно из самых близких и дорогих нам имен в современной русской литературе. Меняются литературные течения, ветшают формы; исканий и теорий неизмеримо больше, чем достижений, но простота, глубина и ясность, которыми дышат все художественные страницы Куприна, давно поставили его за пределы капризной моды и отвели ему прочное, излюбленное место в сознании не нуждающихся в проводниках читателей. Ибо нет в искусстве более трудного и высокого строя… Дорог нам, и с каждым днем все дороже, и самый мир купринской музы».

И вот из Прованса пришла по телеграфу нежданная и горькая весть: «5 августа 1932 года Саша Черный скоропостижно

скончался…»

Теплая дружба возникла у Куприна с первых же лет эмиграции с Константином Бальмонтом; в России они едва знали друг друга: один — убежденнейший реалист, другой — вождь символизма, далекого и чуждого Куприну. Их сблизила жесточайшая тоска по Родине, любовь к России, которой они дышали и жили. Это чувство переполняло письма Бальмонта из-за границы жене Е. А. Андреевой, единственной женщине, которую он любил всю жизнь: «В Москву мне хочется всегда, а днями так это бывает, что я лежу угрюмый целый день, молча курю, думаю о России, о великой радости слышать везде Русский язык, о том, что я Русский, а все-таки не гражданин вселенной и уж меньше всего гражданин старенькой, скучненькой, серенькой Европы…» (письмо от 12 марта 1923 года).

Символом России, ее воплощением был и оставался для Бальмонта Куприн и его глубоко национальное творчество, первородный русский талант. Именно таким возникает образ Куприна в посвященных ему бальмонтовских стихах:

Если зимний день тягучий
Заменила нам весна,
Почитай на этот случай
Две страницы Куприна…

Здесь в чужбинных днях, в Париже,
Затомлюсь, что я один,
И Россию чуять ближе
Мне всегда дает Куприн…

Так в России звук случайный,
Шорох травки, гул вершин
Той же манит сердце тайной,
Что несет в себе Куприн.

Это — мудрость верной силы,
В самой буре — тишина…
Ты — родной и всем нам милый,
Все мы любим Куприна.

Но и как человек, и как поэт Бальмонт на чужбине медленно и неуклонно деградировал, живя на случайные подачки. В 1932 году его постигла последняя и непоправимая беда — первые признаки душевной болезни. Он ушел от Куприна в безотрадный мир больниц и убежищ, испытывая притеснения и настоящую

нищету.

И все же среди всех прочих потерь самой горькой для Куприна была кончина Ильи Ефимовича Репина.

Как вспоминает дочь Куприна Ксения Александровна, «нежная, полная взаимного преклонения дружба между Куприным и Репиным началась в первые годы XX века. Прочитав «Поединок», Илья Ефимович написал В. Стасову в 1905 году: «Замечательное произведение. Я давно уже ничего с таким интересом не читал. С громадным талантом, смыслом и знанием среды — кровью сердца — написана вещь». Александр Иванович всегда считал Репина «художником величиною с Казбек». Часто сравнивал его в живописи с великим Толстым.

Начиная с 1905 года Куприн регулярно наезжал в «Пенаты» — усадьбу Репина в Куоккала. В 1920 году в Финляндии он часто пишет Репину, собирается поехать в «Пенаты», где его ожидала комната и были уже подготовлены кисти и полотна для портрета, который, к сожалению, так и не появился. Из Парижа в Куоккала и из Куоккала в Париж идут письма, исполненные взаимной нежности и любви, неизбывной тоски по России и горечи эмигрантского прозябания.

Куприн — Репину.

«6 августа, 1924 г. Париж.

Дорогой, прекрасный, милый, светлый Илья Ефимович!

П. А. Нилус вычитал мне из Вашего письма тот кусочек, где обо мне. К великой моей радости, я узнал из этих слов, что Вы не окончательно забыли Вашего преданного друга и любящего почитателя — скромного скрибу Куприна. Крепко обнимаю Вас за это, протягивая длани от пыльного, горячего, ныне опустевшего, но все еще грохочущего Парижа до тихой и нежной зелени «пенатских» берез. Во Франции тоже есть, как диковинка, пять-шесть экземпляров берез, но — увы! — они не пахнут, даже если растереть их зазубренный листик в пальцах и поднести к носу.

Эмигрантская жизнь вконец изжевала меня, а отдаленность от Родины приплюснула мой дух к земле. Вы же живете бок о бок с Ней, Ненаглядной, и Ваш привет повеял на меня родным теплом. Нет, не вод мне в Европах!»

В самом начале своих заграничных мытарств, в 1920 году, попросил Куприн Репина в одном из своих писем получить на память «хоть какой-нибудь клочок, на котором что-нибудь сделано вашей рукой». Теперь он снова возвращается к своей просьбе: «Так бы что-нибудь: одна карандашная линия и под ней магические две буквы И. и Р.». И как же Куприн был рад и счастлив, прочитав репинский ответ!

Репин — Куприну.

«24 августа 1924 г. «Пенаты».

Милый, дорогой, сердечно любимый, сверкающий, как светило, Александр Иванович!!! Как мне повезло: письмо от Вас! Не верю глазам… И как Вы пишете! Ваши горячие лучи все сжигают, всякий лепет 80-летнего старца сгорит в могучих лучах Вашего таланта… А я ведь давненько уже послал на имя Зеелера… один эскиз «Лешего» и надписал на нем Ваше имя…

Так «не вод» Вам в Европе? Какое слово! В первый раз слышу.

Приметы верно оправдались: с самого *Сампсония* шесть недель стояла дивная погода, и я, в первое лето, после многих холодных, накупался и нагрелся на горячем песке, чудо, чудо!.. Зато березы менее пахли этим горячим летом…

А за сим, награжденный Божиим милосердием свыше всякой меры, я уже мечтаю о чем-нибудь на закуску. И это: прочитать что-нибудь Ваше, еще не читанное. Подобострастно и униженно прошу Вас, пришлите что-нибудь Ваше (непременно *наложенным платежом!*). О, как бы я теперь прочитал Вас!!! Милый друг, не сердитесь за назойливость, надоедливость — осчастливьте уже много, много осчастливленного старца, который, выпивая каждый день из своего фонтана по утрам и вечерам, угрожает доброй Финляндии прожить на ее земле сто лет — и осталось всего 20 лет, пустяки — время идет быстро: мне кажется, что я все еще 40-лет(ний) молодой человек.

Обнимаю Вас — *Илья Репин*».

Репинский этюд занял почетное место в кабинете Куприна — рядом с портретом Льва Толстого с его собственноручной надписью, репродукцией полотна Кипренского, изображающей Пушкина, и головой Спасителя, нарисованной 15-летней дочерью Ксенией. Но вскоре Куприну пришлось расстаться с драгоценным подарком. Тяжелая простуда дочери потребовала денег на лечение и на курорт в Швейцарии, а затем на поездку на юг Франции. Средств не было, и Куприн устроил среди русской эмиграции лотерею, в которую вошли последние семейные реликвии, в том числе и репинский «Леший»…

С глубокой болью пишет о своей «провинности» Репину Куприн, но получает в ответ доброе и светлое письмо с вестью о посылке нового рисунка — портрета запорожца Абрама Лысого. И снова словом, духом поддерживают друг друга — великий русский художник и знаменитый писатель. Последнее письмо от Репина датировано 17 июня 1930 года. Не исполнилась жизнелюбивая задумка Репина — прожить сто лет. В письме звучат жалобы на недуги, которые мешают даже насладиться присланной Куприным новой книгой: «Дорогая Ваша любезность застает меня больным и не способным к этому роду искусства,

который Вы соблаговолили *востребовать*. Увы, я позорно спрятался за могучего сына, и он великодушно заменяет меня… Что делать? Я едва ноги таскаю.

Простите, простите!

С обожанием к Вам

Илья Репин».

29 сентября 1930 года он скончался на восемьдесят шестом году жизни. Тяжесть утраты была так велика, что откликнуться на эту невосполнимую потерю Куприн смог только через год после смерти Репина:

«Более чем половину столетия Репин был славой России и гордостью живописного искусства. Еще до сих пор мы, в изгнании и в рассеянии сущие, говоря о нашем незабвенном прекрасном Доме, упоминаем со вздохом и во множественных числах: «Да. У нас были Пушкины, Толстые, Репины, Глинки, Чайковские. Какое богатство! Весь мир произносит их имена с благоговением!»

Относительно всего мира сказано, конечно, слишком широко. Но теперь уже можно со спокойной уверенностью сказать, что имя и творчество Репина переживут столетия и сам Репин останется великим, непревосходимым учителем до той поры, до которой живут полотно и краски».

С потерями близких друзей надвигалось духовное одиночество вместе с потерей работоспособности и бедностью.

Как-то незаметно, но бесповоротно поток посетителей, литераторов, знакомых и просто любопытствующих, так досаждавших Куприну, сперва превратился в узенькую струйку, а там и исчез вовсе. Лишь только его имя перестало мелькать на страницах русской периодики, эмиграция позабыла про Куприна. У него и так было немного близких в литературной среде, теперь считанные единицы вспоминали о нем. Для Буниных он уже как бы умер: Шмелев, Тэффи и другие раз в году навещали его маленькую квартирку рядом с Булонским лесом. Бедность постепенно принимала характер форменной нищеты. Почти не получая гонораров, Куприн жил теперь на частные подачки, чувствуя себя погребенным заживо, подтачиваемым тяжкими болезнями и старостью. Однако по-прежнему — по-купрински радовался каждому гостю.

Корреспондент русской газеты в Париже «Последние новости» Андрей Седых был одним из немногих, кто захаживал иногда к некогда знаменитому, а теперь позабытому писателю.

Скуластое лицо Куприна с широким, сломанным и несколько приплюснутым носом при виде его расцветало в детской улыбке. На широком некрашеном столе появлялась бутылка простого вина и тарелка с дешевыми пряниками из соседней русской

лавки. Куприн разливал вино по стаканам и с неизменной улыбкой — он любил улыбаться — говорил:

— Ну, поздороваемся!

Закусив медовым пряником и еще более повеселев, начинал вспоминать любимую Россию, свое прошлое, юные годы. Рассказывал охотно, не повышая голоса:

— Первый гонорар — нет, брат, это не забудешь! Рассказишко «Последний дебют» получился у меня ученический, паршивый… Зато из журнала прислали целых десять рублей. Огромнейшая была тогда эта сумма. Я купил матери отличные козловые ботинки, а на оставшийся рубль пошел на Цветной бульвар, в манеж и поскакал… Люблю лошадей! Ведь вы знаете? — наклонялся Куприн ближе к Седых, поясняя вполне серьезно: — У меня любовь к лошадям в крови, от татарских предков. Моя мать — урожденная Кулунчакова. А «кулунчак» означает по-татарски — жеребец. Можете спорить со мной, но я знаю о лошадях все. Больше меня знал только Лев Толстой. И лучшее в «Анне Карениной» — Фру-фру и описание скачек…

Разговор продолжался в кабинетике — маленькой комнатке, оклеенной обоями с цветочками, в которой осенью остро пахло гниющими листьями и теплой, влажной землей. Известный всему русскому Парижу, описанный Куприным в рассказе громадный кот Ю-ю мирно спал на столе, развалившись на рукописях, на бумажных белых листах, исписанных почерком человека, которому уже плохо повинуется рука.

— Презирает меня кот, — жаловался Куприн. — Презирает. А почему, не знаю. Должно быть, за невезенье!

Ю-ю был настоящим тираном в семье. Он разгуливал по столу во время обеда, норовя лизнуть со всех тарелок, а хозяин не мог найти в себе решимости прогнать его. Этому хитрому и жестокому зверю-красавцу изрядно повыщипал хвост еще более свирепый рыжеволосый крестник Бунина, сын поэта Бальмонта.

Детей и зверей Куприн обожал — свидетельство души доброй и счастливой. Дети его никогда не утомляли, и он не терялся в присутствии даже самых капризных. С мальчиками принимал особый тон — юмористический, приятельский, слегка задирающий, на что они отзывались мгновенно и с азартом.

— Вот мое последнее произведение, со слабой улыбкой сказал Куприн, осторожно вытаскивая из-под спящего Ю-ю листок с рисунком: — Посвящается моей маленькой соседке, дочке русского шофера…

Произведение называлось «Девочка и собачка. Драма в одном действии и одной картине». В книжной неровной виньеточной рамке была нарисована девочка с большим бантом и собака. Под

заглавием значилось:

«Действующие лица:

Девочка.

Собачка».

Дальше шло:

«Действие 2-е (и последнее).

Картина 1-я (и последняя).

Явление 1-е (и последнее).

Девочка.

— Собачка, собачка, куда ты бежишь?

Собачка.

— Куда я бежу — никому не скажу.

Занавес».

От острой жалости, охватившей его, Седых не мог ничего сказать. Автор «Поединка» и «Ямы» теперь был в состоянии писать только шутливые мелочи.

Провожая Седых, Куприн неизменно сворачивал на улицу Доктора Бланшара, в знакомое бистро. Он шагал мелкими быстрыми шажками, осунувшийся, изможденный, в криво надетой шляпе, но узкие глаза его по-прежнему улыбались:

— Ничего не пойму. Все никак не получается из меня старик!

С ним приветливо здоровались встречные — садовник Анри, которого он упрямо называл Пьером, консьержка, капрал-квартальный, компания подгулявших рабочих:

— О, papa Couprine! Папаша Куприн!

И каждый раз, приподняв свою мятую шляпу, Куприн отвечал на немыслимом французском языке:

— Бон суар, месье! Же ву при, мадам!

Бистро было маленькое, с цинковой стойкой, за которой возвышалась хозяйка — парижская матрона в четыре обхвата. Куприн галантно целовал ей ручку и пытался сказать какой-то комплимент на своем необыкновенном и живописном французском языке. Но она понимала посетителя по-своему. На столе тотчас же появлялись две внушительного размера рюмки с кальвадосом, желтоватой нормандской водкой.

В бистро заглядывали каменщики в белых фартуках, перепачканные мелом маляры — народ мастеровой, большой любитель поговорить. Куприна здесь все знали, запросто называли «месье Александр». Хозяйка следила за рюмками и вовремя наливала по второй. От второй рюмки Куприн быстро хмелел.

— Хватит, Сюзинка будет сердиться, — говорил он.

Они шли осенним Парижем, пустынным бульваром с облетающими каштанами. Куприн рассказывал — тихо и

доверчиво:

— Сюда, в это бистро, я прихожу каждое 13 января, в наш Новый год… И за рюмкой кальвадоса сочиняю нежное послание одной очаровательной девушке, которую как-то увидел на благотворительном балу. Вы спросите — зачем? А низачем — как писал когда-то письма Вере Шеиной мой добрый и нежный Желтков в «Гранатовом браслете»… — И тем же тихим голосом, почти без интонации, начал читать:

«Ты смешон с седыми волосами…»
Что на это я могу сказать?
Что любовь и смерть владеют нами?
Что велений их не избежать?
Локтем опершись на подоконник,
Смотришь ты в душистый, темный сад.
Да. Я видел: молод твой поклонник.
Строен он, и ловок, и богат.
Жизнью новой, светлой и пригожей,
Заживешь в довольстве и любви,
Дочь родится на тебя похожей.
Не забудь же, в кумовья зови.
Твой двойник! Я чувствую заране —
Будет ласкова ко мне она.
В широте любовь не знает граней.
Сказано: «Как смерть, она сильна».
И никто на свете не узнает,
Что годами, каждый час и миг,
От любви томится и страдает
Вежливый, внимательный старик.
Но когда потоком жгучей лавы
Путь твой перекроет гневный Рок,
Я охотно, только для забавы,
Беззаботно лягу поперек…

«Сколько нерастраченной нежности в душе этого старого и больного человека!» — думал Седых, не решаясь нарушить молчание. Сам устыдившись своего порыва, своей пылкой исповеди, Куприн, сбивая паузу, воскликнул:

— А Париж? Ах, как прекрасен Париж!

Он нежно любил этот город и при почти полном незнании французского языка как-то ухитрялся понимать парижан, в особенности простых людей, к которым его всегда тянуло.

— А знаете? — сказал он, остановившись и почти со слезами на глазах: — Знаете, о чем я иногда думаю? Ведь я верю, что

вернусь в Россию… И вот как-нибудь ночью в Москве проснусь и вспомню вдруг Париж, вот этот бульвар с его каштанами, осень, и так заноет душа от тоски по этому проклятому и любимому городу!..

С каждым визитом ощущал Седых, как слабеют силы Куприна. Резко усилился склероз, появилась мучительная болезнь — перемещение сетчатой оболочки. Как-то они столкнулись на улице. Седых сам подошел к нему, назвался.

— Возьмите меня под руку, — попросил Куприн. — Ходить прямо я еще могу, а вот поворачивать — боюсь, не уверен. И зайдем, знаете, в лавочку к Суханычу…

— А вам можно, Александр Иванович? — осведомился Седых.

— Теперь все можно! — махнул тот рукой.

Зашли в русскую лавочку. Куприн взял себе пирожок и слегка дрожащей рукой поднял ко рту и опрокинул рюмку водки.

Он долгим, немигающим взглядом поглядел на Седых и медленно, очень твердо сказал:

— Умирать нужно в России, дома. Так же, как лесной зверь, который уходит умирать в свою берлогу… Скрылись мы от дождя огненного, жизнь свою спасая. Ах! Есть люди, которые по глупости или от отчаяния утверждают, что и без родины можно или что родина там, где ты счастлив… Мне нельзя без России. Я дошел до того, что не могу спокойно письма написать туда… Ком в горле!

В лавке было шумно, тесно. Приезжали закусить русские шоферы, толпились покупатели, и какая-то древняя старуха француженка с большим подозрением рассматривала через лорнетку непонятные ей пирожки. А хозяин, упитанный и краснощекий, на смешанном французско-нижегородском языке говорил ей:

— Преме, мадам! Сэ бон!

Куприн поплелся к себе домой. Просторное коричневое пальто, сбившееся набок. Седая бороденка клином всклокочена. Выцветшая шляпа. К концу эмигрантской жизни он приобрел вполне беженский вид.

Андрей Седых, кажется, догадывался о возможном возвращении Куприна на Родину.

10

Переговоры о возвращении велись уже давно — труд этот

принял на себя художник И. Я. Билибин, сам в 1936 году выехавший в Москву. Старания его наконец увенчались успехом: автору «Поединка» и «Ямы» была обеспечена достойная встреча.

Подготовка к отъезду проходила в строжайшей тайне. Разрешение вернуться в Россию было получено через посла во Франции Потемкина, все визы оформлены. Но надо было оплатить долги, продать библиотеку. О готовящемся возвращении на Родину знала только вдова поэта Саши Черного — Мария Ивановна. Остальным знакомым Елизавета Морицовна объясняла, что Куприн переезжает на юг Франции, где жизнь дешевле, а климат благоприятнее для здоровья Александра Ивановича.

Куприн нервничал. Ему все казалось, что время тянется слишком долго, что он не доживет, так и не увидев Родины. Иногда его обуревала радость, он ходил по квартире и почти пел:

— Еду-еду, еду-еду…

Наконец этот день наступил. Тяжелый багаж был уже отправлен. Куприных пошли провожать дочь и верная Мария Ивановна. На Северном вокзале представитель посольства СССР торжественно вручил отъезжающим советские паспорта.

Эмиграция узнала об отъезде Куприна в Советский Союз только из сообщений московских корреспондентов.

Событие это произвело огромное впечатление, особенно среди старшего поколения писателей, связанных с Куприным крепкой долголетней дружбой. На его отъезд они откликнулись выступлениями в печати.

И. А. БУНИН

— …Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки, — такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок… Все это и было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне бог — не в силах был видеть его в таком состоянии.

…Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал… Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

М. А. АЛДАНОВ

— А. И. Куприн, как всем известно, в последние годы болел. Я

очень давно его не видел — верно, никогда и не увижу, о чем искренне сожалею, так как любил его.

Жилось ему за границей несладко, хуже, чем большинству из нас. Но не это, думаю, было главной причиной его решения; может быть, что и вообще никакой роли в деле не сыграло.

Знаю, что он очень тосковал по России, меньше, чем кто бы то ни было из нас он был приспособлен для жизни и работы за границей. Политикой он никогда не занимался и мало интересовался ею.

Осуждать его мне нелегко. Могу только пожелать ему счастья…

Н. А. ТЭФФИ

— Е. М. Куприна увезла на родину своего больного старого мужа. Она выбивалась из сил, изыскивая средства спасти его от безысходной нищеты. Давно уже слышались крики-призывы: «SOS! Куприн погибает!» Для них собирали, вернее, выпрашивали гроши.

Всеми уважаемый, всеми без исключения любимый, знаменитейший русский писатель не мог больше работать, потому что был очень, очень болен. И он погибал, и все об этом знали…

Не он нас бросил. Бросили мы его.

Теперь посмотрим друг другу в глаза.

11

В Париже, на Северном вокзале перед тем, как сесть с московский поезд, Куприн сказал:

— Я готов пойти в Москву пешком…

ЭПИЛОГ

«А. И. Куприн в Москве.

31 мая в Москву прибыл вернувшийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель Александр Иванович Куприн. На Белорусском вокзале А. И. Куприна встречали представители писательской общественности и советской печати» (ТАСС).

«Правда», 1937, 1 июня, № 149

«Двухтомник сочинений А. И. Куприна.

Государственное издательство «Художественная литература» в ближайшее время выпускает в свет два тома избранных произведений А. И. Куприна. В двухтомник войдут все лучшие повести и рассказы, написанные Куприным за много лет его литературной деятельности…» (ТАСС).

«Правда», 1937, 2 июня, № 150

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. И. КУПРИНА

26.VIII (7.IX) 1870 г. — родился в селе Наровчате Пензенской губернии в семье мелкого чиновника, письмоводителя в канцелярии мирового посредника.

Конец 1873 г. — январь 1874 г. — после смерти мужа (1871) мать Куприна Любовь Алексеевна переезжает с сыном в Москву и поселяется во Вдовьем доме в Кудрине.

Лето 1876 г. — Л. А. Куприна отдает сына в Разумовский пансион в Москве.

Август 1880 г. — Куприн выдержал вступительный экзамен и стал воспитанником 2-й Московской военной гимназии, преобразованной во 2-й Московский кадетский корпус.

1883—1887 гг. — юный Куприн пробует свои силы в поэзии, создает стихи «Боец» (1885), сатирическую «Оду Каткову» (1886), «Сны» (1887) и др.

1888 г. — окончив 2-й Московский кадетский корпус, Куприн поступает в Александровское военное училище в Москве.

3 декабря 1889 г. — в московском журнале «Русский сатирический листок» появляется первое печатное произведение Куприна — рассказ «Последний дебют».

Лето 1890 г. — успешно закончив Александровское юнкерское училище, Куприн получает чин подпоручика и зачисляется в 46-й Днепровский пехотный полк, расквартированный в Подольской губернии.

1891-1894 гг. — находясь в полку, занимается литературной работой, пишет и публикует рассказы «Психея», «Лунной ночью», «Из отдаленного прошлого», «Негласная ревизия», повесть «Впотьмах».

Август 1893 г. — держит в Петербурге экзамены в Академию Генерального штаба, но по распоряжению командующего Киевским военным округом генерала Драгомирова отстраняется от сдачи экзаменов и возвращается в полк.

Август 1894 г. — в чине поручика выходит в отставку.

1894-1897 гг. — работа в Киеве, смена профессий, поездки по России, сотрудничество в провинциальной печати.

Август 1894 г. — в № 8 петербургского журнала «Русское богатство» появляется рассказ Куприна «Из отдаленного прошлого» («Дознание»).

Март 1896 г. — выход в свет небольшого сборника очерков «Киевские типы».

29 мая 1897 г. — знакомство с Буниным в Люстдорфе (дачное место под Одессой).

Октябрь 1897 г. — выход первой книги рассказов «Миниатюры», в которую вошли рассказы «Собачье счастье», «Столетник», «Ночлег», «Брегет», «Allёz!» и др.

Декабрь 1896 г. — в 12-й книге журнала «Русское богатство» напечатана повесть «Молох».

1898 г. — в газете «Киевлянин» публикуется повесть «Олеся».

Февраль 1899 г. — в № 2 журнала «Мир божий» появляется рассказ «Ночная смена».

Февраль — март 1900 г. — в газете «Жизнь и искусство» печатается повесть «На первых порах» — позднее «На переломе» («Кадеты»).

13 февраля 1901 г. — знакомство с Чеховым в Одессе.

Ноябрь 1901 г. — приезд в Петербург, встреча с Марией Карловной Давыдовой.

Январь 1902 г. — в № 1 журнала «Мир божий» публикуется рассказ «В цирке».

3 февраля 1902 г. — женитьба Куприна на М. К. Давыдовой.

Ноябрь 1902 г. — знакомство с М. Горьким.

Декабрь 1902 г. — в № 12 журнала «Мир божий» появляется рассказ «Болото».

Ноябрь 1903 г. — в № 11 «Русского богатства» выходит рассказ «Конокрады».

Начало 1904 г. — журнал «Юный читатель» публикует рассказ «Белый пудель».

3 января 1903 г. — рождение дочери Лидии.

1905 г. — в книге 6-й сборников товарищества «Знание» публикуется повесть «Поединок».

Ноябрь 1905 г. — Куприн становится свидетелем восстания на крейсере «Очаков» и публикует очерк «События в Севастополе» декабря), обличающий карателей.

Январь 1906 г. — в № 1 журнала «Мир божий» печатается рассказ «Штабс-капитан Рыбников».

Август 1906 г. — в № 8 журнала «Мир божий» появляется рассказ «Река жизни».

1907 г. — Куприн женится вторым браком на Елизавете Морицовне Гейнрих.

1908 г. — рождение дочери Ксении.

Февраль 1907 г. — в журнале «Современный мир» выходит рассказ «Гамбринус».

Август — сентябрь 1907 г. — работа над рассказом «Изумруд» (напечатан в 3-й книге альманаха «Шиповник» за 1907 г.).

Осень 1907 г. — работа над рассказом «Суламифь» (опубликован в сб. первом альманаха «Земля» за 1908 г.).

Осень 1910 г. — в Одессе написан рассказ «Гранатовый браслет» (вышел в книге 6-го альманаха «Земля» за 1911 г.).

1907-1911 гг. — пишет цикл рассказов «Листригоны», полностью вошедшие в 5-й том. Полн. собр. соч. изд-ва товарищества А. Ф. Маркса.

Конец 1912 г. — выход повести «Жидкое солнце» (альманах «Жатва», выпуск IV).

1908-1915 гг. — работа над романом «Яма» (первая часть — сб. «Земля», 1909, кн. 3; 1914-й — книга 15; 1915-й книга 16.)

13 ноября 1914 г. — поручик Куприн отправляется в Финляндию обучать новобранцев.

Февраль — март 1917 г. — вместе с критиком П. Нильским редактирует эсеровскую газету «Свободная Россия».

1917 г. — в книге 20-й сборника «Земля» выходит повесть «Каждое желание» («Звезда Соломона»).

8 июля 1918 г. — в газете «Эра» появляется статья «У могилы» — памяти видного большевика М. М. Володарского, убитого эсерами.

26 декабря 1918 г. — Куприна принимает в Кремле, в Москве В. И. Ленин в связи с планом издания общекрестьянской газеты «Земля».

16 октября 1919 г. — занятие Юденичем Гатчины, мобилизация Куприна в белую армию.

4 июля 1920 г. — приезд с женой и дочерью в Париж.

1927 г. — выход в свет сборника «Новые повести и рассказы»

1928-1930 гг. — в Париже выходят сборники прозы «Купол св. Исаакия Далматского», «Елань», «Колесо времени».

1932 г. — в парижском журнале «Современные записки» публикуется повесть «Жанета», отдельное издание в 1933 г.

1928-1933 гг. — в парижской газете «Возрождение» печатаются главы романа «Юнкера».

29 мая 1937 г. — отъезд Куприна с женой из Парижа в Москву.

31 мая 1937 г. — прибытие в Москву.

25 августа 1938 г. — кончина А. И. Куприна в Ленинграде.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Первые Сочинения Куприна в 3-х томах были выпущены журналом «Мир божий» в 1904-1906 годах; в те же годы два тома Сочинений Куприна вышли в популярном издательстве «Знание». Самым обширным дореволюционным изданием было Полное собрание сочинений, тт. I-IX, изданное А. Ф. Марксом в 1912-1915 годах.

За рубежом, помимо отдельных сборников, было выпущено единственное Собрание сочинений, тт. I-XII, Берлин, 1925.

В 20-е годы в соответствии с ленинской политикой, которая предполагала наряду с непримиримой идеологической борьбой с враждебными явлениями публикацию всего наиболее ценного, что было создано литературой русского зарубежья, вместе с книгами И. Бунина, И. Шмелева, А. Аверченко, Н. Тэффи выходит несколько сборников прозы Куприна, а также «Избранные сочинения» в двух томах.

Новая волна интереса к творчеству Куприна, естественно, возникает после возвращения писателя на Родину в 1937 году. В этом же году Гослитиздат выпускает «Избранное» Куприна в 2-х томах, а затем многочисленные однотомники писателя. Отметим книгу «Забытые и несобранные произведения» (Пенза, 1950), подготовку текста и примечания к которым тщательно проделал один из самых больших знатоков и энтузиастов «куприноведения» — Э. М. Ротштейн. В 1953 году вышли Сочинения Куприна в трех томах, подготовленные коллективом научных работников (И. В. Корецкая, П. Л. Вячеславов, И. В. Мыльцина). В 1957—1958 годах издательством «Художественная литература» выпускается шеститомное Собрание сочинений Куприна, где впервые последовательно проведена научная подготовка текста и помещены тщательные комментарии. Вступительная статья принадлежит перу К. Г. Паустовского. Наиболее полным следует считать Собрание сочинений в девяти томах со вступительной статьей К. И. Чуковского, вышедшее приложением к журналу «Огонек» в 1964 году. Ценным источником, дающим представление об эстетике писателя, его литературных взглядах, является сборник «А. И. Куприн о литературе», составленный Ф. И. Кулешовым (Минск, 1969).

Среди биографических материалов глубиной изложения, красочностью подробностей и широтой охвата жизненного материала выделяется книга М. К. Куприной-Иорданской «Годы молодости» (Москва, 1960, 1966 гг.), где прослеживается жизнь Куприна с 1001 по 1917 год. Насыщенностью, обилием ценных

сведений отмечена книга К. А. Куприной «Куприн — мой отец» (Москва, 1971, 2-е издание, 1980). Интересные подробности быта и творчества Куприна в книге Н. К. Вержбицкого «Встречи» (М., 1979). Отдельные страницы биографии писателя отражены в воспоминаниях Е. М. Аспиза «А. И. Куприн в Балаклаве» (сб. «Крым», книга 23, Симферополь, 1959) и «С А. И. Куприным в Даниловском» (книга «Литературная Вологда», штага 5, 1959). Яркий портрет Куприна оставлен И. А. Буниным в его воспоминаниях (см.: Бунин И. А. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 9. М., 1967). Облик писателя запечатлен в воспоминаниях К. И. Чуковского «Современники» (М., «Молодая гвардия», 1962).

Критическая литература о творчестве Куприна многообразна и, если говорить о дореволюционной, очень пестра. Здесь прежде всего необходимо выделить статью В. В. Воровского, вошедшую во все сборники его статей. Наибольший интерес сохраняют для нас статьи К. Чуковского, М. Шагинян («Русский Мопассан», газета «Приазовский край», 1911, 5 июля).

В советское время отметим статью Д. Горбова и очерк А. Волкова в X томе «Истории русской литературы». М. — Л., АН СССР, 1953. Первой книгой монографического характера явилась работа П. Н. Беркова «А. И. Куприн. Критико-биографический очерк». М. — Л., АН СССР, 1956. Вслед за ней вышли монографии В. Афанасьева «А. И. Куприн. Критико-биографический очерк». М., 1960 и А. Волкова «Творчество Л. И. Куприна». М., 1962, издание второе, 1981. Обстоятельностью и тщательным подбором материала отмечена книга Ф. И. Кулешова «Творческий путь А. И. Куприна». Минск, 1963, и раздел о Куприне в книге: Ф. И. Кулешов. Лекции по истории русской литературы конца XIX — начала XX в., часть I. Минск, 1980.

notes

1

Как вспоминал Л. Серебров-Тихонов, «почти в каждом большом городе водились в ту пору двойники Горького». Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 220.

2

Ленин В. И. Собр. соч., т. 8, с. 35.

3

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 8, с. 72.

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 39.

Д. Горбов. У нас и за рубежом. М., 1928, с. 77.

6

М. Горький. О белоэмигрантской литературе. Послесловие к книге Д. Горбова. — Собр. соч. в 30 тт., т. 24. М., 1953, с. 336.